

EX ORIENTE LUX

ВВЕЗДА
ВОСТОКА

ЛИТЕРАТУРА

ИСТОРИЯ

ФИЛОСОФИЯ

КРИТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА

АРХИВЫ





Чорсу базар, 2008 г.

На 3 странице обложки:
Сомон базар, 1999 г.
Древо Жизни, 1998 г.
Зимний натюрморт, 2005 г.
Улица Самарканд дарваза, 1988 г.

Звезда Востока

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1932 года

Общественный совет журнала



Мухаммад АЛИ
Баходыр АХМЕДОВ
Анатолий БАУЭР
Михаил ГАР
Ольга ГРИГОРЬЕВА
Анатолий ЕРШОВ
Николай ИЛЬИН
Шухрат СИРОЖИДДИНОВ
Абдухаким ФАЗИЛОВ
Лариса ЮСУПОВА

Главный редактор
Улугбек ХАМДАМ

Зам. главного редактора
Клавдия ПАНЧЕНКО

Ответственный секретарь
Саъдулло КУРОНОВ

Редактор
Светлана ЩЕГЛОВА



Республика Узбекистан
Ташкент

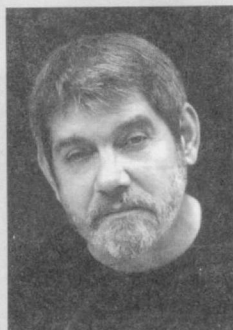
Михаил ГАР

ПЫЛЬ ВАВИЛОНА

(Роман)

Для любого действия есть повод, причина. А результатом действия управляет случай – даже если действие продумано до мелочей и выполняется при трезвом уме. Но что или кто тогда управляет случаем, хотелось бы знать? Боги? Или же сам случай – на правах самоуправления, как некая автономная субстанция, не подчиняющаяся никому и ничьим законам, – взбалмошная, неуловимая, неумолимая, непредсказуемая, сама решающая, чем аукнуться – карой или милостью?

А может, случай и есть Бог?



ПОЭЗИЯ

Ирина РАТУШИНСКАЯ

ВНЕ ЛИМИТА

Мандельштамовской ласточкой
Падает к сердцу разлука,
Пастернак посылает дожди,
А Цветаева – ветер.
Чтоб вершилось вращенье вселенной
Без ложного звука,
Нужно слово – и только поэты
За это в ответе.



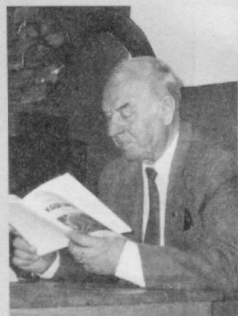
возвращение к читателю

Владислав ПОПЛАВСКИЙ

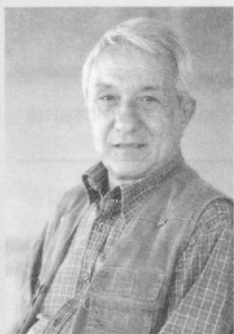
КАШГАРКА

(Главы из повести)

Такими, какими они запомнились мне, я и передаю вам героев Кашгарки. Не всегда и не во всем праведники, но они были ее лицом, ее собственностью... Кашгарка! Много лет назад ты была разрушена землетрясением, в эпицентре которого оказалась. Рухнул уникальный мир, не стало своеобразной ауры, которую никто и никогда больше не воссоздаст в прежнем виде.



переводы



Эркин АЪЗАМ

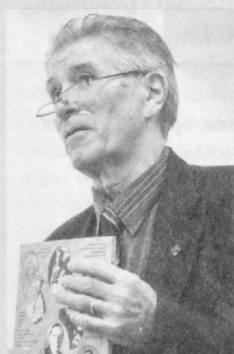
СТУПКА

(Рассказ)

И две чужестранки, приобняв друг-друга, тихо затянули песню – память о дальней родимой стороне, полную ностальгии и пронизанную духом родных мест. И на время все вдруг вокруг преобразилось, будто повеяло прохладой какого-то заветного вечера, и двум поющим закадычным марфушам показалась, что возвышающиеся вдоль стены тополя вдруг превратились в белоствольные березы.

Перевод с узбекского Ф.Хамраева.

караван истории



Борис ГОЛЕНДЕР

АВГУСТЕЙШИЙ ИЗГАННИК

(Документальная повесть в страницах из дневника великого князя Николая Константиновича)

Его звали Николай Константинович... А фамилию произносить было необязательно, ибо он был великим князем, что само по себе означало в России принца крови, члена семьи, три столетия правившей государством...

литературоведение. литературная критика



Рубен НАЗАРЬЯН

ТАШКЕНТСКИЕ ПРОТОТИПЫ ПЕРСОНАЖЕЙ РОМАНА А. АЛМАТИНСКОЙ «ГНЕТ»

Анна Алматинская, прожившая в Средней Азии всю свою жизнь, прекрасно владела материалом и потому со знанием дела описывала не только обычаи и быт местного населения, но и характеры, и поведение представителей «русского» Туркестана: чиновной знати, офицерства и купечества. Характерной особенностью трилогии является включение наряду с вымышленными героями реальных людей, имена которых были хорошо известны в регионе. Некоторых из них писательница знала лично.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

Андрей Слоним. Быть или казаться современным 5

ПОЭЗИЯ

Ирина Ратушинская. Вне лимита 33
 Антонина Иплина. Завертела меня жизнь... 40
 Ольга Григорьева. И будет день... 42
 Геннадий Михайлов. Жизнь – лишь лист бумаги белой 66

ПРОЗА

Михаил Гар. Пыль Вавилона. (Роман) 8
 Владимир Баграмов. Его глаза (Рассказ) 35
 Ариадна Васильева. Время осенних птиц. (Роман) 44

КАРАВАН ИСТОРИИ

Борис Голендер. Августейший изгнанник
 (Документальная повесть в страницах из дневника
 великого князя Николая Константиновича) 68

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Владислав Поплавский. Кашгарка. (Главы из повести) ... 107

ПЕРЕВОДЫ

Эркин Аъзам. Ступка. (Рассказ, пер. Ф. Хамраева) 82
 Абдукаюм Юлдашев. Пуанкаре.
 (Рассказ, пер. С. Камиловой) 89

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Насима Джураева. Ибрагим Валиходжаев. Грани цвета ...134

НОВЫЕ ИМЕНА

Вячеслав Карижинский. Моей души поломанные
 крылья. (Лирика) 119
 Алишер Ашурув. Жизненные и букварные
 «университеты» Петра Ивановича. (Рассказ) 122
 Насиба Хайдарова. Озаряющее искусство, или
 неизвестные страницы жизни и творчества В. Яна ... 131

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Рубен Назарьян. Ташкентские прототипы персонажей
 А. Алматинской «Гнет» (к 130-летию со дня рождения) ... 136
 Нафосат Уракова. Некоторые тенденции развития совре-
 менной узбекской поэмы (пер. Ойгуль Суюндиковой) ...141

На 2 и 3 страницах обложки картины художника
 Ибрагима Валиходжаева.

Звезда Востока

2013 № 1

Учредитель

Союз писателей Узбекистана

ИНДЕКС – 831

Журнал зарегистрирован
 Узбекским агентством печати и
 информации
 Рег. 0296

Адрес редакции:

100027. Ташкент, ул. Узбекистанская,
 д.16 А (5 этаж).
 Тел: 245-27-87.

E-mail: zvezdavostoka1932@mail.ru
 www.zvezdavostoka.uz

Дизайн, верстка, оригинал-макет
 Акбарали Мамасолиев

Подписано в печать 10.03.2012.
 Формат 70х108 1/16. Печать офсетная.
 Усл. п.л. 12,60. Уч.изд.л. 14,86
 Тираж 600 экз. Заказ 48-13
 Цена договорная.
 Отпечатано в типографии
 ИПТД «Укитувчи»
 г. Ташкент, ул. Навои, 30.

Редакция журнала уведомляет
 авторов о том, что к рассмотрению
 принимаются рукописи,
 выполненные в компьютерном
 наборе.
 Набор текста в любом формате с
 приложением дисков и распечаткой.
 Рукописи не возвращаются и не
 рецензируются.
 Мнение авторов может не совпадать
 с мнением редакции.

Перепечатка без согласия редакции
 не допускается.
 Ссылка на журнал «Звезда Востока»
 обязательна.

Copyright © «Звезда Востока»

публицистика

Быть или казаться современным?

...Мир, окружающий современного человека, подобен бурному океану. Мгновенья кажущегося спокойствия, штиля сменяют мощные натиски волн. Каждое новое мгновение несет в себе и неизведанность проблем, и испытания воли, и необходимость поиска выходов из непростых ситуаций. А темп и ритм наших дней становится все более несоразмерным с исходными возможностями человеческой природы.

Современным своей эпохе и ее законам, несомненно, можно и должно быть. Но это достаточно сложно, поскольку требует осмысления неких важных категорий и понятий. Наверное, гораздо проще *казаться* себе самому и всем прочим современным. Но при этом, как ни прискорбно, вихрем пролететь мимо многого того, что, пожалуй, можно считать определяющим.

Представим себе, пусть на мгновение, темп и характер жизни наших предков, живущих хотя бы 150 лет назад. И станет совершенно очевидным, что прежде у человека было куда больше времени для осмысления окружающего мира и выбора своего места в нем. Плавные перемещения в каретах и экипажах, неторопливые прогулки по паркам и лесам, лишенное суеты созерцание природы и людей – все это давало волю и возможность поиска своего места в жизни и способствовало пониманию того, зачем мы появились на этой земле здесь и сейчас?

А сегодня, когда всего за несколько часов можно преодолеть расстояния в тысячи километров, сменить множество зон часовых поясов, оказаться в стране с совершенно иным жизненным укладом, весомость обязательств преследует ум и душу. Сам по себе ритм существования в нескончаемом беге дней как бы призывает не оглядываться, успевать, вершить свой путь во что бы то ни стало. И мысль сегодня зачастую опережается поступками, далеко не всегда закономерными, осмысленными и несущими добро.

Да, не имея возможности остановиться, оглянуться, вникнуть, – мы не только не стремимся выбраться из этого замкнутого круга проблем, но и пытаемся найти себе оправдания. «Всего важнее дело!». С этим лозунгом мы достаточно бодро, как нам кажется, преодолеваем многие препятствия, заглушаем возникающие в недрах души сомнения. Любовь, сочувствие, сопереживания? Да, конечно, этих важнейших чувств как бы никто и не «отменял», но... Но они как-то непостижимо странно «мешают» нам в пути, они пытаются сдерживать нас в беге. Залетевшее из-за океана, и так и не желающее внятно перевестись на родной язык понятие «бизнес» – прямо диктует свои законы. «В бизнесе **НЕТ РОДСТВА И БЛИЗИКИ!**» – как убийственно часто звучит эта фраза и дословно, и в подтексте наших деяний и поступков...

...В далекой древности законы античного мира были достаточно суровыми и крутыми. Крутыми не в нынешнем смысле отупляющей вседозволенности, крутыми в родстве с крутизной скал, на которые смертному человеку во все времена



**Андрей
СЛОНИМ**

*Режиссер-постановщик
и сценограф
Государственного
Академического
Большого театра
имени
А. Навои,
Заслуженный
работник культуры
Республики
Узбекистан.*

взойти было вовсе непросто. И верования древних людей в верховные силы мира несли отпечаток этих земных законов. Боги древней Греции, а позднее – Рима, были подобны людям в комплексах отягощающих их души противоречий. Они как люди сводили счеты и друг с другом, и с неугодными им смертными. И при этом платили слишком дорогую цену за утрату милосердия и человечности. А люди античного мира поднимались в своих высших представителях до богоподобных героев, силе которых было трудно противостоять Злу.

Но в античном театре сама смерть героя считалась событием почти космического значения, катастрофой, разрушением устоев. Именно потому, что уходил из земной жизни гармоничный и значительный Человек, сама Жизнь которого была высшим даром, предавать который было необратимо пагубно. Именно тогда возникло понятие «катарсиса» – очищения души зрителя, воспринимающего трагичность этой смерти, этой дисгармонии мира. Так возникло в театральном искусстве понятие жанра ТРАГЕДИИ, в которой дисгармония мира и человека неизбежно приводит и самих героев, и окружающий мир к катастрофе. Великий Шекспир подарил нам ошеломляющие трагедии о Гамлете и Ромео и Джульетте. Но стараясь постигнуть из века в век их могучую философскую суть, не проходим ли мы и здесь мимо главного? Почему обречены Ромео и Джульетта в своей прекрасной земной Любви и Верности? Жестокие законы мира, не принимающего этой Любви? И – да, и – не совсем так... Ведь беззаветно любящий Ромео вовлекается трагической волей обстоятельств в бездушную машину злодеяний – он вынужденно убивает Тибальта, сразившего его друга. И тем самым обрекает и себя, и Джульетту на цепь новых зловещих перипетий, неодолимо ведущих к катастрофе и гибели. Убийство, нарушение человеческих законов пагубно и катастрофично! Об этом твердят из глубины веков величайшие умы и таланты человечества...

... В днях нашей современности ничего не стоит простым нажатием кнопки переключить каналы телевидения. В сущности, этим переключением добиться можно весьма немногого. То там, то тут в темном тоннеле некто с пистолетом с настырным постоянством будет преследовать кого-то другого, кто-то иной с упоением будет избивать своего противника, резать, колоть, стрелять. И фраза: «Что ты с ним возишься – кончай его скорее!» – становится неким эпиграфом ко множеству подделок такого рода. Величайшие дарования столетий во весь голос кричали о высочайшей цене жизни человека, как венца Творения, о величии Любви и Милосердия. А то, что очень жаждет казаться «современным» – настырно твердит, как ПРОСТО отнять у кого бы то ни было жизнь. Только во имя завладения некой суммой денег или богатств, во имя присвоения все того же пресловутого чужого «бизнеса», жены, строений. А милосердие, любовь – это все как бы некие пустые «несовременные» сказочки, непрактичные, а потому – не нужные нам сегодня вовсе. Литературные герои столетиями размышляли о СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, иные, подобно Фаусту, даже пытались заключить договор с самыми темными силами Бытия. Герою, стремящемуся казаться «современным» – не до размышлений, ему надо успеть ПРИСВОИТЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ. Во имя чего? Ответ на этот вопрос сегодня дать не может практически никто. Груды присвоенных денег и богатств не служат ни им самим (ведь, как ни верти, – не в числе закупленных «Мерседесов» и вилл, сколько бы их ни было – заключена истинная весомость человека в его жизни, ограниченной малым земным сроком!), ни кому бы то ни было иному.

Любовь и дружба... Эти понятия тоже как бы сегодня на языке у многих. Но и здесь некая метаморфоза неясного свойства. Под любовью зачастую подразумевают сегодня только достаточно убогое царство наипростейших инстинктов, соседствующее с пренебрежительно-эгоцентрическим отношением к женщине, вне неповторимости ее внутреннего мира, красоты и, наконец, таинства, заложенного свыше. Тайн в этой деликатнейшей сфере сегодня как бы, что показательно, и нет – все «принято» выносить на «общие прилавки». И то, за что еще век назад порядочные люди вызывали на дуэль – предательство, злословие, ложь, оскорбление достоинства! – сегодня нормируется чуть ли не как «кодекс» истинно современного «супермена». Дружба подчас принимает оттенок, хорошо знакомый по старинному афоризму: «Против кого дружите?». Да, в эпоху пронзительного и светлого фильма «Доживем до понедельника» в школах, несмотря на различия личностей, характеров, устремлений – воплощалось истинное братство молодежи. А ныне «современным» пытается предстать лишь настырный, агрессивный и неразумный индивидуализм. Противопоставление «себя, любимого» всем прочим, которые, заведомо – должны непременно быть далеко позади. Свобода, о которой нынче так «модно» вешать, отождествляется со вседозволенностью. Между тем, в любом истинно цивили-

зованном обществе негласно действует закон единства каждой личности со всем многоплановым зданием государственности. Таков закон оркестра – каждый из его участников исполняет свою звучащую партию, а общее звучание предстает целостным и гармоничным. Таков закон биологического организма – каждая клетка в нем, живя своей жизнью, способствует гармонии целого. А «свобода» отдельно взятой клетки, желающей жить вне законов – это начало губительных онкологических перерождений. Так в каждом из живущих, так и в обществе...

Фантазия... Именно она во все времена развивала и личности, и общество. Зашифрованные в словах образы при чтении становились зримыми и живыми. У каждого читателя рождается свой образ Лейли, Фархада, Наташи Ростовской и даже... Дюймовочки. Работа сознания создает прекрасные здания новых ответвлений науки, культуры, творчества.

Возможности компьютера поистине безграничны. Но... как не уяснить, что задавая КОНКРЕТНЫЙ ОБРАЗ героя вне осмысления его нашим разумом из читаемых строк – он приучает нас не развивать воображение и фантазию, а пассивно воспринимать уже созданное раньше?

И другая мысль возникает в сознании в этот момент – ведь тот, кто твердит: «А напишу-ка я это стихотворение (музыку, картину, дизайн) СОВРЕМЕННО!» – неизбежно оказывается вовсе не опережающим события своими открытиями, а бегущим где-то позади поезда, везущего уже кем-то созданные образцы, которым этот «творец» попросту пытается слепо подражать, чтобы прослыть «современным»...

Наверное, стоит понять, что чем ярче, талантливей, самобытнее может стать каждая личность – тем ярче засияет и общество, и государство. Для дарований в любой сфере абсолютно гладких дорог не бывает – но важно, очень важно, чтобы молодые дарования, которых много, при поддержке нашли свой путь, вне разочарований, вне разладов с собственной душой и окружающими. И цветением своего творчества обогатили многогранные достижения своей страны и всего мира. Во все времена понятия «talant» и «современность» шли рука об руку, и чаще талант в своем развитии обгонял понятия времени и общества, и потому не всегда был в свое время понят и оценен.

Наша благодатная земля таит в себе не только несказанную красоту, но и великие таинства, завещанные нам великими предками. Ни с чем не сравнима узбекистанская цветущая весна, и ее особое многоцветие. На своем особом языке пытаются говорить с нами, сегодняшними, могучие таинственные горы и скалы, удивительные архитектурные памятники. Хранят свои древнейшие секреты бескрайние равнины, расцветающие по весне тюльпанами, и с каждым временем года меняющие свои одежды. И прекрасные белые аисты, неспроста выбирающие для своих гнезд высоту, с которой мир воспринимается по-иному. И еще одно важнейшее свойство наших корней – целомудрие истоков нашей культуры. Не потому ли, к счастью, не пускают на нашей земле свои ростки попытки вульгарного «осовременивания» жизни человеческого духа на сценах наших театров. Отраднo, что нет даже попыток низведения до уровня слепых и низких инстинктов сути великих повестей о жизни и Любви Фархада и Ширин, Тахира и Зухры, Лейли и Меджнуна – и всех иных любящих, кто родился позднее этих светлейших душ.

Так что же значит – быть, а не казаться сегодня современным? Этот вопрос вовсе не так прост и однозначен, как может показаться. Наверное, ответ на него берет свое начало с попыток понять истоки подлинно высоких обычаев и культуры нашей земли и народа. Нужно постараться сопоставить эти богатейшие устои с культурой общемировой, в основах которой – все те же законы человеколюбия, богатства духа и высших человеческих чувств. И, наверное, станет ясным то, что, несмотря на некоторые различия традиций, устоев, исторических путей – в каждой стране и в каждом народе живет вековая устремленность к высшей духовности, к полету мысли. Вне этой духовности невозможно представить себе ни развитие личности, ни новых обогащений культуры страны и мира.

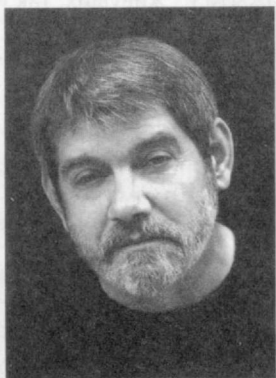
Поэт, как известно, советовал: «сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен!». Быть может, именно в этом свете современным предстает именно тот, кто может пройти сквозь миражи «кажущегося» к обновлениям своего духа.

Кто в исканиях и труде будет способен удивиться красоте солнечного восхода или завораживающему музыкальному мотиву, кто сумеет понять гармонию мира.

Кто умеет любить и ценить единение с ближними.

Кто сумеет стереть все случайное, наносное и подарить окружающим в любом виде творчества и жизни красоту своего видения своей родины и мира – и потому сможет быть, а не казаться истинно современным в пути обретения и каждым из нас, и нашей страной новых ступеней и высот...

проза



Михаил ГАР

Родился в г. Ташкенте, окончил ТашГУ (НУУз) факультет журналистики. Работал корреспондентом УзТАГ, главным редактором в Издательском доме «АККА» (Санкт-Петербург), печатался в журналах «Молодая смена», «Молодая гвардия», газете «Ташкентская правда».

Пыль Вавилона

*Незабвенным моим родителям –
с благодарностью и нежностью.*

Роман

*«Не будь без меры сладок, чтобы тебя не проглотили.
Не будь без меры горек, чтобы тебя не выплюнули».*

Шумерская пословица

Первая тетрадь

Сколько раз слышал, и мама с утра опять повторяет:

– Не ходи за чертовы столбы, нет там хорошего. Вот, отец твой, вроде умный человек, ушел туда – и нет его.

– Какие столбы, мама? – как всегда восклицаю я, смешав две четверти удивления (ты не веришь мне?!) с одной четвертью правдивости (яшеричу съем, если вру!), добавляю недостающую шепотку упрека и обиды (да я ни шагу со двора!) и, задев непрременную дрожь в горле, даю очередное обещание даже не смотреть в ту сторону, где стоят эти чертовы столбы, потому что уже ходил к ним три раза, о чем лучше помалкивать.

Глаза мои широко открыты, чтобы лучше было видно, как они чисты и правдивы. Мама успокаивается, или мне так кажется.

Обмануть маму просто, но как спастись от скуки. Выбор скуп. Можно взобраться на высоченный тутовник и, усевшись на толстом суку, долго облетать взором видимый мир и пересвистываться с друзьями, празднующими свободу на радостном пустыре. Или, не отрываясь от земли, начать копать в еще не тронутых частях двора в надежде отыскать что-нибудь более стоящее, чем какие-то черепки, трухлявые кости и истлевшие тряпки, и скромно похвастать находкой перед родителями Вити – настоящими археологами. То ли, наконец, расширить арык, о чем еще три дня назад мягко попросила мама, чтобы вода легче перебежала в соседний двор. Либо, что совсем противно, убрать кучи, которые Ур, когда его спускают с цепи, щедро оставляет, где ему заблагорассудится. Всё это не радует.

Сегодня среда, значит, сегодня, как и во вторник, и в понедельник мама не разрешит уйти со двора – если сам не сбегу. Шесть дней в неделю моя свобода находится под запретом. Шесть томительных лет длится это наказание, и я не знаю, что тому причиной – мерзкий ли скорпион, оставивший на моем запястье тоненький белый полумесяц, мамин ли страх, сделавший немигающим ее левый зрачок. В махалле много на-

пуганных людей, но, видимо, только я один подвергаюсь мучительным ограничениям, в пользу которых не верю, и наотрез отказываюсь понимать, как эти мучительные ограничения когда-нибудь сделают меня счастливым, за что я еще буду благодарить маму.

Уныние уже потирало ладони, но тут я вспомнил о тетради, которую вчера вечером нашел в книжном шкафу. Удивительно, как не обнаружили ее дурно пахнувшие люди, осквернившие наш дом двенадцать лет назад. Возможно, невзрачность не выдала тетрадь, и она, спрятавшись в кипе старых журналов, не подвела отца под самое страшное. Я почему-то уверен, что отец жив. Мне обязательно надо встретиться с ним... интересно же – какой он.

Тетрадь в черном коленкором переплете, совсем тоненькая. Несколько страниц вырваны, судя по неровным краям – в спешке. Остальные покрыты крупным, торопливым почерком; отдельные слова и предложения густо замазаны чернилами. Я быстро пролистал страницы – и перед глазами, как отстающие от поезда, промелькнули строчки: «...наискосок, через пустыню... сегодня он царь... северные ворота...».

На внутренней обложке буквы «А. К.» – инициалы отца.

Позже, прочитав записки, я усмехнусь, представив, как наш учитель истории Салахитдин Иосифович вот так же – как написано в тетради – вслух перескажет все на своем уроке, который уж точно станет последним в его истории.

«Да не дергай ты задерганного учителя!» – говорю я себе. Он не то что вслух, он даже думать так не посмеет, на стук не ответит, дверь не откроет: а вдруг чем-нибудь насквозь просветят его череп, разгребут, раскрошат мозги, а под ними, как скорпионы под сухим навозом, эти самые мысли. «Ну, уж нет! – трижды отмахнется учитель. – Уж лучше с Карлом, чем с кайлом!»

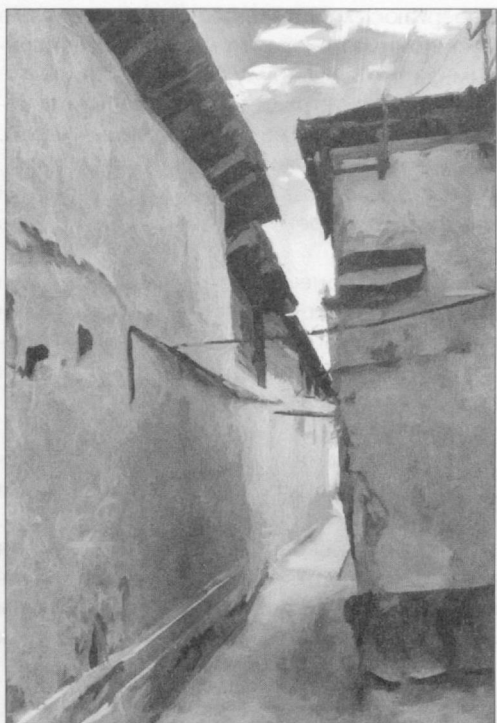
В тот же вечер я решил перепрятать тетрадь: мало ли, а вдруг опять нагрянут, – и, выходя во двор, сунул ее за спину, под резинку трусов. Мама была занята и не обратила на меня внимания: она бережно втирала глину в крошечную царапину на стебле китайской розы (ну еще бы! – ротозей воробей, погнавшись за букашкой, случайно чиркнул крылом эту неженку).

Я нырнул под ветви старой яблони и сунул свернутую в трубочку тетрадь в узкое, глубокое дупло. Так, на всякий случай.

Двенадцать лет назад, июльским вечером, когда уже начинало темнеть, но тусклые лампочки под железными шляпами на деревянных столбах еще не зажигали, на улицу Горького въехала зеленая «Победа». Каждая машина – редкость на одинокой улице, уводящей от центра города в пустыню. Эту заметили сразу. «Победа» двигалась медленно; сидевшие в ней внимательно вглядывались в одинаковые переулки. Собаки сразу учуяли чужаков и подняли тревогу. Зародившись в ближних к улице дворах, сигнал быстро перекинулся дальше, вглубь саманных переулков, и, подержанный многократно, превратился в чудовишный собачий набат. Сотни глоток, изнывающих от духоты и безделья, наконец-то дали себе волю. Какая адская смесь голосов раздирала воздух! Надсадное рывканье восточноевропейских овчарок, дребезжание каких-то домашних собачонок, разнобойное тьяканье дворняг, злобные хрипы азиатских волкодавов, откровенное издевательство разбушевавшихся метисов, и даже наш еще маленький тогда крепыш Ур шлепал передними лапами по земле и невпопад вставлял писклявый голосок во взрослое негодование – мало что соображая.

Машина остановилась у входа в Вагонный проезд – переулок был слишком узок, чтобы позволить ей подъехать к нашему дому: казалось, стены других домов и глиняные заборы при ее появлении сомкнулись еще теснее. Из машины вышли трое одинаковых (четвертый остался на водительском месте) и направились по переулку, поглядывая на номера домов.

В махалле уже знали о появлении чужаков: здесь давным-давно привыкли незаметно и быстро предупреждать друг друга об опасности. Рассказать кому – не поверят, сколько разных врывалось в махаллу с тех пор, как она появилась на свете: и ахемениды, и македонцы, и китайцы, и монголы, и джунгары... Тринадцать раз сгорал город. И снова оживал, поднимался из пепла, как птица феникс.



Да.

В переулке, где обычно в это время собирались женщины, посудачить у водопровода, и старики, чтобы, присев на две низенькие, вкопанные в землю друг против друга скамейки, прислонить спины к нагретым за день стенам, и дети, которым доставляло радость копошиться в пыли или мочить лепешки под водопроводной струей, – в переулке не было ни души.

Обыск выпотрошил дом, как нож перьевую подушку. Все письма и бумаги отца, какие нашли, уложили в навозного цвета картонные папки с надписью «Дело №», завязали на них тесемки бантиком, прихватили заодно все фотоальбомы и увезли неизвестно куда на зеленой «Победе», сопровождаемой дерзким собачьим лаем.

Впрочем, я не мог этого помнить – мне тогда и года не было; про обыск я узнал позже – когда научился подслушивать мамин разговоры; но глубоко в памяти застоялась дурная смесь табака, «Шипра» и сапожной ваксы.

«Среда – вот беда, опять – никуда» – напеваю я себе под нос невеселую песенку и с ней выхожу во двор.

– Мика, – окликает мама с веранды, – подойди, сынок. Долго говорить не буду: если ты сегодня не вычистишь арык и не уберешь за Уром, сделаешь все в субботу.

Мама, не глядя в мою сторону, но зная, что я нахожусь именно там, где мне положено, водит ножом по точильному камню.

– Ты знаешь, я не шучу.

Да, мама, я знаю, ты не шутишь. Спасибо, что напомнила.

– Доброе утро, засранец, – говорю я Уру, развалившемуся в тени урючины. Я наполнил водой его необъятный таз, не удержался и плеснул из ведра на огромную тушу. Ур лениво поднялся, неспешно вытряс из шкуры облако пыли, коротко помахал толстым обрубком хвоста, заулыбался, свесив язык между двух огромных клыков: так он ответил на мое приветствие, пропустив мимо ушей заслуженное прозвище. Пил он долго, шумно расплескивая воду. Его куций хвост изображал удовольствие. Когда я был маленький, то обычно забирался в его таз и плескался в нем, как головастик. Ур всегда смотрел на это добродушно.

Полчаса ушло на то, чтобы лопатой расчистить арык, выгребая из него черный ил с тонкими красными прожилками червей, и целый час – на поиск и уборку собачьих подарков. Тем временем солнце уже разогрело воздух, и мне доставило величайшее удовольствие, прокричав «я все сделал!» в сторону веранды, где мелькала мама, до предела открыть водопровод и залезть под холодную сильную струю. Когда я выбрался, раскаленные лучи в считанные минуты слизали влагу с моей кожи. Довольный – все позади! – я забрался в густую тень под ветви старой яблони, извлек из дупла свернутую в трубку тетрадь, прислонился спиной к теплому стволу.

«Если двигаться напрямик – на восток от Евфрата, пересечь равнину, перебраться через Тигр, вскарабкаться и пройти по горным нагромождениям Загроса, пересечь солончаки Иранского нагорья, перемахнуть Копетдаг, продвигаясь по продольным долинам, затем – наискосок, через пустыню Каракумы, до Амударьи, обязательно искупаться после черных песков, отдохнуть, переправиться на правый берег, обогнуть Памир, немного пройти по южной кромке пустыни Кызылкум, смыть с себя красный песок водами

Сырдарьи и переплыть на противоположный берег, – то так и получится: от Вавилона до нашей махалли рукой подать.

Забрел я в эти края из любопытства – посмотреть, как начинались великие истории, а заодно и наши нескончаемые ошибки.

Жизнь в долине между двух рек начала прорастать задолго до того, как Вавилон стал великим городом. И уж конечно не первым. Прежде него поднялись и другие: Эриду, Ур, Урук...

Когда шумеры строили свои города, они и предположить не могли, сколько запоминавшихся историй зародится среди саманных стен и под камышовыми кровлями. В Уре проживал Авраам с отцом Фаррой, женой Сарой, невесткой Милкой, братьями Нахором, Аараном и его горемычным сыном Лотом. Фарра, отец Авраама, лепил на продажу глиняные фигурки богов, которые чаще разбивались, чем продавались.

Ур находился неподалеку от Эдема – первого ботанического сада на Земле.

Для меня, неискушенного, не столь важно, чья цивилизация старше, какая накопила больше мудрости. Кто-то в чем-то обязательно был первым. Шумеры на тысячи лет вперед установили семидневную неделю. Финикийцы приковали рабов к веслам на галерах. В Вавилоне произошло всеобщее разобшение. Ученый Ши Шэнь задолго до Рождества составил первый звездный каталог.

Мария родила сына.

Бесконечный список.

Шумеры изобрели колесо, гончарный круг, солнечные часы, создали медицину, поднаторели в точных науках. Кто учил их всему этому – для меня нераскрытая тайна. Наткнешься иной раз на фразу: «Люди начали добывать и обрабатывать железо», – и тут же застреваешь в вопросах: каким же таким чудесным образом они узнали, что это – железо? Что его можно извлечь из минералов железных руд – магнетита, гематита, маргита, гетита, сидерита, шамозита, тюрингита? Что руду надо переплавить, но для начала следует построить печь и знать, к тому же, что температура плавления железа – 1539 градусов по Цельсию, которого никто из них в глаза не видел?

А до железа была бронза. И опять вопросы. Каким наитием эти полуголые уяснили, что бронза – результат сплава Cu с Sn? Как они вообще нашли медь и поняли, что с ней можно делать? Все это, воля ваша, для меня непостижимо.

На новом месте, где поселились шумеры, в земле не было ничего стоящего – ни меди, ни серебра, ни золота; даже в камнях не было достатка, чтобы из них складывать стены. Камыш, тростник, глина, тамариск да финиковые пальмы – вот, пожалуй, все самое ценное, на что расшедрились местные боги для этой земли. Любой подтвердит: финиковые пальмы не то, что кедр Ливана, – древесина так себе: непрочная, волокнистая, похожа на давно немые волосы. Недаром Ной выбрал ливанские кедр для постройки ковчега. А возьми он пальму – доплыл бы?

Но из финиковой пальмы можно приготовить крепкое вино. От пальмового вина еще никто не отказывался. Позже, в кабаках Вавилона, его будут пить за милую душу; привозное вино, конечно, лучше, но и стоило оно намного дороже. Пальмы, непригодные в строительстве, давали пропитание и увеселение. Кажущееся бесполезным может оказаться необходимым. Еще говорят, что крест, на котором распяли Иисуса Христа, был сколочен из деревьев четырех пород – кедра, кипариса, оливы и пальмы. Но маловероятно, что осторожный и пренебрежительный прокуратор Понтий Пилат стал бы специально нанимать краснодеревщиков для изготовления такого необыкновенного креста.

К слову, тамариск тоже полезное растение. На его веточках оседают огромные поселения тлей. Они досыта обедают листьями, а затем их выделения превращаются в белую сладкую пыль, которая осыпается с кустарников. Говорят, именно эту пыль и приняли за манну небесную те, кто, изголодавшись и изверившись, бесконечно долго плутали по пустыне.

Чтобы земля долины могла давать хорошие урожаи, шумеры создавали оросительные сети с каналами, плотинами, колесами, поднимающими и подающими воду в желоба, выдолбленные в пальмовых стволах. Но собственных сил не хватало, еще нужны были люди, много людей, которые трудились бы от восхода до заката Солнца, и кого при случае можно было легко заменить подобными. Этими заменяемыми стали рабы. В то время они еще имели хоть какие-то права на жизнь, на любовь, на правосудие. Конечно, они отличались от свободных граждан своим незавидным положением, на которое указывала соответствующая татуировка или выбритый безволосый островок на голове. И горе тому парикмахеру, кто опрометчиво вовсе сбрасывал эту отметину с головы раба, – такого цирюльника ждала смертная казнь. Да, наш сосед, парикмахер Бурхан, трижды плюнет себе за пазуху и, чего доброго, станет пристально рассматривать головы посетителей, прежде чем начнет их стричь.

Рабы обрабатывали землю, рыли каналы. Через тысячи лет другие рабы – интеллигентные – придумают крылатую шутку: «Канал – это братская могила, вырытая в длину». Во времена правления сухорукого семинариста Иосифа человек превращался в раба быстрее, чем червячок тутового шелкопряда в бабочку. И прав он имел столько же, сколько червь.

Шумеры взрыхлили почву, на ней выросли города: Эриду, Ларса, Лагаш, Умма, Урук, Киш, Ур... Оговорюсь: нашего пса назвали Уром не в честь шумерского города Ур, это случайное совпадение. Его, уже с этим именем, подарил мне один чабан. «Ур» по-тюркски означает «бей». Вон, лежит у моих ног, толстопалый, с черной мордочкой, и грызет тапок. Рычит. Учится. Хороший сторож и зашитник вырастет. Кстати, именно от тюркского многократно слышанного «ур» пошел русский клич «ура».

Зайди в Ур или в Вавилон, и ты увидишь: тамошние закоулки – точь-в-точь наши махаллинские. Дома слеплены из обожженных на солнце кирпичей и так тесно прижимаются друг к дружке, как будто нуждаются во взаимной поддержке. Снаружи они – почти сплошь глухая стена, без окон и каких-либо украшений. Перед глазами – только выгребшая от вечного саратонского зноя, покрытая трещинами охра с прожилками золотой соломы. Отличие имеют входные двери, некоторые выкрашены красной краской – чтобы отпугивать злых духов, которых в махалле, как и везде, пруд пруди. Переулки узки, извилисты, устланы мягкой пылью. А во дворах пекут хлебные лепешки в глиняных печах.

Шумеры научили мир письменности: всеми этими буквами я обязан тому неведомому писцу, кто начертал на глине первый знак, ставший, как Адам, отцом всем последующим. Тогда уж и китайцам поклон – за бумагу. Иначе пришлось бы сейчас писать на глине.

Шумеры записывали удивительные и правдивые истории. Одна из них рассказывает, что городом Шуруппаком правил царь Зиусудра, сын местного жреца. Однажды один из главных шумерских богов – Энлиль, кого другие боги считали своим советником, предупредил царя о готовящемся потопе, он же дал ему подробные инструкции по строительству огромной посуды. К назначенному часу Зиусудра собрал на борту сооруженного плавсредства всю свою семью и разных мастеров, а также животных и растения, необходимые для продолжения жизни.

Потоп бушевал семь дней и семь ночей. Кроме Зиусудры и его окружения больше никто не спасся.

Потопов в истории человечества было много. Какой по счету выпал на долю Ноя?

Пишу эти строки, а сам думаю: если бы толику воды от тех потоков дать земле за черными столбами, каким бы чудесным праздником она расцвела! Тревожные предчувствия одолевают меня: неужели не разрешат сделать задуманное, под корень зарубят проект?..

Каждый шумерский город жил сам по себе – со своими богами, царями, жрецами, воинами, земледельцами, ремесленниками, рабами. Города разрастались, некогда пустовавшие между ними земли хоть и медленно, но осваивались, превращались в орошаемые поля. Границы плодородных земель начинали сближаться, соприкасаться, сталкиваться

– и тогда объявлялась война. Мчались колесницы, запряженные ослими. Топала с тяжелыми копьями пехота в плащах из кожи. Малоимущие воины, те, кто были без плащей, шли следом налегке, внимательно шарили глазами – и добивали раненных. Пленных обращали в рабов. Рабам запрещалось поднимать глаза на свободных людей, их так и называли: «не поднимающие глаз».

По случаю, рабов резали на алтарях местных богов и для сопровождения умерших царей.

При жизни цари отдельных городов Шумера не жаловали друг друга.

То один, то другой норовил примерить титул владыки четырех сторон света. И тогда опять мчались ослы, топала пехота – благо идти было недалеко: иные города разделяло всего-то несколько километров.

Воевали с переменным успехом: один город брал верх над другим, потом сам становился на колени перед третьим. Шумеры не выходили за пределы своей долины, воевали главным образом между собой и потому попеременно становились то хозяевами, то рабами своих соседей.

Считалось в порядке вещей, что воюющие города поклонялись одному и тому же богу; это обстоятельство никого не смущало: люди воевали между собой и не покушались на высочайший авторитет. Победители приносили в жертву побежденных. Боги получали свою долю – независимо от того, кто из их подопечных одержал победу.

Какая участь ожидала побежденных царей? Их тоже приносили в жертву. Так случилось с правителем города Урука Лугальзаггеси. Правда, разделались с ним не шумеры, а аккадцы Саргона, но сути это не меняет.

Каждый последующий царь, для чьего царствования придушили предыдущего, уверен, что именно он достоин, способен, необходим. Владыка четырех сторон света, наместник бога, сам – бог, царь может мнить о себе все, что ему заблагорассудится. Но если он будет не угоден ближайшему окружению – его сметут, как пыль. Жрец Манефон, к примеру, недавно со смехом рассказывал, что в Египте за семьдесят дней сменилось семьдесят царей. Как там с ними управлялись, другой вопрос, но эта история уже сама по себе – красноречивый намек. Да.

Допустим, сегодня он царь, а вчера, сопливый, за овцами бегал с хворостинкой, сбивая в кучу непослушное стадо. Согнать баранов воедино проще, чем вразумить десяток заносчивых владык. Не было согласия в Шумере. А объединяться надо было. Беспокойные соседи не скрывали своих намерений прибрать к рукам все, что было нажито еще задолго до них; они открыто поигрывали бронзовыми мускулами, пробуя на прикус приграничные шумерские земли.

Правитель Урука был близок к тому, чтобы объединить строптивые города Шумера, но не успел. За него это сделает Саргон Древний.

Говорят, он был выходцем из пастушеского племени – одного из тех, что пришли на равнину из Сирийской степи на тысячу лет позже шумеров.

Еще говорят, поначалу Саргон служил садовником, а потом виночерпием у царя шумерского города Киша – Урзабабы. Работа не сложная: подрезай веточки; стой с кувшином за спиной нетрезвого господина, подливай. Смотри и слушай бахвалящихся чиновников. Запоминай. Делай выводы.

Саргону надоело быть слугой. Прирезал Урзабабу. Собрал людей, выбрал удачное место на перекрестке торговых путей, построил город Аккад – и сам стал его царем.

Когда Лугальзаггеси разрушил Киш, Саргон увидел в этом повод и знамение. В конце концов, Киш не чужой город – столько лет провел там, поднося вино капризному, слабовольному Урзабабе.

Саргон объявил войну – и помчались ослы, и потопала пехота. Первым делом Саргон разгромил столицу Лугальзаггеси – Урук, взял в плен царя и бросил его на жертвенный камень к стопам бога Энлиля.

Штурмом был взят Ур; победители снесли крепостные стены – выставили город нагишом на всеобщее посмеище. Видимо, Ур был первым, кого унизили таким образом.

Позже будут другие обещанные: Вавилон, Галикарнас, Коринф, Фивы, Карфаген, Самарканд, Милан, Хиросима, 1710 советских городов, убитых на Великой Войне.

Пройдя шумерские земли с севера на юг, Саргон омыл руки в водах беспокойного Нижнего моря и отправился домой, в Аккад, не преминув на обратном пути разгромить в пух и прах город Умму. Объединение Шумера и Аккада состоялось.

Боги улыбались: рабов было много.

Придворные писцы сочиняли о Саргоне Древнем трогательные легенды. Говорят, сразу после его рождения мать положила его в корзину и отправила прочь по течению Евфрата. Мальчика нашел и воспитал водонос. Когда Саргон подрос, на него обратила внимание сама великая богиня Иштар.

Говорят, кое-что из этих виршей позаимствовали более поздние летописцы, славившие других богов, пророков, царей. Почти схожие истории приключились с Зевсом, с пророком Моисеем, с царем Киром, с братьями Ремом и Ромулом. Почему бы и нет? Сама по себе история красивая, достойна слезы умиления, а особы – знатные, достойны необыкновенного. Куда удивительнее было бы услышать, что подобная история могла произойти с горшечником или землекопом. С другой стороны, как можно признать в припавшем невесту откуда младенце отпрыска землекопа? Грязи под ногтями еще нет. Сыростью если и пахнет, так не от земли, а от воды и потому что обмочился неоднократно за время плавания в плетеной корзине.

Хотя... случается и непредугаданное. Напуганная сновидением, Циборея, родив сына, точно также уложила его в тростниковую корзину и предала воле морских волн. Имя того ребенка – Иуда.

Для любого действия есть повод, причина. А результатом действия управляет случай – даже если действие продумано до мелочей и выполняется при трезвом уме. Но что или кто тогда управляет случаем, хотелось бы знать? Боги? Или же сам случай – на правах самоуправления, как некая автономная субстанция, не подчиняющаяся никому и ничьим законам, – взбалмошная, неуловимая, неумолимая, непредсказуемая, сама решающая, чем аукнуться – карой или милостью?

А может, случай и есть Бог?

Как бы все обернулось, попади тот же Моисей не к сестре фараона, а к жене надсмотрщика за рабами; вырасти он не в царских чертогах, в неге, в достатке, в учении, а окажись в саманной лачуге грубого мужлана – запуганным, забитым, не поднимающим глаз? Заговорил бы с ним Бог, доверил бы ему великие слова? Как знать, как знать. Молчал же Непредсказуемый тысячу семьдесят два года после потопа, пока не обратил взор на Авраама. Почему молчал? Ждал случая?..

Вавилон был величайшим городом на земле и многим мозолил глаза. Еще бы! Откуда такой взялся? Был-то размером с коровью лепешку, низкорослый, замухрышка, пашенок. А поди-ка, и двух тысяч лет не прошло, а как переменялся: раскинулся широко, как блудница, окружил себя высокими, толстыми стенами. Принарядился. Башню ткнул в небо, как перст: дескать, вот я – сам себе указующий!

Похорошел. Аромат привозных благовоний загнал местную вонь в дальние ниши углы. Отовсюду потянулись в город торговцы, ремесленники, наемники, проститутки, ростовщики, шпана, ученые. Множество наречий перемешалось в густом, душном воздухе базаров, на узких улочках, в притонах, харчевнях, на подиумах для рабов. Общим, всем понятным языком был звон монет, – он никогда не менялся. Золото текло подобно желтому Евфрату. Заторопились, как никогда прежде, чтобы успеть в город до закрытия ворот, нескончаемые караваны, нагруженные соблазнами и диковинами, осыпанные пылью неведомо каких земель. Серебро с гор Тавра, золото из Египта, благовония из Аравии и Индии, олово из Хорезма... Великое множество разного товара свозилось в Вавилон, дабы приумножилось его богатство и величие.

Вавилону завидовали. Его ненавидели. И почитали. И не было ему равных ни в каких других землях.

Евфрат рассекал город с севера на юг. Вавилон раскинулся на двух берегах, соединенных мостом на каменных быках. Через северные ворота – ворота богини Иштар – в Вавилон входила главная, прямая, как линейка, дорога, предназначенная для торжественных процессий; справа поднимались мощные крепостные стены, прикрывающие дворцы; слева лепились дома, сложенные, как у нас в махалле, из сырцовых кирпичей; повсюду возвышались горделивые финиковые пальмы, чьи кроны чуть задевало знойное дыхание Сирийской степи и Аравийских Нефудов (так темнокожий слуга помахивает опахалом, но прохладнее от этого не становится).

Главная дорога вела от северных ворот в храмовое сердце Вавилона – Эсагилу, царство жрецов и таинств. Здесь зародились магия и астрология. Здесь уперлась в небо девяностометровая семиступенчатая башня с рогатым храмом бога Мардука на самой макушке.

Вавилон почитали. Вавилон ненавидели.

Кто только не зарился на него; какому вождю не представлялось обладание блудницей, раскинувшейся по обе стороны Евфрата; и брали Вавилон то хетты, то хуриты, то эламцы, то гуттеи, то ассирийцы, то персы, то македонцы...

Лютой ненавистью ненавидел Вавилон Синаххериб – царь Ассирийский. Что с того, что женат на вавилонянке?! Попробуй она слово сказать поперек!

Будучи еще начальником контрразведки при своем отце, Синаххериб чинил Вавилону всяческие козни: подкупал податливых чиновников, а упертых припира к стенке, загонял в тупик: кого – кинжалом под кадык, кого – уликой, придуманной или явной; подсылал шпионов и кликуш, чтобы отравляли недоверием и сомнением сердца разноплеменных жителей города. Заняв царский трон, Синаххериб еще больше приблизил к себе мысль об уничтожении Вавилона. Однако пришлось ждать целых двадцать пять лет.

Час мести пробил в последний год правления Синаххериба – и вот тогда он щедро отпраздновал свою ненависть.

«Бей!» – вопил царь, топая ногой в днище колесницы, и ослы, едва сдерживаемые возничим, запрокидывали морды и оглушительно ревели. Подражая царским ослам, подхватывали рев и другие ослы, запряженные в колесницы вельмож.

Вот ведь какая странность: все ослы на одну морду, а разницу чувствуют. Не царские ослы ревели усердно, точь-в-точь подражая, но не громче царских.

«Бей!» – орал царь и скрюченным в судороге пальцем протыкал насквозь ненавидимое пространство. Воины копьями, мечами, пинками гнали жителей, и те своими руками рушили свои же дома, ломали стены храма, крушили великую башню с двурогим святилищем главного бога на макушке. Обломками завалили Евфрат; река подавилась и, не в силах изрыгнуть огромную тяжесть, вырвалась из берегов, хлынула на все стороны, топя, что осталось от Вавилона.

Жители Вавилона, ставшие в одночасье рабами, брели прочь, голые, в колодках; они, как могли, выворачивали шеи, чтобы бросить прощальный взгляд.

Вавилон пал. Боги улыбались: рабов было много.

Другой город занимал сердце Синаххериба – Ниневия. Город крови. Ашшур, город жрецов, мнивший себя первопрестольным в Ассирийском государстве, роптал, негодовал, возмущался по этому поводу, но тихонько, на ушко, с оглядкой: упаси Ану от посторонних ушей и зловонных уст, всегда открытых для доноса; не посмотрят, что жрецы – сдерут кожу начисто.

В Ниневии царь проведет остаток жизни. Как любимую жену пестовал и украшал он свою столицу. Про любимую жену – это так, для красного словца. Не мог уже дряхлеющий царь любить, не мог. Да и не любил никогда. Гепардов любил. Кречетов любил. Кровь любил. А Вавилон и людей ненавидел. Его убьют в храме его же сыновья. Но свершится это позже.

До этого рокового дня, который почти всегда писан владыкам четырех сторон света, Синаххериб жил в Ниневии спокойной жизнью. По его приказу вокруг величествен-

ного дворца был рассажен сказочный сад с диковинными растениями, среди которых был даже хлопчатник. В Ниневии проложили просторные улицы – прямые, без изыяна. Синаххериб распорядился на этот счет просто и понятно: всякий, кто осмелится при строительстве дома нарушить прямую линию улицы, будет посажен на кол на крыше своего дома».

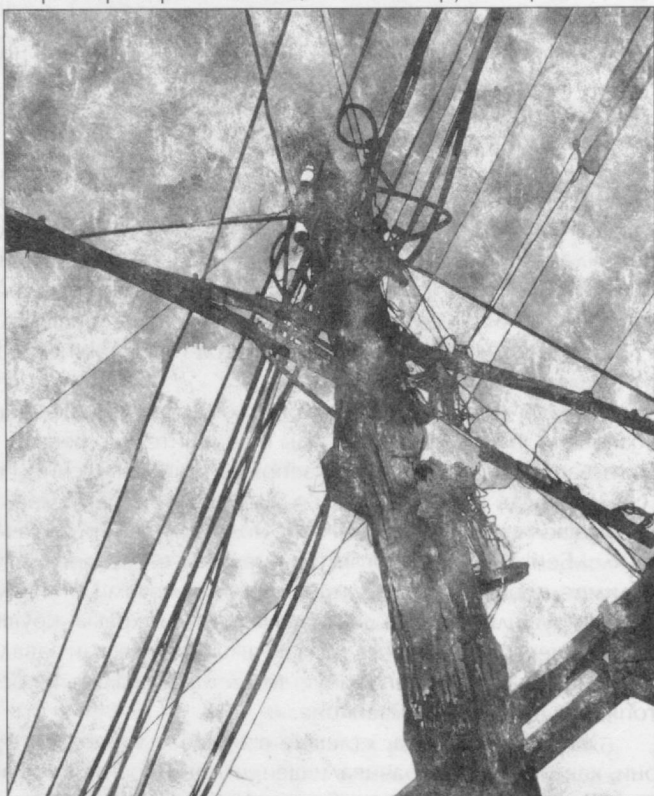
Улица Горького связывает нашу махаллю с городом. Для улицы наскребли асфальта ровно столько, что его едва хватило на небольшое расстояние – от центральной улицы Навои, откуда она берет начало, и до крайнего угла мавзолея; за углом мавзолея улица Горького уже по шиколотку засыпана мягкой, горячей пылью.

Когда по улице Горького проезжает случайный автомобиль, потревоженная пыль, словно вспомнив свое дальнее родство с пустыней, взрывается под колесами, взлетает вверх, закручиваясь в воронки, но, не дотянув до настоящего буйства старшей родственницы, замирает на какое-то время в воздухе, видимо, вспоминая, зачем сюда забралась, и затем медленно опадает на привычное, нагретое место. Как давно она здесь лежит – могли бы рассказать те, кто сами стали пылью. Дедушка Алим бежал по ней еще тогда, когда только-только научился быстро перебирать ногами; хотя мне трудно представить ребенком старьевщика Алима по прозвищу Шара-бара.

По краям улицы вдоль глиняных стен утопаны тропинки – чтобы можно было пройти, не утонув в пыли; тропинки ныряют влево и вправо в боковые переулки, тоже застеленные пылью, но не так щедро, как улица Горького. На одной стороне улицы, на расстоянии сорока шагов друг от друга, врыты в землю деревянные столбы с тусклыми лампочками под железными колпаками и с провисшими проводами, в которых запутались разноцветные обрывки бумажных змеев: одни закончили свой полет вчера, другие – задолго до Великой Войны.

По соседству с нашей махаллей – еще две, чьи переулки также отходят от улицы Горького. Когда-то границы каждой махалли определяли таблички, приколотенные к саманным стенам первых домов, позже таблички отвалились и сами собой куда-то пропали. Кому нужны эти границы? – все друг друга знают.

В трех махаллях имеются: семь переулков, названных в честь пролетарского поэта Хамзы Хакимзаде Ниязи; два переулка Октябрьской революции; четырнадцать переулков – четырнадцать расстрелянных туркестанских комиссаров: Дубицкого, Вотинцева, Гордеева, Качурина, Лугина, Малкофа, Першина, Троицкого, Червякова, Шпилюкова, Фигельского, Финкельштейна, Фоменко, Шумилова; девять переулков – девяти расстрелянных ашхабадских комиссаров: Житникова, Батминова, Телии, Молибужко, Колостова, Розанова, Смелянского, Петросова, Хренова; есть один Вагонный проезд, здесь, недалеко от лазейки, ведущей к радостному пустырю, стоит наш дом; остальные переулки никак не названы и имеют только номера, а ведь их могли поименовать в честь двадцати шести расстрелянных бакинских комиссаров – переулков как раз хватало.



Переулки заканчиваются тупиками. Правда, в некоторых тупиках имеются хитрые лазейки, хорошо известные жителям махалли, но скрытые от посторонних глаз, – только посторонние в махалле почти не показываются: кому из чужаков взбредет в голову забраться без особого приказа, цели и повода вглубь саманных лабиринтов?

Лазейки доступны не всем жителям махалли: например, раздутый со всех сторон бухгалтер райпотребсоюза Бахтияр Ахмедович непременно застрянет, сунься он в одну из таких щелей. А ведь через них каким-то образом свободно прогоняют толстозадых баранов: на радостном пустыре много сочной травы, которую почему-то не сжигает даже июльская жара; большие зеленые острова окружены все той же золотой горячей пылью; на радостный пустырь пригоняют попасться всех овец махалли.

Говорят, тайные проходы в тупиках были проделаны специально. Не раз врывались в саманные переулки и дворы разноязыкие вояки: то одни, то другие, то македонцы, то тохары, то эфталиты, то тюрки, то арабы, то саманиды, то караханиды, то монголы, то ягма, то чигили, то ойраты, то китайцы, то джунгары, то черт знает кто... – и так две тысячи лет. Вой-ё!

Заслышав приближение очередных завоевателей, собаки во дворах сразу же принимали лай; жители спешно собирали самое дорогое – детей и овец, отпускали с привязи собак, и быстро уходили через спасительные расщелины подальше от беды – к Буриджар, на радостный пустырь, в густые камышовые тугаи, заслоном стоявшие здесь еще не так давно. Когда победители уходили, унося нишую добычу, жители осторожно возвращались в разбитые дома, снова месили ногами глину вперемежку с мелко нарубленной соломой, обжигали на солнце кирпичи, помогали друг другу восстанавливать жилища. Гончары лепили новую посуду. Кузнецы выкапывали из тайников инструменты, металла, ковали гвозди, ножи... Собаки, кто не убежал навсегда или не был зарублен, угодив под горячую руку, возвращались по своим дворам. Все радовались, что остались живы.

Махалля разрасталась – камыш рубили, чтобы крыть им плоские, чуть покатые крыши домов, загонов для скотины, кладовых. Камыш собирают в большие тугие вязанки, плотно в два-три слоя укладывают на сухие толстые стволы, каждый слой поверху густо замазывают жидкой, вязкой глиной. Под солнцем глина твердеет, нечастые дожди не проникают сквозь нее, но приносят оживление – на глиняных крышах махалли тесно растут маленькие красные маки.

Дома в махалле складывают из самана так же, как лепили дома и две, и пять тысяч лет назад в Фивах, Уруке, Сузах, Аккаде, Вавилоне, Ашшуре, Ниневии, Иерусалиме, Бактрах, Фергане...

Да, в отцовской тетради прочитал: в Вавилоне деревянная дверь считалась большой роскошью; продав дом, бывший владелец уносил дверь с собой. А что если новый дом не купит, не построят? Так и будет бродить по свету с одной дверью над головой?

Много раз заново отстраивалась и перестраивалась махалля. Времена успокоились. Но лазейки остались – так, на всякий случай.

Мы, узкоплечие и поджарые, юрко, как водяные змейки, проскальзываем сквозь эти трещины. Мама тоже легко проходит через узкие лабиринты: так она находит меня всякий раз, когда я в запретное время убегаю со двора. У трещин нет названий; да они им и не нужны: просто – они есть, просто – протиснулся и вышел на радостный пустырь, к Буриджар.

Улица Горького, как уже сказано, берет начало от центральной улицы Навои; широкая в этом месте, она, минуя пивную, небольшой базар, ведет дальше, вглубь, мимо мавзолея, поставленного пятьсот тридцать семь лет назад над прахом какого-то святого. Возможно, он даже жил в нашей махалле. В махалле все возможно. Резные створки деревянных мавзолеевых дверей накрепко заперты большим черным замком, висящим на цепи. На куполе одинокий шпиль, с которого давно срезали полумесяц.

Изогнувшись за угол осыпающейся стены мавзолея, улица Горького сразу меняется до неузнаваемости – как будто скинула нормальное платье и надела задрипанный, залатанный халат, на который не обратил бы внимания даже старьевщик Шара-бара. Ровно через семьсот пятьдесят моих шагов от стены мавзолея улица Горького резко ныряет

вниз между двух холмов, поросших маленькими красными маками, и, упав в пересохший арык, теряет свое значение. Здесь кончается город. Дальше, огороженное двенадцатью черными каменными столбами, лежит проклятое пространство, изрезанное трещинами, плотно посыпанное солью. В последнем доме города, на том холме, что справа, если стоять в отдалении лицом к столбам, живет Джура, ночной сторож единственного в махалле хлебного магазина.

Не знаю, почему наш переулочек назван «Вагонным проездом»: проезда здесь нет; к вагону он не имеет никакого отношения, потому что вокзал находится на другом конце города. Можно представить, что вагон отбился от общего стада и забрел сюда – к радостному пустырю как голодный баран; но переулочек не похож ни на вагон, ни на барана, скорее он напоминает тертый-перетертый шнурок старого башмака; сунешь ногу в такой башмак и попадешь в тупик – с маленькой лазейкой для мизинца.

Без особой необходимости машины в махалле не заезжают. Могу на пальцах сосчитать, сколько раз на моей памяти они тревожили толстую, ленивую пыль на улице Горького. Двенадцать лет назад (этого я не помню) приезжала зеленая «Победа»; два или три раза залетали, нервно гудя, машины «скорой помощи», и врачи, сатанея от путаницы, долго выясняли, в какой же из семи переулков пролетарского поэта их вызвали. Они на чем свет кляли безымянных чиновников, присвоивших переулкам одинаковые названия, а заодно нелестно поминали не повинного в этой несурзнице покойного поэта.

Дважды на улицу Горького врывались brave красные пожарные машины – с ревом, с сиреной, как положено. Их появление веселым лаем приветствовали все четыреста семьдесят пять собак (по числу дворов в трех махаллах). Но больше всех радовались пыль и дети.

Шесть лет назад от невыносимой июльской жары вдруг сам по себе вспыхнул хлев во дворе председателя махаллинского комитета Султана Бакиевича.

В одном углу хлева, по самую крышу, крытую камышом, было плотно втиснуто сено, в другом углу, отгороженном жердями и поделенном на два загона, жались к еще неохлажденной огнем стене рыжая корова, пять курдючных баранов и три овцы. Огонь разгулялся. Султан Бакиевич, опрокинув на себя кумган с остатками воды от послеобеденного чая, с воплем мужественного отчаяния бросился в пекло спасать скотину. Перепуганные животные орали, чувствуя обжигающее дыхание страшной смерти. Толстая, плотно обьятая слоновой болезнью, жена председателя выбежала в переулок и принялась кричать пронзительным голосом на одной, острой как сапожный нож, ноте: «Ёрдам беринглар! Ёрдам беринглар! Помогите!»

Так вот, машина влетела и тут же застряла в узком переулке Октябрьской революции в двадцати шагах от дома Султана Бакиевича; шланги оказались коротки; пожарные были лишены возможности сражаться с огнем привычным способом. Огонь тем временем, чувствуя полную безнаказанность, разошелся вовсю, нехороший дым, кувыряясь толстыми колесами, выкатывался в белое от зноя небо.

Хорошо, пожар случился в воскресенье, и соседи были дома; они прибежали быстро с ведрами, в которых уже была вода. Жители махалли и примкнувшие к ним пожарные усердно принялись тушить огонь, но было очень сложно приблизиться к разбушевавшемуся пламени; заливали как могли. Случись пожар в будний день – не миновать большой беды: иссушенная махалля, несмотря на безветренную погоду, могла вспыхнуть и сгореть дотла, как полный коробок, подожженный одной спичкой.

Огонь успокоился тогда, когда обглодал дотла весь хлев, оставив только глиняные стены, почерневшие и расколовшиеся от жара. Всех животных спасли. Корова от перепуганного потрясения три месяца не давала молока.

В другой раз пожарные примчались ровно через неделю – тушить-спасать лавку, где продавали керосин. Лавка стояла на отшибе, угрозы для махалли не представляла, горела ярко и сгорела быстро. Семен Кац, заведующий лавкой, клялся и божился, что лавка загорелась от жары, сама по себе, то есть таким же необъяснимым образом, что и хлев

махаллинского председателя. Судья ему не поверил.

И, наконец, полгода назад к дому нашего соседа Аббоса подкатило такси; из него вышли Витя и его родители – археологи, приехавшие, как потом выяснилось, на раскопки какого-то древнего поселения в окрестностях города. «Победа» с черными шашечками на боку долго разворачивалась, потом укатила, подняв густую пыль.

Они стояли вдвоем и оглядывали все им незнакомое. На них с открытым любопытством смотрели женщины махалли, и тень доброй усмешки ходила от одной к другой. Собаки без надрыва проводили такси и быстро затихли. Из облака пыли выдвинулась по-нуря морда Жадал, потом она сама, затем – Алим, протирающий глаза. В трех шагах он остановил лошадь, посмотрел на гостей и сказал:

– Салам аллейкум! Здравствуйте! Приехали? Хорошо. Скоро праздник будет, да.

В ста двадцати шагах от дома Джур, на расстоянии примерно тридцати шагов один от другого стоят двенадцать каменных столбов. Черные, в три человеческих роста, в два обхвата длинными руками, они образуют дугу, обращенную в сторону махалли, – как испанский лук с туго натянутой тетивой, готовой сорваться в любую минуту и выпустить невидимую стрелу в любого, кто посмеет перешагнуть границу, которую они стерегут.

Столбы, как двенадцать братьев, похожи один на другого: грубо отесанные, с острыми верхушками, мрачные, отпугивающие. Из какого камня явились они на свет, кто, когда и зачем поставил их на мертвой земле, никто не знает, даже бабушка Халида – а если что и знает, предпочитает молчать: зачем взваливать людям на слабые плечи то, что они не в силах поднять.

На окраину города люди махалли не ходят: какие у них тут могут быть дела; попросту поглазеть? – вот радость-то. В махалле вообще не любят говорить про эти чертовы столбы; ну стоят себе и пусть стоят – тыфу-тыфу-тыфу.

Случается, правда, что вдруг, ниоткуда, неизвестно чей, проникающий не в уши, а в души, прошуршит нехороший шепот и лишний раз напомнит, что лучше не тревожить проклятое пространство; а столбы... а что столбы? – ну, самые что ни на есть простые воины, поставленные на вечную стражу; и воины эти забыты навсегда. Шепот – обжигающий и мимолетный, как короткий вздох ветра во время июльского зноя; обернешься, чтобы разглядеть шептавшего – а рядом никого нет и не было. В махалле такие шутки не редкость.

Между столбами и махаллей, как пограничник, стоит одиноко на холме последний саманный дом города, в котором живет Джур – ночной сторож хлебного магазина.

Сказать по правде, за столбами действительно лежит нехорошее пространство – такыр, мертвая земля, обожженная солнцем, покрытая солью, оставшейся то ли от пота, то ли от слез, утыканная кое-где сухими кустиками янтака – верблюжьей колючки. Ни одного движения не заметили мы на той земле. Даже ящерицы, чье бесчисленное племя беспрестанно суетится по эту сторону, не заползают за предупреждающий полумесяц. Нет жизни на той земле.

В одиночку я ни за что не отправился бы к столбам, мы и вчетвером-то продвигались медленно и осторожно, как будто земля под ногами была утыкана острыми шипами. Чем ближе подходили мы к великанам, тем плотнее упорствовала невидимая преграда – с каждым шагом идти становилось труднее, не хватало воздуха, в голове нарастал шум, как будто издали по каменистому склону катилась пустая железная бочка. Громадные камни, те, что были ближе других, казалось, смотрят в упор и вот-вот двинутся навстречу, сшибут и раздавят нахальных человечков, которые предпочли любопытство почтению.

Джур, сидя в тени под навесом своего домика, наблюдал с холма за нашими нерешительными походами. Его глаза были слегка прищурены, а под белыми усами пряталась улыбка: что, маленькие, учитеесь храбрости, да?

Когда мы в третий раз пришли к черным столбам (приблизившись уже шагов на тридцать!), Гима указал пальцем куда-то далеко влево и глухим, как будто чужим ему голосом произнес:

– Бабушка говорила, что там один брат зарезал другого брата.

От этих слов мы дружно и усердно три раза поплевали себе за пазуху, как все это

делают в махалле, чтобы не накликать на себя какое-нибудь несчастье.

Права мама: нет там хорошего. Почему отец ушел туда, где нет жизни?

Отец, отец... незнакомое слово.

– Мика, подойди ко мне!

Мама стоит на веранде, с блестящим от чешуи ножом в правой руке, а левой придавливает к разделочной доске какую-то рыбу с выпученным бессмысленным глазом.

– Ты меня не обманываешь?

– Нет, мама, я тебя не обманываю, – говорю я, добавляя торжественность в голос, как на утреннике в школе, когда читал со сцены в актовом зале какое-то стихотворение.

Но про себя думаю: «Какие столбы?! До этих ли махаллинских дурацких шуточек мне сейчас дело! Тесен мне двор! Только суббота свободна для меня, а в остальные дни я сижу дома безысходно, как на уроке истории, с которого Салахитдин Иосифович еще никогда никого ни по какой нужде не отпускал.

Дай мне без твоего окрика улизнуть со двора и мгновенно, не задохнувшись от марафонского бега, перенестись на край радостного пустыря, как жаждущий сползающего к реке! Я примчусь туда, где ломает воду мускулистая коряга, преданная, как новым богам, мне и моим друзьям за то, что ей, завершившей жизнь, мы доверили великое дело – поддерживать над быстрым потоком наши тошие задницы.

Закликаю тебя: хоть на один выдох соедини ресницы левого глаза! – этого будет достаточно, чтобы уже не докричаться до меня».

В чем я абсолютно свободен, так это в возможности бессчетное количество раз произносить свои желания разными голосами: передразнивая, подражая, насмехаясь, то есть произносить как угодно, но только не вслух. В действительности все гораздо сложнее: стоит мне только перешагнуть предел моего отражения в сером немигающем маминем зрачке и не откликнуться мгновенно на ее зов, как тишина разорвется на миллиарды осколков, и в каждом будет трепетать мамин крик: «Ми-ка! Где ты?!»

– Да здесь, здесь, – ворчу я, возвращаясь в серый круг, – за виноградником писал.

– Тьфу, тьфу, тьфу, – мама по-махаллински плюет себе за пазуху и успокаивается, – а то мне показалось...

Вот как у нее получается? Правый глаз как у всех, спит, моргает, плачет, светится, а левый ничего этого не делает и только смотрит в мою сторону. В школу провожает. После школы встречает. На радостный пустырь отпускает только в субботу. Мама почему-то убеждена, что в другие дни – с юга, со стороны столбов – приходят дурные звуки, чтобы мучить слабых.

Нет там никаких звуков! – там все мертво, даже ветер не пролетает над горячей солью! Но спорить с мамой – значит признаться, что ходил я к черным столбам, и что все мои заверения – страшный обман. Нет, на это я не пойду.

Смотрим, что там у нас на юге? Так, вниз, вниз, вниз... ага, Александрия Эсхата. Город, поставленный в Маргиане Александром, царем Македонии. Позже его назовут Худжант. С 1936 года – Ленинабад. То есть город Ленина. Город-псевдоним. Ленин – он же Карпов, он же Ильин, он же Тулин, он же сын учителя Ульянова, зачатый в Нижнем Новгороде, рожденный в Симбирске, лежащий в Галикарнасском подобии усыпальницы Кариийского правителя Мавсола, облицованный лабрадором, гранитом, порфиром, день и ночь охраняемый мальчиками из почетного караула и незаметными одинаковыми людьми в штатском... Отсюда могут приходиться звуки и мучить слабых? Что мама имела в виду?

В субботу я свободен. В субботу я свободен? На пять часов?! Что можно успеть за пять часов?! Половину Гима съедает своей неумейной болтовней, через которую другим не прорваться. А когда он замолкает, не остается времени на другие разговоры. И солнце, задев вершину тутовника, без оглядки уходит в сторону гор.

Мика, пора домой. Ми-ка, по-ра до-мой!!!

Не очень-то щедро, мама.

Июнь. Каникулы. Среда. Полдень. Жара. Я сижу в тени под ветвями старой яблони. На коленях тетрадь отца. Лениво и коротко перекликаются птицы. Разноцветные букашки дурачатся в сухой траве, а та шепелявит, как бабушка Халида, – непонятно и сонно. Не будь так одиноко и скучно, я любил бы наш двор еще сильнее. Он просторный, здесь всем есть место. В дальней его части живут двенадцать деревьев: урючина, айва, две черешни – желтая и красная – алыча, кок-султан, слива, вишня и знаменитый великан тутовник. Ближе к открытой веранде растут две яблони – одна молодая, другая старая – ее тень укрывает меня сейчас от горячих лучей.

Однажды из какого-то умного института приехали мужчина и женщина, оба в очках, с портфелями, и с ними человек с фотоаппаратом. Они попросили маму показать им тутовник. Я тогда сильно удивился: чего его показывать, если его видно аж от мавзолея, а это почти пятьсот шагов до нашего дома. Мама пожала плечами, молча махнула рукой на дерево, как на обычное, и отправилась закрывать Ура, недовольного тем, что ему придется томиться в душной конуре. Гости ждали в переулке за дверью, с интересом и опаской глядя на то, как мама пытается привести к послушанию громадного пса.

– Мика! – крикнула мама, сразу уставшая от бесплодных попыток совладать с неподъемным, своенравным псом. – Мика! Иди помоги!

Вдвоем мы принялись затачивать Ура в конуру. Ур, тяжело сев на задние лапы, крепко упирался передними, оставляя железными когтями глубокие борозды на земле. Он что-то глухо бурчал, нагнув широкую шею, и по его каменному затылку можно было без труда прочесть всю историю собачьего упрямства. Ни мамины угрозы: «Три дня просидишь на цепи!», ни мои посулы: «Три дня буду поливать тебя из ведра!» не действовали на старого бугая. В конце концов, нам удалось затолкать эту дюжину упрямых ослов в будку, больше напоминавшую крепостную башню с огромным железным крюком снаружи. Оказавшись в духоте за толстыми досками, Ур издал несколько звуков, не поддающихся нормальному переводу на человеческий язык.

Дождавшись окончания нашей борьбы с Уром, гости прошли через двор к дереву и сразу оживились: мужчина достал из портфеля рулетку, а женщина – блокнот. Они несколько раз обмерили рулеткой ствол, с трудом просовывая ее ленту между стволом и дувалом, отгораживающим наш двор от двора Софы Абрамовны; женщина записывала данные каждого измерения, а мужчина в это время выкатывал нижнюю губу и мотал головой, как лошадь старьевщика Алима. Фотограф шелкал кадр за кадром с азартом, как будто играл в пинг-понг, и при этом приговаривал: «Вот вымахал, так вымахал, это ж надо так вырасти, просто баобаб какой-то, а не дерево».

Я стоял в стороне и наблюдал за ними; мама попросила меня остаться возле конуры – на всякий случай. Мне было любопытно: не каждый день приходят такие необычные гости. Меня долго не замечали. Наконец тот, кто фотографировал, обратился ко мне:

– Повезло тебе, парень, – у вас во дворе растет, может быть, самый старый и самый большой тутовник в мире!

Какое-то время я надувался от гордости – ведь об этом узнала вся махалля (сто раз приходили к нам соседи, сто раз видели тутовник – и ничего, а тут вдруг все заметили: как же, в газете ведь напечатали фотографию!); а Гима, тот сразу же разнес известие по всей школе. Учительница ботаники Элеонора Сергеевна, испросив предварительно разрешения у моей мамы, несколько раз приводила к нам разные классы – к ужасному неудовольствию Ура: его загоняли в душную конуру.

Ласково, как кошку, поглаживала Элеонора Сергеевна черствую черно-пепельную кору великана и с нескрываемым детским восторгом рассказывала все, что только знала о тутовнике: о пользе его ягод; о том, что его листьями питаются специальные червячки – тутовые гренны, которые потом сворачиваются в коконы, а коконы дают шелковые нити; о том, что в древности в Китае разведение этих червячков было государственной тайной, за разглашение которой казнили; о том, как какая-то китайская принцесса, выйдя замуж за какого-то туркестанского принца, тайно вывезла этих червячков за пределы Китая, спрятав их в своей прическе...

Да вы бы лучше посмотрели, как я влезаю на это дерево! – правда, настолько вы-

соко, насколько позволяет мне моя небольшая, неопытная храбрость. Я усаживаюсь на толстом суку, крепко цепляюсь правой рукой за ветку над головой; до вершины тутовника еще очень далеко, но и с этой высоты мне видно все. Каждый двор махалли открыт мне; мавзолеей, базар; улица Горького, впадающая в центральную улицу имени Навои, полностью заасфальтированную; по улице Навои движется множество людей, машин, автобусов, трамваев... Город лежит передо мной как перед победителем.

Я представляю себя орлом, это легко – я и есть орел, присевший после векового полета на ветвь тутовника, чтобы оглядеть то новое, что появилось за время полетов над другими пространствами. Я вижу радостный пустырь, Буриджар, моих друзей на коряге, и они видят меня – и мы вместе.

Но у тутовника своя жизнь, свои тайны, которые он никогда никому не откроет, тем более мне – тринадцатилетнему мальчишке, который, когда наступает время урожая, безо всякого уважения устраивается поудобнее на его ветвях и длинной палкой сшибает с него созревшие ягоды. Они шумно обрушиваются на брезентовый полог в нашем дворе и на широкую простыню, натянутую на четырех колышках во дворе Софы Абрамовны; множество ягод, упав с огромной высоты, разбиваются вдребезги – простыня и полог покрываются красными пятнами, как поле битвы. Старый великан просто терпит меня. Потому что живет на нашем дворе; или... мы живем под ним?

Я горжусь нашим тутовником-великаном, а старую яблоню люблю. До десяти лет я относился к ней как к бабушке. Должна же быть бабушка. Но потом я решил, что повзрослел, и мне стало неловко перед самим собой за свою выдумку. Однако мое хорошее отношение к яблоне не переменялось, и когда мама решила ее срубить, потому что она больше не плодоносила, я уговорил ее оставить дерево в живых.

Сидеть под яблоней лучше, чем на уроке Салахитдина Иосифовича. Его история загоняет в тоску: все запутано и слишком много убийств.

У мамы свои любимицы – двенадцать роз: белые, бардовые бархатные, желтые, на высоких стеблях, душистые и красивые; каждой мама дала имя. По утрам она осматривает розы, как детский врач.

В стороне от деревьев и роз небольшой огород, здесь растут петрушка, укроп, райхан, перец, зеленый лук, чеснок, в общем, всего понемногу.

Большую часть двора занимает виноградник. Пятнадцать старых лоз обвивают высокие арки, согнутые из толстых ветвей тала. В сезон тяжелые грозди, тесно соприкасаясь одна с другой, свисают, как люстры в театре, куда мы с мамой ходили несколько раз. По обе стороны виноградника прорыты узкие, неглубокие арыки; по ним, тонко журча, бежит вода, которую чигири черпают из Буриджар. Удивительно то, что врытые вдоль арыков сухие стволы тала, не имеющие корней, постоянно пускают новые зеленые побеги, и сколько их ни обрезай, они пробиваются вновь и вновь: мама перестала вести с ними бесплодную борьбу – «а, пусть растут», – оставила стволы в покое и они украсились множеством гибких веточек.

Арыки уходят под дувал в соседний двор Софы Абрамовны, оттуда – дальше; так, перетекая по арыкам из одного двора в другой, из махалли в махаллю, Буриджар встречается с другой рекой – Кара-су.

Отец хотел помочь земле за черными столбами. Так рассказывала мама. У него была вера и опыт – когда-то он работал на сооружении большого канала в безводной степи. Отец утверждал, что на земле по обе стороны от черных столбов жили сады, виноградники, поля, росли сливы, персики, яблоки, вишни, дыни, ячмень, пшеница, хлопчатник; он убеждал, что все это было здесь еще задолго до прихода Македонца, который, согласен, уничтожил и сады, и поля, но ведь не под самый же корень! Не под корень! Я горячусь, товарищ замминистра? Нисколько. Потом хлынули орды Чингисхана, вырубали, вытоптали, сожгли, развеяли... Да, я это видел, то есть помню... Так ведь и людей вырубали, топтали, жгли, и шакалы пожирали убитых и раненных. Вспомните хотя бы Герат, это недалеко отсюда. Несколько сотен тысяч жителей было в городе. А после резни, которую там учинили степняки, случайно остались в живых только сорок человек. В Мерве, тоже недалеко отсюда, тринадцать дней считали убитых, не знаю, правда, зачем...

Но взгляните, уважаемый!.. Вы, простите, здесь родились? – вот и хорошо! И предки ваши здесь родились и жили, и их предки – тоже. То есть, все те, немногие, кому тогда удалось спрятаться, уцелеть, избежать резни, выжили сами и дали семя новой жизни. И жизнь-то возродилась на *этой* земле, на земле, которую вытаптывали, жгли!.. Значит – не под корень! Значит – можно вернуть ей жизнь.

У отца был план: от двух рек – Буриджар и Кара-су, одинаково избегавших эти гиблые места, отвести каналы и дать воду мертвой земле. К нему прислушались; и сначала все пошло хорошо. Пригнали много разных машин: одни должны были рыть каналы, другие привозить живую землю и сгружать ее прямо на такыр, третьи – разравнивать привезенную землю поверх белой пустыни. Я не разбираюсь в этих делах, мама, судя по всему, такой же профан в этом вопросе, как и я. Но ясно одно: убитую землю хотели воскресить.

Однако работа за черными столбами еще не началась, как что-то круто переменялось: на смену прежнему большому начальству, утвердившему план отца, пришло новое и признало план нецелесообразным и более того – очень вредным, и даже вредительским для всей отечественной экономики и без того пострадавшей от Великой Войны.

Отец спорил, доказывал. Чуть ли не каждый день ездил на прием к новому руководству, каждый раз, по словам мамы, возвращался оттуда удрученный и постаревший так, как не стареют обычно за один день. Однажды он не вернулся. И на другой день, и на третий. Мама металась. У нового начальства была; там, пряча глаза, сказали: да, был в учреждении, видели его, и видели, как уходил, а куда – это уж, извините, учреждение знать не обязано. В милиции (районной и городской; а в республиканское министерство ее просто не пустили) ответ был один: никаких сведений о пропаже гражданина не поступало.

Мама объездила всех его сослуживцев, многочисленных знакомых, была у всех его друзей, которых хорошо знала, потому что много раз на всех праздниках они бывали в нашем доме. Никто ничего не знал. Пропал человек, будто и не было его никогда: испарился, как капля воды на сожженной солнцем земле за черными столбами.

А потом приехали на зеленой «Побед» четыре одинаковых человека. К нам пришли трое, молчаливые и равнодушные, в темных одеждах, и когда принялись рыскать и потрошить дом, все стало понятно маме; я, годовалый, ничего не понимал и только возмущенно заорал, когда мерзко пахнувший тип начал шарить в моей кровати. Мама оттолкнула его, вынула меня, орущего, а кровать с силой опрокинула на пол: нате!

– А вы бы, гражданка, того, – предупредил другой, с лысым черепом и черным сопливчиком усов, – не хамите, давай это, поуважительней и с пониманием. Ясно сказал?

Очень скоро все, кто раньше часто гостил в нашем доме, позабыли к нему дорогу.

Память называвших себя друзьями, клявшихся в дружбе и, хлебнув коньяку, слезливо тнянувшихся с поцелуями, – такая память труслива и потому непригодна для долгого хранения благодарности и уважения. Да и сама такая память – скоропортящийся продукт: чуть надави – либо выдаст, либо отречется.

Один доброжелатель, без имени и лица, осторожно шепнул маме, что отца осудили не за дела, а за слова: дескать, в какой-то компании он произнес в запальчивости недозволенное, а кто-то предусмотрительно запомнил, записал и переслал его слова куда надо. Отец сказал: «Памятники вождям подняли над людьми – чтобы они, простые, задирали головы, выворачивали шейные позвонки, ощущали себя мелюзгой и шли, черт знает куда, по указанию каменной руки. Памятники возводят те, кто сами мечтают стать памятниками. Бессмертие – вот их извечная, навязчивая мечта. В каждом городе, в любом завшивленном кишлаке стоят эти идолы. Тут нет места для бога! Здесь правят мертвецы, на кого обязано молиться все население державы, непрестанно – от младенческого «агу» до стариковского предсмертного «эх». Сколько денег угробили на чудовищ. Лучше бы землю за черными столбами оживили».

Кто же ему такое простит? А простит – сам угодит за решетку. Нет! Лучше уж ближнего утопить, чем самому влипнуть. «Я ваших взглядов не разделяю! И нары делить с вами не собираюсь! Тьфу-тьфу-тьфу...»

Бывает, ох, как бывает: некто почтенный, с патриотическими глазами навывает,

кричит во весь голос: «Это моя земля!» Но спроси его внезапно: «Где восток, где юг?» – завертится юлой, начнет палец слюнявить, ветер ловить, будто ему дано знать – откуда тот ветер.

А случается, что вдруг кто-то, страшно уставший, осторожно тронет тебя за локоть и спросит: «Товарищ, не подскажешь, где тут родина?»

– Женья! – продребезжал в воздухе слабый голос махаллинского старьевщика Алима по прозвищу Шара-бара. – Женья, это я пришел!

Каждый день маленький, похожий на сушеный черный кишмиш, Алим объезжает три махаллы на своей древней, безропотной кобыле по имени Жадал – Стремительная, запряженной в скрипучую тележку. В тележке стоят два фанерных ящика, в каких обычно отправляют посылки; в одном ящике – глиняные свистульки, в другом – прозрачные леденцы на тонких, гладко обструганных палочках: петушки, машинки, пистолетики; между ящиками – холшовый мешок, наполненный сладкими бело-золотистыми шарами воздушной кукурузы. Все это Алим делает сам, помощников у него нет. Свистульки он лепит из глины, потом обжигает в маленькой, похожей на тандыр, печке; остывшие после обжига изделия он раскрашивает тонко остриженным воробыным перышком. Свистульки у него какие-то необычные, ни на что не похожие. Вот, вроде бы зверек на четырех лапах и с коротким плоским хвостом, а мордочка, если приглядеться, человеческая, с открытым ртом; дунешь в хвост – изо рта выходит хриплый свист. И птицы, и черепахи, и змейки, с крошечными капельками вместо глаз, – все с открытыми ртами, издающими разные сигналы. Со свистулками у Алима особенно много хлопот: глина – материал нежный, а что из нее получится, даже Создателю неизвестно: фигурки при обжиге трескаются, а уцелевшие могут потом легко расколоться в ящике, ударившись одна о другую. Но Алим терпеливо лепит новые, глядя на них через круглые стеклышки древних очков.

Товар он обменивает на пустые бутылки.

Жадал медленно плетется, свесив нижнюю губу и мотая опушенной головой. Алим нараспев выкрикивает «Шара-бара! Шара-бара!», а дети махаллы, голопузые и босоногие, бегут по горячей золотой пыли за его повозкой, как за сказочным сундуком. Собрав большое число маленького населения, старьевщик останавливает тележку – и начинается обмен: «Тебе чего, черноглазый сын Аброра и Фатимы? Пистолетик? Одна бутылка. А ты, красавица, чего желаешь?» «Кукурузу», – пискнет крошечная красавица с чумазым лицом и чудесными синими глазами. «Две бутылки. Получай свою кукурузу. Передавай привет отцу, уважаемому Наилу». Обменяет Алим свой товар, сдаст бутылки, купит хлеб и возвращается домой – готовить новые леденцы, свистульки, кукурузные шары. Тем и живет – не жалуется.

– Женья, ты дома? – крикнул Алим громче, с опаской вглядываясь вглубь двора, где в тени под урючиной возле конуры развалился в бездыханной позе сомлевший от зноя Ур. Ур дернул ухом, но даже головы не поднял, чтобы удостоить взглядом маленького старьевщика.

– Заходи, Алим, – сказала мама, выйдя на порог веранды и вытирая руки кухонным полотенцем, – Ур на цепи, не бойся. Только учти, старых вещей у меня больше нет. Последнюю кофту отдала тебе на прошлой неделе.

– Э-э-э, Женечка, – пропел старик, подойдя к веранде и приложив руку к сердцу, – до сих пор тебе спасибо. Хорошая кофта была. Я на рукава две заплатки ставил, крепкие, красивые, из военного брезента, да. На десять бутылок обменял, – выкатил глаза Алим. – Бутылки сдал – рубль получил. Много ли мне надо, да? Я по другому пришел.

– Проходи в дом, – пригласила мама.

Я не стал подслушивать, о чем они говорили, не интересовал меня разговор мамы с Шара-бара. А напрасно: говорили обо мне.

– Спасибо, Женечка, – сказал Алим, принимая пиалу с зеленым чаем.

Старьевщик долго и усердно дул в пиалу, не глядя на маму. Мама в упор смотрела на Алима, чуть прищурив левый глаз, и, наконец, не выдержала.

– Не тни, Алим, у меня рыба собирается сбежать.

– А, ладно, – вздохнул старик, и было видно, что не просто ему начать этот разговор.

– Уже двенадцать лет прошло, как Авраам ушел, а сын твой уже вырос... – Алим замолчал, отхлебнул из пиалы, вздохнул и закончил трудную для него фразу: – Обрезать пора, да.

– Опять ты за свое?! – в мамином голосе лопнули натянутые пружинки. – Сказала же: без отца не будет обрезания.

– Це-це-це, – как уставшая цикада, зашелкал языком Алим; его уже не в первый раз соседи засылают переговорщиком; он и рад бы отказаться от этой непосильной роли, но всякий раз соглашается по доброте и мягкости характера.

– Це-це-це, Женя, люди в махалле говорят...

– Пусть говорят, – оборвала старика мама, – им какое дело?

– Не говори так, – с укоризной покачал головой маленький старьевщик, – вместе живем, да, тебя уважают...

– Ладно, Алим, допей чай и ступай с богом, – смягчилась мама. – Я подумаю.

На пороге Алим обернулся.

– Ждешь, да?

Мама промолчала.

– Салам аллейкум, Мика! – маленький старьевщик глянул в сторону яблони и помахал рукой – знал, где меня найти. – Бумажный змей надо? Скажи – сделаю.

– Валейкум ассалам, Алим-бобо, спасибо, как-нибудь зайду к вам.

Странный он человек – старьевщик Алим. Невысокого роста, сухой, как саксаул; лицо, шея, лысая голова покрыты густой сетью морщин, как глина, долго пролежавшая на солнце; всегда чему-то улыбается, со всеми приветлив; его чуть раскосые глаза постоянно слезятся; говорит он тихо, как будто с самим собой.

В махалле живет множество историй, но самая захватывающая история, которую мы с друзьями собрали воедино из кусочков рассказов – где-то услышанных, у кого-то подслушанных – связана именно с маленьким старьевщиком и его другом, ночным сторожем единственного в махалле хлебного магазина, – Джурой.

Это вам не Салахитдин Иосифович, кто, зайдясь в учительствующем раже, рвет на рубашке пуговицы, и потом так и носит рубашку – без пуговиц. Это настоящая история, живая, честная, как жгучий стручковый перец, и неотвратимая, как точный удар молнии.

В Туркестан пришла советская власть: агитаторы, активисты, пехота, конница. Кто был согласен с новой властью, вливался в нее; кто не хотел подчиняться новой власти, либо прятался в непроходимых тугаях и тайных пещерах («а подождем – кто кого»), либо целовал на верность зеленое знамя и принимался усердно точить стальной полумесяц клинка.

Сын мухтасиба от четвертой жены, двадцатилетний Джура, за неделю до своей свадьбы, отложив томик любимого им Фирдоуси, сел на коня и, ни с кем не простившись, умчался в горы. Трое суток плутал Джура по узким, едва заметным тропам, по ущельям, вечно заполненным мраком и тенями, пока его не окликнули дозорные, перегородив путь спереди и отрезав сзади. Так Джура попал в отряд Кара-Ахмата.

Кара-Ахмат никому не верил и встретил Джуру недобрым прищуром. За новичка первым замолвил слово Саид, хорошо знавший отца Джуры, вступились и те, кто до войны жил с ним по соседству в одном кишлаке. Кара-Ахмат кивнул.

Саид подарил Джуре саблю, оставшуюся от кого-то из погибших.

Те, кто находился по другую сторону, называли Джуру басмачем – «совершающим налет». Никакой разницы – по-тюркски звучит слово «босмок» или по-русски «совершающий налет» – все равно никто никого не понимал.

Очень скоро Джура стал заметным человеком в большом отряде – пятьсот сабель! Кара-Ахмат часто приглашал его в свою юрту, где подолгу о чем-то шептался с Джурой.

Чем заслужил небывалого доверия безусый паренек?

Тем, что искоса ни на кого не посматривал, вел себя, как положено: со старшими – учтиво, с ровесниками, а таких было много, – без высокомерия, с командирами – с послу-

шанием и вниманием. Не был он похож на тех, кто близко окружал свирепого курбаши. Умен. Выдержан. Советовал так, как будто это сам курбаши удумал. Джура видел дальше, чем мог видеть любой. Для этого ему надо было только закрыть глаза.

У костра Джура подолгу, иной раз до первой осторожной зари, рассказывал молчаливо слушающим воинам о любимом поэте Фирдоуси; рассказывал истории из Шахнаме, и слушавшие его переглядывались, удивленные тем, что в те далекие времена, когда правил царь Джамшид, люди и скот не знали смерти, не было в мире ни жары, ни холода, деревья и источники никогда не высыхали, пища не истощалась, и зависть не прожигала сердца.

Джура рассказывал о неукротимом Хашиме ибн Хакиме, которого прозвали Муканна – «человек в маске» – за то, что он, как говорят, был так безобразен лицом, что до самых глаз прикрывал его зеленой повязкой. Он поднял на борьбу с арабскими захватчиками людей в белых одеждах и сам мужественно сражался. А когда его предали, и войско его было разбито, Муканна, не желая сдаваться врагу, сжег себя дотла.

Слушатели не перебивали рассказчика, глядели на пламя костра, иные тайком драгим рукавом халата утирали слезу; другие крепко стискивали рукояти сабель, и огненные блики отражались в их прищуренных глазах.

Наушники обо всем докладывали Кара-Ахмату; тот слушал и только качал головой.

Долго и безуспешно гонялись за отрядом Кара-Ахмата конники Красной Армии между Ферганой и Кокандом. Как тени появлялись повстанцы там, где их не ждали, и исчезали, как тени. Говорят, у Джуры был волчий нюх: за три тысячи шагов чуял опасность, не раз отводил отряд от засад и прицельной гибели; многие были обязаны ему жизнью. Еще поговаривают, и при этом плюют себе за пазуху, что есть на его совести невинная кровь. Но так только говорят, а так это или не так – не знают. И откуда могут знать об этом люди, пусть даже и равные с ним по годам? Может, были они тогда рядом и видели все своими глазами? А может, спрашивали Джуру, а он им сам честно про кровь рассказывал?

Что попусту ветер смешить. Правду говорят мудрые: «Малознающие – многословны».

Но вот что точно известно.

Кара-Ахмат по всей долине прославился своей звериной жестокостью. В ярости он был неумолим и неумоим: сам за пустую провинность рубил руки воинам Аллаха; а уж пленных пытал так, что отъявленные рубаки глаза прятали и зубы стискивали.

Была у Кара-Ахмата особая, не людская, жуткая привычка – оставлять идущим по его следам красноармейцам страшные подарки. Не раз при въезде в опустошенные кишлаки они наткнулись на большие праздничные казаны, в которых еще дымилась похлебка из порубленных тел местных активистов.

Однажды отряд красноармейцев, без толку гонявшийся за Кара-Ахматом, заночевал в тихой лошине у горного ручья. Утром горнист собрался было подать сигнал, но так и застыл с трубой в руке, не донеся ее до рта. А когда опомнился, то сыграл не «подъем», а «в атаку». В лагере начался переполох. Бойцы, спавшие прямо на траве одетыми и при оружии, вскакивали и, еще не расставшись со снами, неслись к своим лошадям, привязанным неподалеку. Из палатки с наганом в руке выскочил командир отряда и чуть ли не нос к носу столкнулся со странным человеком. Невысокий, худощавый, в белой рубашке поверх штанов, заправленных в сапоги, он стоял перед палаткой командира, склонив гладко выбритую голову. На шее у него – в знак покорности – висела сабля в ножнах. У его ног лежал мешок с проступившими на грубой ткани темными пятнами. Красноармейцы обступили нежданного гостя, разглядывая его как диковинку; последним прибежал маленький молодой боец, держа в одной руке непомерно большую для его роста винтовку, а другой протирая глаз. Это был красноармеец Алим, заснувший на посту и потому прозевавший незваного пришельца.

– Кто такой? – строго спросил командир странного человека.

– Джура мое имя, – спокойно ответил человек, поднимая глаза на командира.

– Уж не тот ли это Джура?.. – начал кто-то и осекся.

– Откуда и зачем пришел? – спросил командир.

– Издалека пришел, – так же спокойно ответил Джура, – подарок принес.

– Толком говори! Чего крутишь! – закричал командир, размахивая наганом перед лицом Джуры.

Джура, не снимая с шеи саблю, присел над мешком и принялся медленно развязывать шнурок. Развязав, он ухватил мешок за два ушка и, поднимаясь, перевернул его. Из мешка со стуком выпал на землю круглый предмет и подкатился прямо к сапогам командира. Это была голова Кара-Ахмата.

Говорят, перед тем, как придти в лагерь красноармейцев, Джура застрелил своего коня, а труп его долго сжигал, пока тот не обратился в прах, – чтобы никому не достался, ни живой, ни мертвый, ни человеку, ни зверю.

Еще говорят, знатный это был конь – из рода одной из пяти кобылиц, подаренных кочевниками пустыни пророку Мухаммеду; но говорящие толком не знают, от какой именно? Может, та кобылица была из рода Хамдани, чьей шеи коснулась рука пророка, оставив с тех пор и навсегда всем последующим потомкам отпечаток перстов избранника Аллаха. Или же родительница убиенного коня принадлежала колену Абейян, и была той самой, что бережно принесла плащ своему хозяину, спасшемуся от погони. То ли вёл он свою родословную от Абу Аргуб, родившей некогда легендарного жеребенка с подрубленной ногой. Возможно, что конь Хамида принадлежал роду кобылы Ришан Шераби, которую бережно укутывали в шкуру газели. Не исключено, что текла в нем кровь длинношей, неутомимой красавицы из рода Манеги. Кто знает?..

Военный трибунал, судивший Джуру, учитывая его добровольную сдачу и тот факт, что им был обезврежен опасный государственный преступник, не приговорил Джуру к расстрелу, а отправил его на десять лет за тридевять земель. Там он и встретился с красноармейцем Алимом, осужденным тем же трибуналом и на такой же срок – за потерю революционной бдительности.

После освобождения Джура вернулся в свой кишлак под Кокандом, но никого из родных не застал. Отца расстреляли за контрреволюционную должность мухтасиба. Мать Джуры и еще трех отцовских жен за отказ агитировать местных женщин помогать новой власти угнали в Сибирь, где они, скорее всего, и сгинули. А спросить об их участии не у кого. Кто ж по доброму ответит врагу, хоть и отбывшему наказание?

В бывшем просторном доме разместился кишлачный актив. Жить негде. Его невеста, шепнули ему на ухо, как узнала, что Джура уехал, бросилась в костер – не вынесла попреков и насмешек родно.

В кишлаке Джура неожиданно встретил Саида, точнее тот сам его нашел. Тихо свистнул, стоя в густой тени у какой-то калитки, поманил пальцем. Джура узнал его с трудом: постарел, плечи из широких стали узкими, упавшими. Саид одними губами проговорил:

– Не показывай, что хорошо друг друга знаем. Лучше заночуй в горах, а поутру уходи отсюда как можно дальше. Вот, возьми хлеб на дорогу.

Эх, кабы знать, куда идти. Вспомнил Алима. И пошел через сотни верст с тремя сухими лепешками в тощем мешке за спиной.

Алим встретил Джуру как родного брата. От волнения и радости метался по дому, по двору, не зная за что хвататься в первую очередь: то ли курице голову рубить для похлебки, то ли пинков надавать любопытной Жадал, которая то и дело перегораживала дорогу и все норовила засунуть морду в открытое окно, чтобы поглазеть на пьющего чай странного гостя.

Так и остался Джура в махалле Алима. Спасибо отцу нынешнего председателя махалинского комитета Султана Бакиевича – он ходатайствовал за Джуру и в милиции, и в райкоме. Наконец, там махнули рукой и, сказав: «Мы за ним присмотрим, но чуть что – сам головой ответишь», – выделили Джуре крошечный, покосившийся, заброшенный домишко на холме, поросшем красными маками.

С тех пор Джура там и живет один-одинешенек, подолгу общается только с Алимом. Толстая тетя Шура, работающая в магазине продавщицей, как-то рассказала маме:

– Честный человек Джура, гордый. К нему давеча подошли какие-то чужаки и предложили торговать водкой по ночам: дескать, тебя, старик, не обидим. Джура только глянул на них – и барыг сдуло.

Джура и Алим часто сидят вдвоем под тенистым навесом возле неказистого, точно на скорую руку слепленного дома Джуры и подолгу беседуют за чаем, глядя на пустыню, расстилающуюся прямо перед ними, за черными столбами, и на горы вдалеке, чьи изломанные очертания напоминают им об уничтоженной молодости.

О чем говорят? Что вспоминают?

Читаю под яблоней: «Никто не знает, что такое правда, но все ее ищут».

Только ушел Алим, как дремотную тишину всполошил лай собак, перебрасываясь с одного двора на другой. Вскоре эстафету подхватил Ур. Его неудовольствие объяснялось просто: через глиняный забор, отделяющий наш двор от двора Софы Абрамовны, перебиралось ненавистное бродячее племя, вновь появившееся в махалле несколько дней назад. Кошек было тридцать или сорок. Они двигались не спеша, по-хозяйски, в определенном порядке. Впереди шел крупный мускулистый кот. У него была большая, порубленная шрамами голова. Короткая шерсть цвета песка с коричневыми пятнами и длинный хвост выдавали участие в его происхождении дикого жителя пустыни – злобного и осторожного каракала. Он был единственным, в ком угадывалась какая-то порода. Следом за ним, соблюдая порядок и в точности подражая повадкам своего вожака, двигались белые, черные, рыжие, палевые, крапчатые, полосатые и прочие исчадия случайных соитий.

Ур рвал цепь и хрипел от ненависти, но кошки не обращали на него внимания. Для махалли кошки были настоящим бедствием. Стая несла с собой угрозу – не явную днем, но беспощадную ночью. Под покровом темноты кошки бесшумно нападали на птичьи клетки, имевшиеся почти в каждом дворе (мама кур не держала), быстро душили и утаскивали добычу, оставляя после набега только перья и пятна крови на земле.

Собаки, спущенные на ночь с привязи, предпочитали не вступать в драку с многочисленным, опасным и безжалостным противником. Даже Ур, самый сильный пес в махалле, открыто проявлял свою неприязнь только при свете дня, когда стая вела себя с наглым спокойствием и не проявляла к окружающим бандитского интереса. Ночью же, когда в темноте вспыхивали десятки не сулящих ничего хорошего желтых огоньков, отпущенный на свободу Ур предпочитал забраться в конуру и оттуда осыпать хриплыми собачьими ругательствами ненавистное племя. В будке Ур чувствовал себя в безопасности, поскольку стая не могла, появившись у нее такое желание, навалиться на него всей своей массой.

А вот у известной махаллинской скандалистки Халимы кошки убили молодого кобелька, когда тот попытался неосторожно отпраздновать торжество своего сомнительного превосходства и набросился на них во мраке каким-то нелепым приемом. Кошки выдрали ему глаза, порвали во многих местах шею и горло. Было слышно, как Халима, не покидая дома, выкрикивала через приоткрытую форточку визгливые проклятия беспощадным тварям; выйти из дома она не решилась. Кобелек, лежа на земле, долго скулил от боли и, видимо, горько сожалел о своем глупом поступке; под утро он издох.

Никто не знает, откуда они приходят и куда исчезают. На моей памяти в первый раз в таком количестве кошки появились в махалле ровно шесть лет назад. Бабушка Халида тогда как бы ненароком обронила, но по махалле тут же разнеслась молва, что кошки пришли не к добру. В том же году жестокая июльская жара сожгла в махалле немало разной поросли, а заодно и хлев председателя махаллинского комитета Султана Бакиевича.

Еще Гима слышал от бабушки Халиды, будто кошки наведываются в махаллю давно – каждые шесть лет; говорил он об этом шепотом, с пугливой оглядкой – а вдруг, притаившись поблизости, подслушивают его невидимые злобные бестии.

Кошки шли не торопясь, жадно поглядывая в сторону веранды: учуяли запах рыбы. Ур рвал цепь и хриплым басом посылал в их адрес свирепые ругательства.

– Мика, что там? Опять твари заявились? – донесся с веранды мамин голос.

– Да! – крикнул я, взбираясь на верхние ветви яблони.

– А чтоб им пусто было, поганкам чертовым! – завелась мама. – Да чтоб их блохи до смерти заели! Да чтоб янтак сухой им под хвост навтыкался!..

Кошки, не спеша и не обращая внимания ни на Ура, ни на меня, ни на мамину брань, прошли через двор, походя нагадили среди кустов любимых маминых роз, перебрались через забор и скрылись. Тут же, в соседнем дворе, задребезжала черная лохматая болонка, но Мириам поспешно загнала ее в дом.

Зачем пришли опять? С чем пришли в этот раз?

Прилетевший со стороны пустыря знакомый смех заставил забыть обо всем на свете; он был таким вкусным, что в груди у меня, где-то слева, встрепенулось голодное эхо и захныкало от обиды и скуки. Но только я собрался свистнуть условным свистом, как вдруг услышал:

– Вай-ё! Подлая! – пронзительно закричала мама.

Я соскочил с ветвей и помчался к веранде. Мама, размахивая сверкающим от чешуи ножом, приплясывала, как дикарка, и терзала свободной рукой свой левый глаз так, будто столкнулась с давним врагом.

– Что случилось мама? Что ты делаешь?

– Мошка проклятая, – стонет мама, растирая глаз кулаком, – зрение мне разбила... мелюзга черная... чтоб ей...ой-ё!

– Ничего, проморгается, – говорю я громко и сладко, а сам смотрю под ноги: не наступить бы на камешек или сухую ветку – а то предадут.

Я лечу через пустырь, накапливая в горле радостный крик. Друзья увидели меня и взвились с коряги навстречу. Древний вопль вырвался одновременно из четырех глоток. Мы сшиблись, закружились в вихре горячей пыли среди островов высокой травы, хлопая друг друга по плечам и горланя бессловесный, только что придуманный гимн; напуганные бараны, пасшиеся поблизости, шарахнулись в разные стороны, и только тугие веревки, привязанные к колышкам, прочно вбитым в землю, удержали их от бегства.

Худые, наголо остриженные парикмахером Бурханом, коричневые от солнечной краски, в широких черных трусах до колен, мы были похожи на глиняные фигурки, вылепленные и обожженные одним гончаром. Мы радовались встрече так, как будто не виделись сто лет, хотя вчера друзья заходили навещать меня.

Наконец Вах, самый умный из нас, нашел первые слова:

– Сбежал? Молодец. Пошли купаться.

Сильная река подхватила нас играючи и быстро потащила за собой. Она забавляется с нами, как с мышатами, а мы, что есть сил, колотим руками и ногами по ее бесчувственной шкуре, задрав подбородки и теряя дыхание в ее тесных и холодных объятиях. Река играет с нами, но не шутит. Она дикая: никто никогда не учил ее быть доброй; и имя у нее нехорошее – Буриджар – Волчий овраг.

И ни за что не выбраться нам самим из густого и быстрого потока, если бы не спасительница ива, склонившая до середины реки свои длинные, жесткие волосы: мы цепля-

емся за них и, подтягиваясь, с трудом выбираемся на берег. И так всегда. Продрогшие, покрытые противными синими пупырышками, мы бежим к нашему месту, и уже через десять шагов высыхает и согревается под лучами огромного солнца. Как встрепанные майны, мы расселись на коряге в обычном порядке: я, Вах, Витя, Гима. Отдышались.

– Давайте разговаривать, – предложил Гима.

– Разговаривай, – сказал Витя.



– Пожалуйста! – оживился Гима. – Кто знает, почему моя бабка, когда не ворчит, всегда смеется?

– Допустим, я знаю, и что? – Витя говорит медленно, словно достает каждое слово из густого клея.

– Ну почему, почему? – завелся Гима, спорщик и врун страшный.

– Да потому что твоя бабуля покуривает веселую траву, – лениво выложил Витя.

Гима мгновенно скис, и воинский огонь погас в его глазах.

– Ты как узнал? – спросил он с обидой в голосе.

– Отстань, – отмахнулся Витя.

– А почему твоя бабушка курит? – спросил Вах.

– Не знаю, – сказал Гима и прошептал многозначительно, – это ее большая тайна.

– Какая тайна! – усмехнулся Витя. – Все про это знают.

– Ты мою бабку не обижай! – напрягся Гима.

– Я обижая? – удивился Витя. – Если все скажут, что я обидел твою бабулю, – съем яшеричу.

Конечно, было бы интересно, хотя и противно, посмотреть, как Витя съест яшеричу, но такова клятва, и мы с Вахом справедливо признали, что ничего обидного про бабушку Халиду Витя не сказал. Непонятно, с чего вдруг завелся Гима: ни для кого в махалле, кроме младенцев, конечно, не секрет, что бабушка Халида курит веселую траву. Вот же выдумал: тайна!

– А хотите, я стащу у нее немного, и мы тоже покурим? – предложил Гима, забыв про обиду.

– Я не буду, – сказал Вах. – Отец говорит, от нее мозги становятся глупыми и сухими, как бараньи какашки.

– По-твоему, у моей бабки не мозги, а какашки?! – заорал Гима.

– Да уймись ты, – ткнул Витя крикуна в бок. – Сам-то ты знаешь, что в голове у твоей бабки?

– Оставьте ее в покое, – сказал я. – Какая разница – курит, не курит, какашки, не какашки. Ей хорошо – это главное.

Вах повернул ко мне лицо с удивленной бровью.

– Откуда ты знаешь, что *хорошо*? Ты курил?

– Нет, – сказал я, – но раз бабушка Халида смеется, значит, ей хорошо.

Я сам поразился, какой нашел довод. Никто не спорил со мной. Мы молчали и смотрели на убегающую Буриджар.

Буриджар родилась в горах. Отец Ваха, видевший ее там, рассказывал, как она стремительными прыжками, с густой пеной на вздыбленной шерсти, несется по камням, с грозным рычанием голодной, загнанной волчицы набрасывается на высокие, каменные стены с глубокими трещинами, прорезанными ее когтями за тысячи лет. Ее рев оглушает и заглушает все другие звуки: кричи, надрывая связки, – не перекричишь. Там, в узком изодранном ушенье, Буриджар ледяная, неукротимая. Вырвавшись из тесноты, она немного умирляет свой бег на равнине, где ее водой вспаивают хлопковые и рисовые поля, сады и огороды. Вдоль ее берегов вертится множество чигирей, вычерпывающих воду для арыков. Много земли она напоила, кроме той, что лежит под солью за черными столбами; далеко обходит Буриджар ту землю.

Вах, не разжимая губ, затянул по привычке напев, а я – как будто это был сигнал – закрыл глаза и стал ждать чего-то. Какая-то странная сила живет в его напевах; они похожи на тот, что я, засыпая, слышал от бабушки Халиды, давно, шесть лет назад, когда она своими снадобьями вытягивала из меня яд скорпиона.

Не было такого, чтобы кто-то из нас перебил Ваха, когда он пел, всегда дослушивали до последнего звука бессловесные рассказы. Сто раз их слышал, а понять не могу, почему нравятся, почему пугают. Уже через миг чувствуешь: это не Вах поет, а поет древний най – утеха всех праздников и печалей.

Най, най – хриплая дудка...

Так вечный бездомный ветер гармсилъ, помнящий наизусть все звуки – живые и умершие – выдувает из сухой, надломленной камышинки замораживающий мотив; ты слу-

шаешь и вдруг узнаешь всхлип обиженной перепелки, перепалку цикад, ошалевших от душной пылицы, усыпляющий скрип чигиря, свист охоты, летящей по следу уставшего тигра, пляску темных лодыжек, закованных в золото...

«Мика! Ми-ка! Покажись, обманщик бессовестный!» Голос мамы примчался и сдул паутину с моих глаз.

Где был я опять, откуда вернулся с тяжелой памятью?

– Тебе пора, – сказал Вах, прервав напев на усталом выдохе. – Завтра увидимся?

– Не сомневайтесь!

Я хотел, чтобы получилось как-то по-геройски, небрежно, но икнул и все испортил. Они хохотали беспощадно. Каждый старался передразнить – и все орали, как молодые ишаки. Перешагнув через Ваха, Витю, Гиму, я спрыгнул с коряги, быстро спустил трусы и, задрав свой желудь, запустил в них длинной струей. Что они кричали мне вслед, я уже не слышал, – удирая от одного наказания к другому.

Дома время ведет себя смирно. Это на пустыре оно стремительный великан, бессовестно распоряжающийся мимолетными минутами моей свободы; а дома, стиснутое толстыми стенами, не пропускающими никакие звуки со стороны, время превращается в занудного карлика, который забавляется тем, что раскачивает дурацкий маятник в больших часах и мучит меня медленной пыткой, как наш рыжий учитель истории Салахитдин Иосифович.

Сказать, почему историк такой говорливый? Да потому что у него верхние и нижние зубы вообще не соединяются! – и вот через эту-то кривую щель безудержно выскакивают имена, даты, события и еще много такого, что каждый ученик обязан запомнить и почему-то непременно на всю жизнь.

По-моему, Салахитдин Иосифович всегда сильно болеет. В класс он врывается, как желтая голодная муха, первым делом набрасывается на доску и начинает чертить на ней стремительные загогулины, бормоча себе под нос всегда одно и то же: «Белый мел осветлит их темные головы, белый мел осветлит их темные головы, белый мел осветлит их темные головы...». Потом, дергая плечами и подтаскивая под мышки сползающие мятые брюки, он смотрит на свои каракули и, видимо, не разобрав написанного, с криком «ты не убедил меня!» все стирает тряпкой. И так каждый раз. Прodelав все эти движения, Салахитдин Иосифович сразу успокаивается и, отбросив голову за спину и глядя куда-то в потолок, визгливо, как будто точит ржавые ножницы, принимается кричать урок: «...ан нет! До Африки он не дошел, хотя стремился туда и уже собирал армию. А если бы дошел, то натворил бы и там бед. А еще Евфрат он, видите ли, вздумал пустить по другому руслу! Тоже мне, Амон-ямон! Все радовались его смерти: и персы, и мидяне, и жители нашей социалистической республики!.. Почему? Да потому что и здесь, у нас, он тоже ходил со своей армией, – Салахитдин Иосифович роняет голос до дрожащего шепота, – и устраивал всякие гадости, про которые вам знать не надо. Может, слышали?.. хотя откуда... А ведь историки вроде бы не врут, утверждая, что одного из друзей – брата своей кормилицы – он убил тут недалеко, в Самарканде. Тьфу-тьфу-тьфу... Конечно, такое его поведение не могло остаться без заслуженного и справедливого наказания. Поэтому он умер, а от чего, толком никто не знает: то ли от вредного вина, то ли от каких-то капель; в общем, умер. Это случилось очень давно и далеко отсюда – в городе Вавилоне. По географии вам про него рассказывали? Нет? И не надо. А теперь, – оживляется рыжий точильный станок, – давайте все вместе вспомним, как зовут Карла Маркса. Три, четыре!.. Молодцы! Скоро я вам расскажу, как отрубили голову одному английскому королю, которого тоже звали Карлом. Запомните на всю жизнь: имена могут быть одинаковыми, но уважать нужно только те, с которыми связано ваше счастливое детство».

Я сижу на стуле в углу, держа на коленях открытый на какой-то странице комсомольский устав, который мама заставляет меня читать в часы наказания, а про себя считаю: тик-так – сто двадцать шестая секунда... тик-так – двести сорок четвертая... Жизнь моя обидно проходит, мама! Я уже не говорю о том, как позорно мое наказание. Я, живой, сильный, плавающий в Буриджаре и залезающий на тутовник, я – пленник?! Нет, это

не так. Я могу послушно опускать глаза, выслушивать, сдерживая нетерпение, твои упреки; я могу правдиво или притворно орать, набив себе очередную шишку; я готов – после всего, что видел в ту ночь, шесть лет назад, – честно признаться: да, я боюсь темноты... Но я не слабак, мама! И поэтому считаю: устав – это всего лишь пропечатанная глупость. Само слово «устав» говорит об усталости. Зачем мне вступать во что-то уставшее?

«Читай, Мика, – повторяет мама, – тебе скоро в комсомол вступать; так надо – на всякий случай».

Родная моя, как же ты до сих пор напугана призраком расстрела во время Великой Войны, когда твой начальник, генерал-идиот из штаба военного округа, не предупредив тебя, забрал с собой – «да на одну только ночку, Женечка, а ты уж прям и зашебутилась!» – папку с грифом «Совершенно секретно», за которую ты отвечала жизнью, – а ты за эту ночь стала совершенно седой в двадцать пять лет; ты – уставшая от одиночества и сильная – потому что у тебя есть я, за кем нужен глаз да глаз и кому ты постоянно твердишь: «Не ходи за чертовы столбы!» и кого наказываешь комсомольским уставом за побеги на радостный пустыр в те дни, когда, как тебе кажется, с юга приходят дурные звуки, чтобы мучить слабых...

Ладно, ладно: все стерплю – ради тебя.

Ты думаешь, я читаю устав? Как же!..

Позже, отдышавшись... и когда ты поцелуешь первые белые волосы на моих висках и оплачешь мои первые шрамы... я, может быть, расскажу тебе правду, правду о том, как обманывал тебя; позже – но не теперь. Потому что сейчас среда, и я, сидя в углу моего позора, тайком читаю записки отца, прикрытые комсомольским уставом. Вай-ё!

(Продолжение следует)

Иллюстрации Анны Тышенко

ПОЭЗИЯ

В ноябре 2012 года, когда литературный Ташкент чествовал Народного поэта Узбекистана А.А. Файнберга, в музее Сергея Есенина состоялся литературный вечер московской поэтессы Ирины Ратушинской, на котором присутствовала творческая интеллигенция Ташкента: писатели, поэты, актеры, литературоведы.

Предлагаемая подборка стихов из сборника «Вне лимита», изданного в 1986 году в Германии, дает представление о своеобразном поэтическом творчестве И. Ратушинской, которая «приняла поэзию не как игру, не как наинейнейшую область изящной словесности и культуры, но как служение, как исповедь, проповедь, как самое бытие»¹. Лирика И. Ратушинской – свидетельство нелегкого рождения новейшей, свободной от жестких канонов, взыскательной российской поэзии нового времени.

Вне лимита

* * *

Если выйти из вечера прямо в траву,
По асфальтовым трещинам – в сумрак растений,
То исполнится завтра же – и наяву
Небывалое лето счастливых знамений.
Все приметы – к дождю,
Все дожди – на хлеба,
И у всех почтальонов – хорошие вести.
Всем кузнечикам – петь,
А творцам – погибать
От любви к сотворенным – красивым, как песни.

И тогда, и тогда –
Опадет пелена,
И восторженным зреньем – иначе, чем прежде, –
Недошедшие письма прочтем,
И сполна
Недоживших друзей оправдаем надежды.
И подыдем из пепла
Наш радостный дом,
Чтобы встал вдохновенно и неколебимо.
Как мы счастливы будем – когда-то потом!
Как нам нужно дожить!
Ну не нам – так любимым.



**Ирина
РАТУШИНСКАЯ**

Российская
поэтесса, живет
в Москве.
Родилась в 1954 году
в Одессе, окончила
физический
факультет Одесского
университета.
Автор семи
стихотворных
сборников, романов,
сценариев фильмов
«Приключения
Мухтара»,
«Таксистка»,
«Аэропорт»,
«Присяжный
поверенный»,
литературный
редактор сериала
«Моя прекрасная
няня».

¹ И. Ратушинская. Вне лимита. Послесловие Ю. Кублановского. С. 120.

И за крик из колодца «мама!»,
И за сшибленный с храма крест,
И за ложь твою «телеграмма»,
Когда с ордером на арест, –
Буду сниться тебе, Россия!
В окаянстве твоих побед,
В маяте твоего бессилья,
В похвальбе твоей и гульбе.
В тошноте твоего похмелья –
Отчего прошибает испуг?
Все отплакали, всех отпели –
От кого ж отшатнешься вдруг?
Отопрись, открутись обманом,
На убитых свали вину –
Все равно приду и предстану,
И в глаза твои загляну!

I

Мандельштамовской ласточкой
Падает к сердцу разлука,
Пастернак посылает дожди,
А Цветаева – ветер.
Чтоб вершилось вращенье вселенной
Без ложного звука,
Нужно слово – и только поэты
За это в ответе.

И раскаты весны пролетают
По тючевским водам,
И сбывается классика осени
Снова и снова.
Но ничей еще голос
Крылом не достал до свободы,
Не исполнил свободу...
Хоть это и русское слово.

II

Ты себя не спрашивай – поэт ли?
Не замедлят – возведут в пииты!
Все пути – от пули и до петли –
Для тебя с рождения открыты.

И когда забьется человечье –
Ты поймешь, мотив припоминая:
От Елабуги до Черной речки –
Широка страна моя родная.

Вот и снова декабрь
Расстилает холсты,
И узорчатым хрустом
Полны мостовые,
И напрасно хлопочут
Четыре стихии
Уберечь нас от смертной
Его чистоты.

Пусть наши планеты
По прежним кругам –
Видно, белая нам
Выпадает дорога.
Нашу линию жизни
Залижут снега –
Но еще нам осталось
Пройти эпилогом.

И упрямых следов
Оставляя печать,
Подыматься по мерзлым ступеням
До плахи –
И суровую холодность
Чистой рубахи
Ощущать благодатью
На слабых плечах.

Из незнакомого окна
Скупой огонь дрожит и льется: –
Да отраженная луна
Плывет, как яблоко в колодце.
И все.
Ни пса и ни звезды.
Минуты капают – но мимо...
Как сердце, падают плоды,
Но дрожь земли не ощутима.
Кем нам назначен этот час –
Души немое предстоянье?
Себе ли ищем оправданья?
Виним ли время, горячася?
Без слез тоскуем ли по дальним?
И ловим зов, хоть не слышны
Ни голоса, ни звук кандаальный.
Но посредине тишины
Возможно ль этот зов опальный
За отпущение вины
Принять?

проза

Его глаза

Рассказ

«...Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви с одной стороны, и беспечным богомазом – с другой...»

И.Бабель «Конармия»

Я помню скрип петель, дверных петель синагоги... Старый Борух смазывал их несчетное число раз, он вылил на проклятые петли целый водопад самого высококачественного масла, но они скрипели.

Скрипели, утверждая законы времени и сопротивления материалов. Помню желтые и хрустящие страницы рассказов Шолом-Алейхема, они – календарь моей юности, где каждый лист начинался с праздника и заканчивался им...

Но время праздников прошло. С каждым годом я листал свой календарь все быстрее, пока, вдруг, не обнаружил, что книга кончается, а я так и не успел разобраться в замысловатой сюжетной кривой следствий и ошибок. В сорок лет я коршуном упал на Талмуд, надеясь в святой книге найти разгадку великой еврейской печали, но получилось еще хуже. Талмуд не принес покоя, но задал столько вопросов, что за ними утонула суть искомого.

Тогда я пошел к Самуилу. Он был последним сыном искрометного девятнадцатого века, родившись 31 декабря 1900 года, оказавшись на целых два часа старше века двадцатого. Тонкие пергаментные пальцы, вислый нос дикувиной птицы, позвоночник, согнутый в вопросительный знак, и огромные влажные карие глаза под седыми клочками бровей – это Самуил.

Когда, подчиняясь заржавленной трубе ленивого Гавриила, соберутся толпы обездоленных, нищих, сырых и обиженных пред очи Господни для последней судной справедливости, я уверен, Самуил будет стоять впереди всех. А может быть, даже сидеть перед Господом, ибо то, что вытерпел он, вытерпеть немислимо. Но так было, из песни слова не выкинешь.

Самуил смеется гортанным хриплым смехом, ломает тонкими пальцами свежую мацу и качает головой. Его смешат моя растерянность и водопад вопросов. Он берет мед из стеклянной банки, и нити шафрановой медовой сладости вьют кольца на подставленный кусок мацы. Самуил запивает каждый кусок глотком холодной воды, по-птичьи задирает голову, проталкивая еду в суженное старостью горло.

Комната Самуила – это ристалище, где в единоборстве льют кровь век XIX и век XX. Древний фигурный диван с резными амурами красного дерева на подлокотниках, и рядом – полированная тумбочка местной фабрики. Громада напольных



**Владимир
БАГРАМОВ**

Родился в Москве в 1948 г. Окончил Государственную Академию музыки имени Гнесиных.

Работал в Алтайском краевом театре музыкальной комедии, в Академическом русском драматическом театре имени Горького в Ташкенте.

Автор романов «Прощанье с птицами», «Страна убитых птиц», сборника стихов «Босиком по облаку», а также 15 пьес.

С 2004 по 2008 год В. Баграмов был художественным руководителем и главным режиссером Ташкентского Государственного театра музыкальной комедии.

Заслуженный артист Узбекистана.

Ушел из жизни 16 июня 2011 года в Ташкенте.

часов с циферблатом, засиженным мухами, и тупой сервант Самаркандской мебельной фабрики соседствуют в немом противоречии.

Плакат-агитка с красной надписью «Перестройка» и портрет генералиссимуса в полной форме в проеме между двумя наглухо закрытыми окнами.

«Отец народов» смотрит тяжело и внимательно, прямо в глаза входящему.

– Меня расстреливали дважды. – Клоочет Самуил, качая головой. И сетка морщин разбегается от распахнутых форточек влажных глаз. – Первый раз в восемнадцатом, когда власти не было, второй в тридцать восьмом году, когда ее было слишком много.

Тонкие пергаментные пальцы легко скользят по пуговицам рубашки. Под ключицей слева открывается изогнутый подковой безобразный шрам.

– Он был весь кожаный, этот комиссар. Кожаные штаны, кожаная куртка и фуражка тоже из кожи. И лицо у него было неподвижное и блестело, как начищенный хромо-вый сапог. Он говорил долго и правильно. Во время своей речи он выстрелил два раза из своего большого маузера, и это тоже было справедливо. Когда слова подкрепляются выстрелами, они надолго западают в сердце слушающих. Я имел глупость спросить комиссара о том, о чем в то время спрашивать не полагалось. Но мой отец приехал из Симбирска, много рассказывал и был целиком за революцию.

– А, правда, что у Ленина еврейская кровь? – спросил я.

– Почему? – комиссар смотрел так, что я пожалел о своем вопросе, а стоявший рядом Герш Лейбович стал пинать меня ногой.

– Мне сказали, что его мать урожденная Бланк.

Я помню, как он молчал, этот кожаный комиссар. Это было молчание убийцы, хотя в вопросе не было ничего особенного. А потом он вытащил маузер, слез с ящика и повел меня стрелять.

Герш Лейбович был хорошим другом, он шел за нами, хватал комиссара за кожаный рукав и плакал. Комиссар каменел скулами и отпихивал Лейбовича, а когда он ему надоел, ударил большим маузером по голове. С тех пор Герш говорил только правду, поэтому его убили в подвалах НКВД в тридцать седьмом.

Комиссар поставил меня к большой красочной тумбе. Ты не можешь помнить, но тогда были такие тумбы на улицах, где вешались всякие объявления и афиши. Он выстрелил, потом я перестал жить на месяц.

Врач сказал, что пуля прошла на два пальца от сердца. Но я был молод, очень хотел жить и докопаться до сути происходящего. А через год я нашел этого комиссара. Он был большим человек в ЧК, хотя и не носил кожаной одежды. Я спросил его:

– За что вы меня убивали? Мать у Ленина урожденная Бланк, что я сказал не так, и где на этой земле правда?

Тогда он меня побил. Он плакал и бил, и злился за то зло, что сам мне причинил. Потом он скормил мне свой паек и подарил вот такую рыбину.

Самуил растопырил руки, показывая длину подаренной рыбины. Глаза его покрылись мечтательной дымкой, он цокал языком и улыбался.

– Мы ели ее долго. Это была самая вкусная копченая рыба из всех, какие мне пришлось есть. Он тоже был хороший человек, комиссар, он просто не понял моего вопроса, увидел в нем контрреволюцию и принял меры. Комиссар погиб в тридцать четвертом. Тогда только начинали заводить адскую машину, врагов было очень много, никто не знал, откуда они берутся, но все знали, куда они исчезают. Мы пели песни на улицах по праздникам и носили флаги.

Здоровые физкультурники показывали на площадях разные штуки, среди них тоже были враги. А где их не было?

Моему отцу было шестьдесят, когда я узнал, что он враг. Оказывается, его давно за-вербовала японская разведка, и он передавал ей разные секреты. Теперь я спрошу, какие секреты могут быть на обувной фабрике? И на каком языке разговаривал с японцами мой старый отец? Да, он знал два языка, еврейский и русский, но японцы на них не говорят.

За отцом пошел дед. Ему было восемьдесят три, у него были все зубы, а по утрам он любил поднимать большой камень. Когда была жива бабка, дед выпивал водки и уводил ее в баню, она была всего на пять лет младше. Скажи, где теперь такие мужчины?

Один из тех, кто спасся от НКВД, рассказывал, как харкал дед кровью после допросов. Еще он мочился кровью, потому что они отбили ему всю внутренность. Деда при-

везли ночью, бросили у крыльца, у него не было сил говорить, он хрипел и никак не мог плюнуть на синюю форму тех, кто его привез. А к утру он умер.

Тогда я объявил им войну.

Самуил вытащил подол рубашки из брюк, обнажив смуглую кожу живота, прилипшего к позвоночнику. По нему можно было изучать анатомию, у этого человека не наблюдалось мышц, вместо них были перевитые веревки, собранные в узлы и выпуклости на каркасе костей.

Накись розового заката клубилась в его влажных глазах, и великое мшение раздраало рот торжествующей улыбкой.

– Я сложил деду руки, велел домашним готовиться к поминкам, повесил на грудь плакат. На картонке губной помадой жены, гораздо более яркой, чем кровь моего деда, я написал: «НКВД, ты убил моего деда, отдай мне моего отца. Он никогда не был шпионом и врагом народа».

Я прошел у здания НКВД дважды. Какой-то чин разглядывал меня из подъезда и смеялся, он позвал других. Они показывали на меня пальцем, крутили пальцем у виска и шелкали пальцем, делая вид, что стреляют. Потом они послали сотрудника проверить мои документы. Он страшно потел и волновался. Взяв мой паспорт, ушел в здание.

Я шел и тихо пел свадебную песню евреев. Это была моя свадьба со смертью, но вместо нее на торжество пришли другие, в белых халатах угрюмые люди.

Самуил привстал и деловито плюнул в лицо генералиссимуса, посмотрел, как текут по стеклу его старые, мутные слюни, остался доволен и стер подтеки рукавом рубашки.

– Меня отвезли в лечебницу. Там были здоровые люди, если судить по тем временам. Они не носили плакатов и портретов вождей, не занимались физкультурой.

Никто не пел гимнов и не писал доносов. Они тихо болели душой, и мне было среди них хорошо. Иногда они кидались драться, кусались, но это было по причине – не так посмотрел, не то сказал. Но они не пытались меня убить, а когда я начинал плакать, то плакали все. Они страдали друг другу больше, чем там, на воле, среди здоровых людей.

Со мной беседовал врач, бородатый уголовник-упырь в пенсне, с мясистыми и оттопыренными ушами преступника. Он допытывался, зачем мне надо было ходить с плакатом, выдергивал у меня волосы и рассматривал пряди на свет лампы. Я молчал, тогда он вызывал санитаров, и они ставили меня под холодный душ.

Это очень больно, когда холодная вода выстреливает в тебя из узкого наконечника, бьет в пах, в живот, спину, лицо. Садист в халате оттопыривал губу и складывал на животе руки, ему были приятны моя нагота и корчи. Санитары «ухали» и старались ему угодить.

Я был здоров, и врач это понял сразу, но он не отдавал меня НКВД для того, чтобы услышать от меня хоть что-то. Я молчал полгода. И первое слово, которое он услышал, это было слово: «Боже!» Я сказал его потому, что не мог не сказать – врач сообщил мне, что арестована жена, двое моих сыновей и тетка. Они тоже с плакатами пошли к зданию. Врач хихикал и вырывал мои волосы.

Самуил показал на животе большой кривой шрам, начинающийся от выпуклого пупка и уходящий куда-то вниз.

– Когда я ударил его стулом по голове, он лег и молча смотрел в потолок, и даже не моргал... А потом он встал, и мне было очень плохо. Они связали меня и били мокрыми, свернутыми в жгуты полотенцами, макая их в ведро с песком. А потом он взял ланцет и разрешил мне брюхо. Я дернулся и очень кричал, поэтому шрам получился кривой.

Но я видел свои внутренности. Кто из людей может этим похвастаться? Они скользкие, сине-желтые, и шевелятся. В это время его позвали.

Наверное, я умер бы, но он пришел, и велел тащить меня в другую больницу. Он был бледен и заикался. Меня спрашивало НКВД. У него могли быть неприятности.

Хирург зашил мне живот. Большой и усталый еврей Янсон, когда-то он резал моего отца, удаляя старую грыжу. Он зашил меня хорошо и три дня не отходил, не давал ни пить, ни есть. Я кричал ему, что он сволочь и хуже тех, в халатах, но он-таки не дал мне ни крошки еды, ни глотка воды. Он заставлял меня жить, а я не хотел...

Земля будет ему пухом, он был добрый и порядочный еврей и умер, как и полагается честному человеку, во время работы – положил последний шов на рану больного и вышел в перевязочную. Сел, взялся за сердце и умер. А меня отвезли в тюрьму на семнадцатый день, еще шов не зажил, мне было больно кашлять.

Самуил встал, протянул тонкую руку и открыл форточку.

Звуки вечернего города ворвались вместе с белесым паром мороза. Он вдохнул холодный воздух и раз, и два, и три, и прикрыл форточку.

Откинув голову, аккуратно прицелился и плюнул генералиссимусу на мундир, полюбовался и стер плевков рукавом рубашки. Глаза его мечтательно шурились, они плавилась нежностью, в сравнении с которой ненависть – это веселость человека, стоящего у гроба своего близкого...

– Иосиф! – Самуил поднял вверх тонкий, как острие копья, шафрановый палеш. – Что в сравнении с ним Чингиз-хан и Иван Грозный? Это дети, прибежавшие на дворик истории поиграть в салочки и собственное величие. Им не снились даже кончики страстей, раздиравших этого выродка.

Когда вы видите человека, убившего другого человека, вы делаете «ах!» и всплескиваете руками. Но что говорите вы, когда вам показывают человека, убившего миллионы? Вы кричите: «Вождь!» и целуете край его мундира. И несметная толпа готова умереть с его именем и во имя его.

Какой народ мог вытерпеть это, как не русский? Значит, этот народ достоин своего правителя? Враки, скажу я. Выдумки бандитов от истории и умалишенных социологов.

Народ начинал распаивать бездну мшнения в себе, но у великих тиранов есть странная способность умирать вовремя. Может, я ошибаюсь. Но когда мне в тюрьме розовый, гладкий следователь задал идиотский вопрос, как я отношусь к «великому вождю, отцу всех народов», я ответил – терплю, но очень устал.

Следователь онемел, а затем схватил остатки моих волос, не выданных врачом, и стал стучать моим лицом о край стола. Он плевался и топал ногами. Я не подписал ни одного протокола, мне было нечем, он сломал мне руку. Потом он заплакал, зашел ко мне сзади и откусил мочку уха.

Самуил хихикнул, отодвинул пальцем седую прядь волос, показал изуродованное ухо.

– Мои тетка, жена и двое сыновей получили по пятнадцать лет, с лишением прав. Но я хочу спросить, как можно лишить прав того, кто их не имеет? Они сгинули в лагерях, все четверо, так и не поняв, за что их лишили прав и жизни. А меня повезли расстреливать.

Самуил гортанно рассмеялся и всплеснул руками. Он цокал языком, хлопал себя по коленям и кивал на портрет «вождя всех народов».

– Я обманул их! Нас было семеро, но я один знал, что меня нельзя убить. Комиссар стрелял в меня из маузера, но я не умер, резал врач, дававший клятву Гиппократу, – я не умер. Так что такое пуля вонючего энкаведешника, если еврей уже не хочет умирать?

Нас привезли на рассвете за город, на старое кладбище, там мы копали яму, и я все время думал, как мне упасть в нее, чтобы легче откопаться?

И я точно уловил миг, когда они начали стрелять. Я сломался пополам, боком упал к углу ямы лицом вниз, стараясь подвернуть так, чтобы сырой и крикливый мужчина, рядом со мной, оказался сверху.

Я рассчитал и остался жив, и даже не заметил, как пуля состригла с моей головы прядь из оставшихся волос. Я лежал тихо, я не дышал так долго, что сердце налилось кровью и чуть не лопнуло.

А крикливый бился надо мной, он не хотел умирать. Тогда к нему подошли и выстрелили в затылок. По мне текли кровь и еще что-то густое, липкое и очень горячее.

А потом я стал считать... Они сыпали мало земли, они халтурили, просто слегка присыпали и все. А закапывать основательно – это была работа кладбищенских пьяниц-рабочих. До сих пор помню этих двоих, их звали Егор и Юсуф. Всю жизнь они работали на кладбище, и я не знаю людей более молчаливых, угрюмых и пьяных...

Я считал долго, сколько мог. Земля лезла вовнутрь, я задыхался, но терпел даже тогда, когда терпеть было невыносимо. Но я сосчитал и откопался, а потом я чуть не умер. Мне стало плохо, наверное, я потерял сознание и вылез наружу уже без памяти. Подожди...

Самуил приподнялся и плюнул в портрет, стараясь попасть на усы. С первого раза не получилось, он покачал головой и придвинулся ближе, а когда попал, удовлетворенно вскрикнул. Улыбка стекала с его бледных губ, улыбка человека, выполняющего ответственную работу, знающего, что он делает ее хорошо.

– Мне надоело, что меня убивают, и я остался жить. Она спрятала меня и никому не сказала об этом. Ее звали Катя, ей было пятьдесят, она работала стрелочницей и

жила возле кладбища. С ней жила старуха-мать и коза, которая давала для меня молоко.

Она кормила меня и спала со мной, прятала и говорила мне такие слова, которых я больше никогда не слышал. Большие толстые ноги в серебристом пушку, русые волосы и мягкие руки... Если на свете есть Бог, он ее не оставит.

Она украла для меня документы какого-то забуддыги, уснувшего возле ее стрелочной будки, по этим документам я уехал в Сибирь и стал работать учетчиком в заготконторе. Я узнал всех пушных зверей этого холодного края.

Потом началась война. Я был писарем при штабе полка – это другая история.... После войны работал бухгалтером колхоза.

Когда Хрушев сломал хребет культу, я плакал. Я уже знал, что кто-то сломает хребет Хрушеву, не может быть полной справедливости, слишком недавно кровавый Иосиф покинул эту землю. К счастью, Хрушева только отправили на пенсию. Я ожидал худшего.

Ты пришел ко мне с вопросом, как жить? Этого никто не знает, не ищи ответа. Ясно одно, что так плохо, как было в те годы, повториться не может. Исключено. Или страна погибнет, захлебнется собственной кровью. Тотальная лож должна породить тотальную правду. И демократия – это не пустой звук, и нет еврейской печали, как нет русской, немецкой или еще какой. Есть печаль всеобщая, когда творится несправедливость во имя чьих-то интересов.

Нет смысла философствовать об очевидном. Я рассказал тебе только крупницу, потому что я не был одинок, таких как я – миллионы, их имен нет, но они станут известны. Зловонная жижа культа не может испариться сама по себе, ее надо вычерпать, чтобы она не проела землю.

Самуил задумчиво пощипал кончик вислого носа.

– Знаешь, что мне не дает спать? – он с кривой улыбкой кивнул на портрет. – Его глаза.... Если верить в загробный мир, наша встреча неизбежна. Я возьму туда плакат с именами моих погибших родных. Я посмотрю в его глаза, потому что не верю в его человечье происхождение. Он не зверь, у зверя глаза габельные и жестокие.

Самуил наклонился ко мне, жутко расширил глаза, смотрел истово и тревожно. Его дрожь передалась мне.

– Он кадавр.

– Что это? – шепотом спросил я, вздрагивая от странного слова.

– Оживший труп!

Самуил откинулся на стуле, всматриваясь в мое лицо, лихорадочно блестел глазами.

– Когда злодеи и убийцы мира умирали, они оставляли на земле часть своего тела и духа... Кто ноготь, кто клочок волос, кто кусок кожи. Кому-то понадобилось собрать все это вместе! И только душу нигде не смог он найти. Поэтому Иосиф – это труп. Без души, с холодной и смердящей пустотой в середине. Не веришь?

– Верю, – выдохнул я, невольно оглядываясь на портрет. – А духа? Почему часть духа? Ты сказал, у него нет души!

– Души! – Самуил поднял тонкий палец на уровень носа. – Но не духа. Душа – это осязаемая материя теплая на ощупь и в ошущении. А дух – это гибельный сквозняк пустоты. Каждый из преступников оставил ему частицу пустоты...

Вот что такое дух Иосифа.

Я скажу тебе как еврей еврею. Не ищи смысла в бессмыслице. Живи, чтобы жить и приносить кому-то хлеб твоих усилий. На дворе новое время, оно уже благо, потому что несет в себе ростки смысла. Ищи их и поливай потом своим. Хочешь в синагогу – ходи, не хочешь – не ходи.

И верующий, и неверующий правы, один верит, что Бога нет, другой верит, что он есть. Только верующий сам по себе и наедине с верой, а неверующий за это бьет своим неверием по лбу верующего. Верь в то, что вера есть, а во что и как – это твое дело. Уходи, я устал.

Он откинул голову и засмеялся гортанным хриплым смехом, потом привстал и плюнул в глаза генералиссимуса.

Когда я подходил к двери, то оглянулся – подтеки слюны текли по стеклу, и он не вытирал их. Он сидел и смотрел в глаза человеку, отнявшему у него все.

В его глаза.

ПОЭЗИЯ

Завертела меня жизнь...**Антонина
ИПЛИНА**

Антонина Иплина родилась в г. Намангане в 1981 году. Окончила факультет английской филологии НамГУ, магистратуру и аспирантуру. Член Союза писателей Узбекистана, автор поэтических сборников «Все пробуждается весной...», «Берегите любовь», «Я такая, какая есть», «В новый век», «Дом в три окна», книжки стихотворений для детей на английском и русском языках «A Merry Farm» («Веселое хозяйство»). Занимается переводами узбекских поэтов на английский язык. Публиковалась в поэтических альманахах Узбекистана, России, Индии. Ее стихи были переведены на узбекский язык.

Разочарованность

Я помечтала,
Задумала счастье,
Яркою счастья с запахом трав.
Рядом сказали: «Не обольщайся
Среди забытых и новых утрат».
Я поступала порою небрежно
С чувством шестым, его не спрося.
И надвигался ответ неизбежно
Резким, холодным дождем морося.
Я прокричала: «Жестокие судьи,
Я не отдам вам мечту.
Кто возвратит мне
Испорченность будней...».
Голос пропал, вопрос – в пустоту.
Неповторимо, гулко и больно
Эхом раздался вопрос.
Вдаль,
В пустоту его звук колокольный
Ветер с собою унес.
Голос мой, голос,
Наивности лепет,
Страстной душевности пыл.
Хрупкой, восторженной
Юности трепет
С ветром свободным на волю поплыл.
Утро рассеет пепел тумана,
День разольется звеня.
Разочарованность...
Так слишком рано
Коснулась меня.

Прошедшее – забыто,
Грядущее – закрыто.
Мы с настоящим слиты,
И с ним нам по пути.

Пусть в прошлом были биты,
В грядущем станем квиты.
Кто был слезой умытый,
Тот сможет и простить...

Осень Намангана

Осень Намангана –
Золотом листва.
Тихо под ногами
Шелестит трава.
Улицы поблекли,
По утрам ветра.
И о летнем пекле
Позабыть пора.
На заре вечерней,
Золотом горя,
Обронили первый
Листик тополя.

Старые чинары,
Длинные ряды,
Из ворон по парам
Черные плоды.
Город не забыли,
Прилетев в пыли.
И на черных крыльях
Осень принесли.

* * *

Душно.
Скатился мир с катушек.
Кто ты...
Не стать бы идиотом.
Время.
В полях гнилое семя.
Слабость.
Перед глазами гадость,
Перед глазами мерзость.
Трезвость.
Куда исчезла трезвость...
Память.
Кто кинул в нее камень.
Кто мы...
Мы дома и не дома.
Люди.
Нас Кто-то Лучший судит,
Оценит по заслугам.
Его мы, а не слуги.
Память.
Воззрятся очи к небу.
Станем
Отмыты вином и хлебом...

* * *

Богема продалась
И отвернулась
От тех, кто ей принадлежит.
Насмешливо и глупо
Улыбнулась
Под звон монеты, он манит.
Ах, бедная, не устояла,
Забыла для кого она.
Кого любила, создавала.
Взяла однажды и ушла.
Забыты вольные кибитки,
Раздолбный песенный напев.
Босняк не будет понят сытым
Среди обжорства и утех.

* * *

Растление нравов,
Упадок мечты.
Жадность богатых
И зло нишеты.
Мало кто скажет
Об этом как есть.
Умы будоражит
Зависть и месть.
Руку протянешь –
Не видя пройдут.
Ты им не важен,
Не подадут...
Мир изменился:
Содом и Гоморра,
Дух преломился,
Враждующих споры...
«Будь милосердным...» –
Пустые слова.
Выпадешь первым –
Забвенье, трава ...

* * *

Завертела меня
Жизнь,
Замотали меня
Дни.
Отупев от людской
Лжи,
Я утешусь добром
Книг.
У любимых страниц
Знак –
Птиц крылатых, заметки
Фраз.
Отчего в жизни все
Не так,
Аживость будней вся
Напоказ...



Ольга ГРИГОРЬЕВА

Родилась в 1954 году в Ташкенте. Окончила Ташкентский государственный педагогический университет в 1976 году. Доцент кафедры русской и зарубежной литературы ТГПУ им. Низами. Автор многочисленных литературоведческих статей. Печатается в республиканских газетах и журнале «Звезда Востока». Автор сборника стихов «С открытым сердцем», романа «Синдром страха, или закон матрешки», в 2012 году переизданного в Германии.

И будет день...

Из цикла «Восточные мотивы»

На смуглой узенькой ладони
Шар солнца огненной жар-птицей.
Ему за гор зубчатых склоны
Ладонь... мешает закатиться!
Она взлетела к небосклону
И... задержала бег светила,
Взметнула солнце на ладони
И в чудо-дойру превратила!
Удар – и эхо вторит звонко,
Дробясь на скатах и уклонах.
Узбекский танец и девчонка,
Смуглянка с солнцем на ладонях!

Под древней горбатой чинарой
Джигит молодой тихо пел,
То радостью светлой звенел,
То плакал дутар его старый.

На черные кольца кудрей
Луна молодая глазела.
Увы! Посвящал он не ей
Прекрасные строки газелей.

Лишь звезды в сравнение шли
С глазами любимой девчонки,
К ней вольные ветры несли
Мотив его песенки звонкой.

Картавя, ручей подпевал,
Журча по камням деловито,
И ночь унесла за дувал
К ногам ее сердце джигита.

Из цикла «Акварели года»

В ослепительном кружеве
закружились, завьюжили
в дивном вальсе снежинки.
С ледяною подругою,
злой январской выюгою,
ветер выковал льдинки.
По деревьям заснеженным
разметал их небрежно
он бахромою искристой.
Застелил все тропиночки
Серебром-паутиночкой
снежной скатерти чистой.
Гикнул, свистнул разбойником
и улегся спокойненько
под разлапистой елью,
чтоб, в тиши полежав,
вдаль рвануться стремглав
сумасшедшей метелью.

И будет день.

И будут вновь кружиться
В высоком небе непоседы-птицы,
С весёлым гомоном ныряя в облака.
Приветствуя приход весны желанной,
Так терпеливо и так долгожданной,
Завьются дымкой поле и река.

И зеленью нежнейшей акварели
В лукаво-переменчивом апреле
Подернутся деревья и кусты,
И встрепенешься вдруг, душой оттаешь,
Поверишь в счастье, чуда возжелаешь,
И праздника, и жизни красоты!

Да будет так!

Пусть чистый звон капли
Прогонит прочь холодные метели,
Что в мыслях кружат, сердце леденя.
И солнечною брагою хмельною,
Пускай весна до одури напоит,
Обманом сладким в сказку поманя.

Из цикла «Российские каникулы»

Лесная сказка

В чернильной залеги пруда
ночного неба отраженье,
иль то мое воображенье
в ней топит звезды без труда.

И блики ночи яснолунной
скользят по ряби сонных вод,
где в глуби тайной, тихоструйной
русалки водят хоровод.

Разбойник-ветер косы треплет
плакучих ив – печальных вдов.
На ветках дуба леший дремлет,
зарывшись в листвяной покров.

Лесная сказка так прекрасна,
и прелость хвои так хмельна,
и сладость ландышей опасна
пьянящей негою вина.

И сердцу весело и жутко.
Утешь, соловушка-душа!
Тебя в ночи пугливо-чуткой
я буду слушать не дыша

под шорох,

шепот,

шелест леса...

Как эта сказка хороша!

проза

Ариадна ВАСИЛЬЕВА

Время осенних птиц

Роман*



22

Наутро вся лаборатория (кроме Веры Алексеевны, она уехала с утра в смежную организацию договариваться о новом престижном задании) вовремя вышла на работу, и только здесь коллегам Николая Валентиновича довелось узнать новость, как говорится, из первых рук, от начальства. Естественно, ни о какой работе речи быть не могло. Снялись все, как один, отправились на квартиру Протасенко выражать сочувствие, помогать готовиться к похоронам. На дежурстве оставили Зайчика с поручением отвечать на возможные звонки, а также встретить Верочку.

Зайчик остался. Печалился, со страхом ждал появления Верочки. Это было ужасно, что она еще ничего не знала! Услышит, начнет говорить ненужные слова, начнет лить, чего доброго, слезы. Он уже не мог видеть бабьих ненужных слез. Он медленно ходил взад-вперед по комнате, стараясь не наступать на солнечные квадраты из окон. Они, будто в мире ничего не случилось, как обычно, тепло и невинно лежали на полу.

А тут и Верочка впорхнула в лабораторию, оживленная, полная брызжущей через край радости.

– Люди, ау! – закричала с порога, – у меня потрясающие новости! Соловьев подписал задание.

Никто не встретил ее, никто не отозвался, только в дальнем углу скрипнул стул и, шаркая ногами, взъерошенный и несчастный предстал перед нею Зайчик.

– А где все? – с веселым недоумением спросила Вера.

Она все еще продолжала оставаться в мыслях там, где как толковый ученый и очаровательная женщина произвела самое благоприятное впечатление. Он не стал разводить антимонии. Рассказал все, как есть.

Без мысли, без цели Верочка подошла к окну. В каком-то забытьи смотрела вниз, на проезжую дорогу, и не было в душе ее никаких ощущений, кроме сосушей, томительной пустоты.

Внезапно раздался скрип отворяемой двери. Она вздрогнула. Минуту смотрела на вошедшего и никак не могла сообразить – кто это. Тряхнула головой, опомнилась, прошептала:

– Сева, ты оттуда?

Он молчал. Она подошла, погладила его по щеке.

– Дать тебе воды? – приоткрыв рот, ждала ответа.

Он кивнул. Прошел в комнату, сел за свой стол, смотрел, как она моет стакан над раковиной, как наполняет его сверкающей, чистой водой. Он принял ее заботу как должное, он понимал, что ей необходимо хоть что-то делать, двигаться.

* Журнальный вариант

Они стояли возле него, Вера Алексеевна и Зайчик. Они ждали. Была в их ожидании, вопреки здравому смыслу, тайная мысль – жив, жив мальчик наперекор всему! Но чем дольше они смотрели на Севу, тем призрачней становилась надежда. Вот она и рассеялась, нет ее.

– Плохо дело, – Сева поставил стакан на стол, – когда мы приехали... там такое творилось... Квартира не убрана, полы затоптаны, Протасенко без конца вызывают к телефону...

– А мальчик?

– Его увезли. Ночью еще. Собирайтесь, я за вами. Надо, надо ехать.

– Когда похороны? – хрипло выдавил Михаил Потапович.

– Послезавтра.

– А... – Вера Алексеевна хотела о чем-то спросить и запнулась.

– Что? – Поднял на нее глаза Сева.

– Милиция, уголовный розыск... Они ищут преступника?

Не поднимаясь с места, Сева принялся раздражающе долго рыться в карманах, а Вера смотрела и ждала, будто он должен был извлечь из них нечто, относящееся к делу. Но он вынул только пачку сигарет. Потом стал выдвигать ящики в столе, нашел спички, потряс коробкой возле уха, они неестественно громко заколотились одна об одну. Вера подала ему пепельницу, не сводила с него глаз, полных ожидания.

– Вечером, после нашего... – он замялся и с трудом выдавил нужное слово, – торжества, они вернулись домой и ...

– Не надо об этом, – зябко повела плечом Вера, – я уже знаю.

– Не надо, так не надо, – немедленно согласился Сева. – Николай Валентинович вызвал неотложку, милицию. Мальчика пытались привести в чувство.

– Эх, что там было пытаться, – сказал Зайчик и махнул рукой.

– Подождите, – остановила его Вера, – выходит это случилось как раз в то время, когда мы...

– Да какая разница, – криво усмехнулся Сева.

Его безжизненная улыбка погасла, но видно было, что мысленно он прикидывает, в какой именно момент вечера это случилось. Да, скорее всего именно в те минуты, когда они чуть не переругались на террасе.

– Так о чем я? – восторженно спросил он. – А, так вот. Милиции понаехало много. Спрашивали у соседей, кто что видел или слышал. Никто ничего не слышал. Правда, кто-то видел женщину. Как она была одета – не разглядели, но обратили внимание, что какая-то женщина долго сидела перед домом. Там, напротив, есть детская площадка и скамейки.

– Какое это может иметь отношение, – равнодушно пожала плечами Вера, – мало ли кто может сидеть на скамейке.

– Да, конечно, – Сева как-то странно посмотрел на нее. – Но ты очень скоро нашли. Дело в том, что она так и продолжала сидеть. Только в другом месте, чуть поодаль. Она как бы наблюдала.

– Ой, ладно, сидела, наблюдала, дальше! – стала раздражаться Вера.

– Дальше что... Следовательно, не знаю, кто он по званию, прошелся по двору и, правда, наткнулся на постороннюю женщину. Стал с нею говорить, не видела ли она чего, не заметила ли чего-нибудь необычного. Та отвечала, но как-то неуверенно. Тогда он насторожился и взял ее.

– Как это – взял?

– Обыкновенно. Взял под руку и повел. К Протасенко. – Сева мучительно сморщил лицо. – Короче, это была Дергач.

– А она тут причем? – Вера Алексеевна все больше раздражалась на Севу. Что он крутится вокруг каких-то незначительных мелочей, не говорит о главном! Хотела уже прервать эту надоевшую белиберду о любовнице Николая Валентиновича и ехать, даже сумку со стола взяла, но Сева вдруг просто сказал:

– Так она и убила.

– Как! – расширила зрачки Вера Алексеевна и окончательно обессиленная опустилась на стул рядом с Севой, а Зайчик замер, приоткрыв рот.

– Нет! – затрясла головой Верочка, – нет! Этого не может быть! Чушь!

Как наивной девочке, Сева продолжал ей втолковывать:

– Да она призналась. Ее привели в дом, и она призналась. Подробности не знаю. Знаю только факт. Все.

– Как я понял, – шевельнулся Михаил Потапович, – напакостить умудрилась, а с места сойти не смогла?

Тихо стало в лаборатории. За окнами далеко внизу пролетали автомобили. Тяжко громыхая, проехал трамвай, и в ответ тонко прозвенела стеклянная утварь в шкафу.

Вера Алексеевна все еще не могла осознать случившегося. «Здесь, рядом с нами, за тем вон столом сидела... Бедная Зинаида Федоровна. Господи, она еще что-то пыталась доказать вчера. Как же она теперь будет со своим Протасенко?

– Неужели я должна туда идти? – напряженно спросила она.

– Да, там натоптали. Нужно помочь убрать. И вообще...

– Не могу! – крикнула Вера, зачем-то расстегнула и вновь застегнула пуговку на застежке платья. Потом тихо и безнадежно молвила, – хорошо. Поеду. Только мне нужно будет заскочить домой, переодеться.

Сева пожал плечами. Он был далек от ее суетной заботы. Стояла перед глазами комната в доме Протасенко, растерянная Ольга Павловна, обмякший, потерявший заносчивый вид Загурский.

Видел Сева какую-то докторшу, подругу Зинаиды Федоровны. Докторша хлопотала, колола руку Зиночки, как она все время ее называла, тонкой иглой шприца. Добилась, что та впала в совершенную апатию, позволила себя уложить в постель. Докторша села возле неплотно закрытой двери, прислушивалась к малейшему шороху из спальни. Входили и выходили люди. Чужие, незванные. Кто полный сочувствия, кто ради любопытства. Те и другие разговаривали вполголоса, уточняли день и час похорон.

Не только Севу, всех, кто там был, потрясло поведение Зинаиды Федоровны. Она не кричала, не билась. Стоило рядом с ней оказаться Николаю Валентиновичу, брала его руку и прижималась к руке лицом. Она, как овца, наклоняла голову, и это было самое страшное из всего, что он увидел и узнал в то утро.

Сева чувствовал, что Николая Валентиновича обжигало каждое прикосновение жены. Каменно застыв, он ждал, когда она отпустит хватку, чтобы высвободиться, уехать по вызову экстренно заработавшего следствия. А пока она держала его, он стоял неподвижно рядом, только губы его как-то странно дергались. Не было сил смотреть на эти губы, всегда такие волевые, решительные. Наконец, ее увели в другую комнату.

– Все равно! – сказал вслух Сева.

– Ты о чем? – отозвался Зайчик.

– Я о начальнике нашем. А вот судить его наравне с убийцей, и пусть земля горит у него под ногами. Чтоб ему ни минуты покоя. Ни прощения, ни пощады, ни оправдания! – Сева стиснул зубы, его неожиданно затрясло. – Судить самым страшным судом. Пусть и нам никому не будет покоя...

– Он и без того наказан, – прислушиваясь к самому себе, сказал Михаил Потапович. – Он страшно, он непоправимо наказан. Разве в человеческих силах наказать его больше?

Они встретились взглядами. Сева уронил голову на скрещенные руки, замер. Горящая сигарета соскользнула с края пепельницы на стол. Вера подошла и поправила сигарету. Сева поднял голову с упавшей на лоб прядью волос, смахнул ее назад, пятерней.

– Знаете, кто мы? Мы – болтуны! Как мы любим... как мы просто обожаем говорить о неискоренимости зла. Стоит ему свершиться – мы стоим и разводим руками: «А что мы можем сделать?»

– Господи, Сева, о чем ты говоришь? – мягко упрекнула его Вера Алексеевна. – Тут бы сил хватило пережить все это, а ты... – она махнула рукой.

– А вы поставьте себя на место Зинаиды Федоровны. Вот вы входите в дом...

– Остановись! – страшно крикнула Вера.

– Ага-а! – с отяжкой, с угрозой отвечал ей Сева, – боитесь пораниться! Лишь бы не со мной, а если с кем другим, то и ладно! И...

Телефонный звонок забил ему в горло невысказанные слова.

– Да, – раздраженно крикнул в трубку Зайчик, и сразу сменил тон. – Нет. Я еще не был. Только что оттуда вернулся Дягилев... Хорошо, я передам.

Не глядя на Севу, произнес:

– Директор зовет. Иди, доложишься.

Сева не сразу понял, что от него требуется, потом вышел из-за стола, постоял минуту и ушел, хлопнув дверью.

– Не обижайтесь вы на него, мальчик еще, переживает. – Михаил Потапович дотронулся до Вериного плеча.

– Да что я, не понимаю? Но зачем так? Как будто я виновата в чем-то.

Верочка вдруг заплакала. Потом она вновь взяла сумку и вопросительно посмотрела на Зайчика.

– Поехали, что ли?

Но он возразил, сказал, что нужно подождать Севу.

23

Долго пришлось его ждать. За это время солнечные лучи успели скользнуть с чисто вымытого пола на стену, а в лаборатории появилось новое лицо. Прибыл Загурский.

Вернувшись от директора, Сева сразу заметил, что Иван Денисович недопустимо и возмутительно пьян. Вера Алексеевна отчаянным голосом уговаривала идти домой, не нарываться на скандал. Загурский отмахивался от Верочки, как от назойливой мухи, уверял, что ничего страшного не произойдет, даже если его состояние будет замечено начальством, потому что конец света уже наступил. А он не свинья, он обязан встретить конец света вместе со своими товарищами.

Говорил, что от похоронных дел они на сегодня освобождены, что в услугах их больше никто не нуждается – к Протасенкам приехали родственники, и они сами будут разбираться, что к чему. Он страшно обрадовался Севе, сел с пьяного размаха на стул посреди комнаты и потребовал, чтобы Сева запер дверь. Тогда к ним никто без стука не сунется, а уже их дело – открывать или не открывать.

Сева так и поступил, хотя Верочка делала протестующие знаки. Она гневно отвернулась, когда поняла, что бессильна им помешать. Спина ее выражала полное презрение ко всему, что стало разыгрываться в лаборатории. Загурский долго изучал спину Верочки, хотел что-то сказать, но язык не подчинялся. Он махнул рукой, и она бессильно повисла.

Несмотря на то, что нагрудился он крепко, глаза его были чисты от хмеля. Лишь движения свои он никак не мог скоординировать, с трудом дотянулся до стола, придвинул к себе дипломат и долго в нем копошился. Неожиданно для всех достал оттуда бутылку водки.

– Миша! – строго сказал Иван Денисович и надолго замолчал, повернувшись в его сторону. – Айда водку пить! Ты, младенец, ты тоже шагай сюда, а Вер-ра пускай на стреме стоит.

– Иду, – без всякого выражения отозвался Сева.

Зайчик подсел молча.

Загурский вместе со стулом шумно придвинулся к столу.

– Да вы ненормальные! – повернулась к ним Вера Алексеевна.

– Цыц, женщина! Когда будет нужно, тебя позовут, – не удостоил ее взглядом Загурский и отдал Севе команду разливать. Снова полез в дипломат и вытащил из него половину смятого в лепешку батона и грамм триста обезжиренной колбасы.

Михаил Потапович нашел на соседнем столе вышербленный, местами сильно зажатый скальпель и кое-как, ломтями нашматовал колбасу.

Выпили. Как ни странно, движения Ивана Денисовича стали более точными, речь обрела ясность.

– Легче? – надвинулся он на Севу.

Тот с готовностью, как школьник, ответил:

– Легче.

– А мне не легче. – Загурский разлил оставшуюся водку, а пустую бутылку бросил в корзину. Удивительное дело – попал!

– А теперь, – снова надвинулся он на Севу, – докладывай!

– Про что? – Сева шевельнул плечом.

– Про то, как высокое начальство отреагировало. – Ай-я-яй! Это же какая неприязнь для высокого начальства! Орден грозили дать институту – тю-тю... Как началь-

ству теперь больно будет, как оно выкручиваться станет, как оно станет топтать бедного Колю. На фига он им теперь такой нужен? Все – сволочи!

– Начинается, – вздохнула Вера и храбро встретила тяжелый взгляд Загурского.

Он на реплику не отреагировал.

– Что самое жуткое на свете, известно? Самое жуткое, когда ты про себя знаешь, что ты тоже сволочь. Кто об этом не догадывается – тому легко. Он живет при своем убеждении, что все идет как надо. А вот ты знаешь, что ты – дрянь, плесень обыкновенная, и тебе от этого очень плохо. Чтобы не думать – бери полбанки, топи в спиртном свое горе. Вперед, выпили! – и выпил, высосал весь стакан.

– Загурский, – набралась решимости Вера, – я тебя очень прошу, перестань. Это глупо и противно то, что ты болтаешь. Тебе нужно домой.

Иван Денисович стал отрывать краюшку хлеба.

– Вера, если бы ты знала, как я тебя люблю. Если бы ты была честным человеком, ты бы давно ответила на мою страсть. Но ты на свои страсти решетку надела, – он начертил в воздухе клетки, повторяя рисунок ее платья, потом заорал, – С-сизу за решеткой в тем... Стоп! Молчу. И ты, Вера, молчи и стой на стреме, как я приказал. – Он повернулся к Севе. – Младенец, ты посмотри, какая кругом плесень! Ты посмотри. Гнусная баба, перед которой все мы когда-то павлиний хвост распускали... Не отрицаешь?

– Нет. – Пошел красными пятнами по лицу Сева.

– Гнусная баба, вот так, походя, ухлопала мальчонку. За что спрашивается? Он ей мешал? Да. Он ей мешал. Дальше. Мать, вместо того, чтобы пацана этого беречь, как зеницу ока, явилась к Софье Сергеевне и мотала нам кишки целый вечер. А потом Коляше конфетку на блюдечко положила. Мы чирикали, сидя рядом, что-то неразборчивое. В это время, именно в это время убивали мальчишку. Ни одна скотина не помешала, ни одна сука не учуяла, что рядом, за стеной убивают! – он поднес к лицу пустой стакан, понюхал. Его передернуло. Поставил стакан на место. – А если бы и учуяли, никто бы не двинулся. Никто бы пальцем не пошевелил, потому что все хотят быть чистенькими. И я хочу...

– Плесень мы! – не унимался Загурский. – Раз так – естественный конец очевиден. Сожрем друг друга и вымерем. Как римляне, о которых Андрей Константинович толковал... Николай Валентинович мечтал сына преемником сделать. Где теперь его сын? Вот Николай Валентинович без потомства и остался. Вымер! Бабу эту, если правосудие к стенке поставит, – туда же! Протасенко вернется к нам весь из себя несчастный, весь из себя потерпевший, а я перед ним по новому кругу холуйствовать начну. Следовательно, как личность, я уже давно вымер. Когда это случилось, никто не заметил. Никто не подошел, не сказал – остановись, Загурский!

– Остановись, – сказал Сева.

Он не речь его имел в виду. Ему надоели никому не нужные пьяные излияния. Но Иван Денисович понял по-своему.

– Поздно, младенец. Я – серая, тусклая личность. Все мои таланты оказались лишними. Мою яркую индивидуальность, а она таки была яркая, заткнули подальше в угол, как только я стал рыпаться. И я привык! Куда подует ветер, туда и качнусь. Была Софья – перед ней пресмыкался, лстыл.

– Врешь, – ласково заметил Зайчик, – не такой она человек, чтобы держать при себе пресмыкающихся.

– Она не замечала этого, милейший мой Не-Греми-Цепями. Как сказал один великий человек: «Ум проявляется в умении тонко лстыть». Софья Сергеевна так привыкла к моей тонкой лести, что уже необходимым ей стал Загурский. И скажи мне, скажи мне, Миша, почему она предпочла красиво уйти со сцены и даже не попыталась изобразить хотя бы видимую борьбу? Не потому ли, что дожив до седин, поняла, что все это бессмысленно, что ей просто свернут шею, если она станет чегой-то там рыпаться. А тут у нее выход – уйти на пенсию. У меня такого выхода нет... О, этот хитрый вечер у нашей дорогой и бесценной Софьи Сергеевны, он покою мне не дает. Всей лабораторией к ней потащились. Зачем? Да потому что в душе перед ней на коленях стояли за то, что тихо и чинно устранились все в тот момент, когда ей было самое время бой вести. Она голенькая без нас осталась. А теперь мы без нее вымерем. – Он обвел слушателей внезапно налившимися кровью глазами, – вы, я смотрю, со мной спорить не желаете. Чего с пьяным спорить!

– Действительно, чего с тобой спорить, – отозвался Сева, – ты так красиво все уязвал. Скажи, вымирать скоро начнем? Спрашиваю, чтобы заранее подготовиться.

Загурский близко-близко придвинулся к Севе:

– Брыкаешься? – резко отстранился. – Ну-ну. А хочешь, Сева, я как профессиональный льстят тебе комплимент скажу? Но сперва – вопрос. Я сколько сегодня за тобой с утра наблюдал, ты к Николаю Валентиновичу ни разу не подошел и соболезнований своих не высказал. Вопрос: почему?

Он долго ждал ответа.

– Неудобно отвечать. Хорошо. Сам скажу. Ты не подошел оттого, что убийцей его считаешь. Ждешь, когда правосудие его к стенке поставит рядом с Жанной Семеновной. Очень хочется тебе, чтобы высшая справедливость восторжествовала. И я вполне допускаю, что ты и в кабинете директора пытался высказываться в таком же духе.

– Не только в кабинете директора, – разлепила губы Верочка.

– И даже здесь? – склонил к плечу голову Загурский. – Молодец! Но ты уже понял, что ни здесь, ни там понимания не дождеешься. Так вот мой комплимент: как мне кажется, ты созрел для того, чтобы высшую справедливость осуществить лично. Готов, так сказать.

– Готов, – глядя ему в глаза, подтвердил Сева.

– Запомни, младенец, Николай Валентинович перед законом чист. Он – подонок, но он не убивал. Как ты его зацепишь?

– Не знаю.

– Не знаешь. Так я тебе подскажу. Чтобы тебе до конца быть последовательным. На, возьми, – Загурский взял скальпель и протянул Севе. – Иди, осуществи высшую справедливость. Око за око, как говорят.

Сева в ужасе отшатнулся.

Вера Алексеевна подошла, протянула руку и вынула из пальцев Загурского скальпель. Он снизу вверх устало посмотрел на нее.

– Что, Верочка, любовь моя на земле последняя, страшная картина перед умственным взором твоим раскрылась?

– Я думаю о другом, – так же устало ответила Вера.

– О чем же, душечка, если не секрет?

– Я думаю, расстреляют или не расстреляют Дергач.

– Да зачем же ее расстреливать! Помилуй Бог. Такое тело, такие формы. Тебе ее неужто жалко?

– Нет. Пусть расстреляют.

– Вера! – отпрянул от нее Загурский, – неожиданность какая! Ты, становишься кровавадой. Ее расстреляют, а кто тебе станет импортное шмотье доставать? Га!

– Ты... Ты... – задыхнулась Вера Алексеевна, – ненавижу! Пошел вон, пьяная морда! Тебе мало всего! Да?! Мало?!

Она готова была вцепиться в него. Зайчик между ними. Подхватил под мышки Загурского и поволок к выходу.

– Ты что, ты что, Миша! – пробовал сопротивляться Загурский.

Тот не слушал его. Удерживал одной рукой, другой повернул ключ, дверь распахнулась, и они чуть не вывалились в коридор. Слышно было, как Зайчик все дальше и дальше уводил Ивана Денисовича, уговаривал, убеждал, напористо, зло. Затихли их голоса. Сева чутко прислушивался.

– В туалет поташил. Сейчас он его приведет в чувство.

– Севочка! – хваталась за виски Вера Алексеевна, – милый! За что? Люди живут... Хорошо, весело. А мы? За что? Да будь он проклят, этот Загурский! Нам еще такое в эти дни предстоит! Он же всякое соображение потерял – разве можно такое говорить! Как мы виноваты, Сева, как страшно, как непоправимо мы виноваты...

Он погладил ее плечо, он как маленькую пытался ее утешить.

– В чем наша вина? Нет нашей вины. Нету, нету.

– Нет? – она плакала горько, безнадежно. – Дай мою сумку, – сквозь слезы попросила Севу.

Он принес сумку. С видом полнейшего отчаяния она порылась и достала тюбик губной помады.

– Видишь? – трясла она тюбиком перед Севкиным носом, – ты это видишь? Ведь это так. Эту помаду мне она, Дергач, доставала, а я старалась только по большим праздникам расходовать. Брось ее куда-нибудь, в окно кинь!

Напрягшись, она следила за Севой, как тот с серьезным видом рассматривает тюбик губной помады. Не глядя на Верочку, он пробормотал:

– Это было бы слишком просто – выбросить, и на том закончить.

Тогда, чтобы уменьшить боль, она села и стала тихонько раскачиваться на стуле.

– И ты такой же жестокий, Сева, – сказала она задумчиво, глядя в одну точку и не переставая раскачиваться.

Послышались шаги. Смушенный, боком вошел Загурский, следом за ним Зайчик. Иван Денисович виновато смотрел на Веру.

Солнечный свет лился в комнату. За окнами с пронзительным криком пролетела какая-то птица. Шумел город. Как прежде шумел, так и шумит. Ничего, ровным счетом ничего не изменилось в мире.

Что-то погнало Севу прочь из комнаты, на улицу, куда угодно. Потом он осознал, что ноги несут его в нужном направлении, к человеку, который один во всем мире мог бы сейчас понять его и разделить вместе с ним жестокую тяжесть душевной смуты.

24

На стук в калитку никто не отозвался. Старый дом надежно прятал хозяев. Сева постучал еще раз, потом еще. Наконец услышал, как скрипнула дверь, и зашаркали чьи-то шаги. С первого взгляда Сева понял – ничего говорить не надо, здесь все знают. Андрей Константинович пробурчал под нос:

– Наконец-то. Я уж думал, не явишься.

Сева открыл рот спросить о Софье Сергеевне, но Андрей Константинович опередил его.

– Мама плоха. Ей очень неосторожно сообщили по телефону. А теперь она заперлась, понимаешь, в комнате и сидит...

Ничего хорошего в этом не было. Затворничество матери пугало и раздражало Андрея Константиновича.

– Я знаю, чем она там занимается, – показал он в сторону закрытых окон, – взвешивает, соизмеряет собственную вину. А в чем ее вина?

Из комнат донесся какой-то звук, словно уронили на пол что-то. Оба насторожились и стали напряженно вслушиваться. Но нет, ничего.

– Понимаешь, делать ничего не могу! – Андрей резко двинул стулом и опрокинул его. Нагнулся, поднял, поставил на место. – Хотел поработать – в голову ничего не лезет. Куда ни ткнусь – всюду напоминания. Здесь сидели, там говорили... О чем говорили, Бог ты мой! – он, наконец, сел, поправил очки. – На террасе останемся, в доме тоска... Ты был у них? У Зиных?

Сева прислонился к столбу, что подпирает кровлю, и ничего не ответил.

Андрей Константинович сдернул очки, бросил на стол.

– Рассказывай, что молчишь.

– Не могу. Сам поезжай – увидишь.

Андрей Константинович опустил голову, стал рассматривать растоптанные шлепанцы на собственных ногах.

– Никуда не хочу ехать. Я не хочу видеть этого мерзавца!

Сева внимательно посмотрел на него.

– При чем тут он?

– Разумеется, Протасенко ни при чем. У него железное алиби, весь вечер с нами просидел. Все подтвердят, если призовут в свидетели. Эх, Зина. Зина...

Вот это «эх, Зина, Зина» и было самым тягостным в его размышлениях. Казалось бы, что ему Зина, и что он для нее, так нет же!

«На кого променять!» – изводился он перед приходом Севы. И сам себе не мог объяснить, кого он имел в виду. То ли, что Зина когда-то его, Буланова, на Николая Валентиновича променяла, то ли что Николай Валентинович променял Зину на разнужданную тварь.

Он копил зло на Протасенко и сам же страшился впасть в предвзятость. У него, у совершенно постороннего человека, каким он стал для Зины, предвзятости не должно было быть.

– Послушай, – заговорил Сева, – мы с тобой не один вечер провели в спорах. Ты говорил: любое проявление отношений между людьми – цепь взаимосвязанных явлений. Я правильно излагаю?

– Правильно, – спокойно подтвердил Андрей Константинович.

– Так вот, пойми, сама натура, сама сущность Протасенко, ясно тебе? – все это развязало ей руки. Это все должны увидеть, когда начнется суд.

– Минутку! – Андрей Константинович протянул к нему ладонь, но Сева повысил голос.

– Да ты сам все это прекрасно понимаешь, только признаться себе не хочешь. Разве очистить общество от... – он не смог подобрать нужное слово... – ну, хотя бы показать всем, что он есть такое, Николай Валентинович. Разве не благое дело?

– Да пойми ты, Сева, таких, как Протасенко, сегодня у нас пруд пруди. Эра энтузиастов кончилась, иссякла. Людям надоело, понимаешь ты, на-до-ело жить на голом энтузиазме.

– Ты что, собираешься его оправдывать? – воскликнул Сева.

– Тише! – сморщился и отстранился от него Андрей Константинович.

Сева опомнился, сел на место.

– Да, извини.

– Если смотреть с точки зрения закона, – стал рассуждать Андрей, – в чем его вина? Не толкал же он Дергач под локоть: иди – убей. Этого не было. Значит, никто не может предъявить ему обвинение. Никто. Кроме Зинаиды Федоровны. А это уже их частная жизнь. С какой стати ты, посторонний человек, берешь на себя смелость вмешиваться в их жизнь?.. Вот теперь я спрошу тебя. Только давай договоримся рассуждать спокойно. Договорились?

– Договорились. – Сева придвинулся к столу.

Но разговор, хоть они и договорились рассуждать спокойно, почему-то не клеился. Может быть, мешала жара, отвлекал сад, застывший в послеполуденной тишине. На яблоне замер в безветрии каждый лист, и было слышно даже, как где-то рядом пролетел одинокий забияка-комар. Сева внезапно ощутил, что солнце приятно греет спину, нагоняет сонную одурь, что хорошо бы сейчас лечь в тени под деревом и долго смотреть в безоблачную синеву. Ему пришлось тряхнуть головой, чтобы придти в себя и собраться с мыслями.

– Вера Алексеевна хочет, чтобы Жанну Дергач расстреляли, – криво усмехнувшись, сказал он после долгой паузы.

– Чушь! Женщин не расстреливают, – повел на него глазом Андрей Константинович. – Вашей Вере, что, мало крови? На приговор повлияет еще медицинская экспертиза, посмотрят, насколько она была вменяемой или невменяемой... Что смотришь? Да не может человек, находясь в полном рассудке, пойти на такое... – он запнулся на слове.

– Андрей, – снова чуть не заорал Сева, но вовремя сбавил тон, – эта сволочь настолько была вменяемой, что даже собственные отпечатки пальцев стерла с дверной ручки!

Андрей Константинович будто бы не услышал.

– Никогда не видел Зининого сына, – затосковал он, – никогда не видел. Очень любила ее когда-то, Зину. Понимаешь, дело какое? Это чувство угасло, – он на всякий случай прислушался к себе, – да, угасло. Я боюсь, ей тяжело будет, если я появлюсь. Такой, знаешь, ходячий упрек.

Он помолчал, проглотил ком в горле, стал водить пальцем по черточкам на клеенке.

– Знаешь, я весь день пытался выступить в роли адвоката. По отношению ко всем. К Зине, Протасенко, к этой несчастной... Зацепку искал, чтобы не полностью, но хоть частично, не оправдать, нет, об этом не может быть и речи, попытаться объяснить... – он внимательно посмотрел на Севу. – Ты вот вскинулся, что я назвал ее несчастной. Но подумай сам: посадят непременно, посадят надолго, это факт. Ты представь, что даже там, где она будет отбывать эти годы, даже там, самые отпетые, самые закоренелые не допустят ее к себе. Я пытался уяснить, что ею двигало. У меня ничего не получается. Я даже начинаю думать, что это просто какая-то дикая, жуткая случайность, стечение каких-то совершенно невероятных обстоятельств, что она... жертва.

– Мне сегодня Загурский скальпель протянул, – задумчиво тихо проговорил Сева, – есть у нас в лаборатории такой скальпель, мы им карандаши точим. «Иди, – сказал он мне, – иди, замочи Николая Валентиновича. Воздай по заслугам. Только не трепись, а действуй, действуй!»

Андрей криво усмехнулся.

– Чепуха. Жест.

– Все так и поняли. Посмеялись бы в другой раз. Но это не жест. Это плевок в физиономию всем нам. Болтаем много. И ты, и я. О Гегеле, о необходимости и случайностях... о роли личности в истории, о демократии...

Андрей Константинович вздернул голову.

– Дай закурить.

– Ты же собирался бросать.

– Я скоро пить начну, – Андрей закурил, продолжил. – Так о чем я... да, о жертвах. Давай посчитаем. Давай начнем с тебя.

– Лучше с кого-нибудь другого. Лично я не собираюсь быть жертвой.

– А, ну да, ты же у нас герой. Мечтатель. Тебе, как малому дитяти, все хочется достать луну с неба.

Сева, бедный, чуть не поперхнулся.

– Да ладно тебе.

– Что ладно! – стукнул ладонью по столу Андрей Константинович и сам испугался резкого движения, сбавил тон. – Повторяю. Это случай! Стечение обстоятельств! И все! Точка!

Сева зло рассмеялся, глаза оставались холодными.

– «Случайность – это непознанная закономерность!» – так, что ли, трактуется в наших философских учебниках? – Он пригнулся к столу, – тогда скажи мне толком, если закономерность, то какая? – потер пальцы, большой и указательный, – пощупать дай! И не завязаны ли в этой закономерности ты, я, Протасенко, Софья Сергеевна...

– Да мы тут при чем? – отпрянул Андрей Константинович.

Севе вдруг стало жалко Андрея. Понял он, что никакой истины тот ему не откроет. Забьется в угол, истерзает себя упреками. Вон и Софья Сергеевна уже терзает себя, запершись в дальней комнате. И вдруг он понял. Он почувствовал, как кровь прилила к голове и кожа под волосами покрылась испариной. Он понял, наконец, к чему все идет. Отпав, шелуха обнажила идею, и хотя она зрела, накапливалась весь день, но такой ошутимо ясной стала именно в эту минуту.

– Вот, что я тебе скажу, как бы ты не сопротивлялся. Все мы одним миром мазаны! Все! Понял? Николай Валентинович – гад, а у нас в вестибюле ему во-от такое соболезнавание висит!

Андрей посмотрел недоуменно. Пытался понять.

– Соболезнование... Да... А как иначе. И потом, должна же остаться в нас хотя бы капля милосердия!

– Так-так-так-так, – зло, с иронией проговорил Сева, – он, что, тоже жертва?

Андрей Константинович с минуту оторопело смотрел на него. И вдруг согласился.

– Все мы в какой-то степени жертвы.

– Жертвы чего?

Андрей Константинович жалко посмотрел на него.

– Страшно вымолвить. Иной раз жутко делается. В какой-то вате живем. В липкой, кошмарной вате. Вот она здесь у меня, здесь, комом на морде! – он хлопнул себя по губам, – я ее чувствую, чувствую, а содрать не могу. Все наши помыслы, начинания, стремления рано или поздно упираются в какой-то тупик...

Сева прищурил глаза, стараясь вдуматься.

– Но если тупик, если система плохая – ее надо ломать!

Андрей Константинович печально посмотрел на него.

– Ломать – не строить!

– А ты пуганый, – откинулся на стуле Сева и сложил на груди руки. – Интересно, когда это тебя успели так напугать?

Андрей Константинович точно так же, как прежде Сева, пригнулся над столом и как-то странно даже не проговорил, проскрежетал:

– А ты не боишься, сломав, выпустить из бутылки такое мохнатое, такое звериное, хамское, что все твои Протасенки и Дергачи покажутся детским садом!

Сева нахмурился, встал, походил по террасе, после замер на месте. Представилось ему, как Андрей Константинович сидит у себя на работе в музее один-одинешенек в тесной комнатке с небольшим окном, где даже днем приходится зажигать настольную лампу. Сидит взлохмаченный, с красными вдавливами от очков на переносице, низко наклоняет голову, перечитывает и переписывает бесчисленные фолианты. И так весь день, неделю, годы.

Неожиданно Сева спохватился.

– Пойду, пожалуй. Засиделся я у тебя. Давай, проводи до калитки.

Андрей Константинович виновато моргнул, но удерживать Севу не стал.

25

Дверь в квартиру Протасенко была распахнута. В тесной прихожей не повернуться, а толпа у подъезда не убывала. Глухой ропот в ней нарастал, и тогда отзвуки его становились слышными тем, кто находился в настороженной тишине дома. Достигнув высшей точки, шум на улице на время стихал, как бы захлебнувшись.

Сотрудники института держались во дворе отдельной кучкой, говорили между собой негромко. Выноса ждали с минуты на минуту, но время шло, все оставалось без изменений. Пронесся слух, будто Протасенко вызвали эксперты, требуется срочно подписать какой-то документ...

Утром Севе с Загурским и двумя совершенно незнакомыми мужчинами пришлось ехать за телом мальчика. То, что несли к машине, оказалось неожиданно легким. Была одна забота – нести это легкое по возможности бережно. Придерживать, защищать от тряски, будто оно нуждалось в защите.

Потом, когда гроб внесли в квартиру, и мать черной птицей упала рядом, Сева ничего уже не видел. Его оттеснили, увели в другую комнату, там дали новое поручение. Он поехал на кладбище, погрузился в бюрократические процедуры оформления похорон, дивился тому, как их много.

Он читал имя ребенка в бумагах, на ленточках венков, он слышал его из уст многих людей, но только сейчас до конца понял, что не просто мальчика, а именно этого мальчика, именно Антона так бережно нес сегодня Сева, именно над Антоном забились Зинаида Федоровна, уже не мать, а женщина, потерявшая сына. Он огляделся вокруг и только теперь сполна оценил меру гнева, накалявшую эту неведомо откуда взявшуюся толпу. В ней таилась до поры до времени подавляемая рассудком людей угроза. Он чувствовал, что задыхается, что ему не хватает воздуха.

Шевельнулась толпа, послышалось:

– Отец идет, сейчас начнут выносить.

Сева не понял, про кого сказали «отец», и вдруг увидел Николая Валентиновича, затертого в толпу. Не пускали его, что ли, так медленно он продвигался вперед. Его лицо виднелось неестественно бледным пятном. Внезапно Николай Валентинович остановился, и Сева увидел, как на его пути встала никому не известная женщина.

Сева продвинулся ближе. Женщина была немолода, небрежно причесана, одета в цветастое, неподобающе яркое на похоронах платье. Он заставил себя смотреть в ее лицо с трясущимися щеками, с красными прожилками возле носа. То ли она много плакала, то ли была не совсем здорова, но она добивалась чего-то от Николая Валентиновича, загрозила собою проход.

– Позвольте. – Николай Валентинович как слепой протянул руку и тронул ее плечо.

Она не поддалась, не качнулась, а с боков напирал народ, ожидая чего-то.

– Не позволю! – выкрикнула женщина, и голос ее мучительно врезался в чуткое ухо толпы.

– Не позволю! – во второй раз сказала она неожиданно низким и протяжным голосом, словно на один лишь выкрик ее и хватило.

– Я скажу! – яростно пробивалась сквозь толпу другая, низенькая, сухая старуха. – Скажу. Это ты убил! Ты убийца ребенка! Ты, гнилая твоя душа!

Толпа замерла, дрогнула, плотней встали люди. Снова крик, но где-то в стороне:

– Не пускайте его идти за гробом!

Сева смотрел в лицо Николая Валентиновича, обрюзгшее, стертное, с затравленными глазами.

– Помогите! – кричали Севе его глаза.

Тогда (после он никогда не мог понять, почему он так сделал) Сева вывернулся из окружавших его тел и встал между Протасенко и женщиной в пестром платье. Сева успел схватить и удержать ее занесенную руку. Началось невообразимое.

– Заступники явились! – кричала женщина в пестром платье.

Она чем-то твердым, видно кольцом, угодила Севе в глаз.

– Правильно! – вопили в толпе.

– Мы видели, как он свою шлюху в дом приводил!

Кто не потерял рассудка в океане хаоса, расшвыривал потерявших соображение женщин. Толкали, тянули в сторону старуху. Она отбивалась, успела плюнуть Севе в лицо, не видя уже, кто перед ней, не понимая, что она делает.

Севе удалось повернуться. Он ожидал увидеть за спиной Николая Валентиновича, но того уже не оказалось рядом, краем глаза Сева успел увидеть трусливо согнутую фигуру и сразу захлопнувшуюся дверь подъезда.

Загурский потащил его к своим, где с растрепанной, сбившейся на бок прической, рвалась из рук Ольги Павловны Верочка.. Она кричала, вернее, пыталась кричать, но не слышно было ее голоса, голос едва доносился.

– Люди! Ведь вы же люди! Как вы могли допустить такое! Да что же это!

В ответ нарастало:

– Он убил! Убил!

Сева тронул лицо, нащупал саднящую бровь. Неизвестно откуда появилась возле его рта бутылка с минеральной водой, он, давясь, стал пить эту насильственно льющуюся воду. Толпа гудела, толпа посылала проклятья, и вдруг, остановилось, замерло и застыло все. Закрой глаза – никого, пустыня. Понял Сева, это несут Антошу.

Его несли, поднимая над головами людей. Виден был маленький легкий гроб и цветы, наполнявшие его. Цветы не умещались, свешивались по краям, казалось, что кроме цветов там ничего и нет, там больше ничего и не должно быть – только цветы.

Перед тем, как поставить гроб на дно машины с откинутым бортом, его опустили на две неплотные составленные табуретки, и Сева увидел мальчика.

Чего он ждал? Может, он хотел, чтобы дневной свет сотворил чудо, чтобы цветы, положенные возле детского лица, бросили на него отблеск жизни? Или он хотел увидеть среди царящего кругом безобразия мирно уснувшего ребенка? Разбуди его, он поднимется, побежит со своими пустяковыми заботами, деловитый, смешной; затеряется в кучке таких же смешных, озабоченных мальчиков. Цветы, уложенные на белоснежной подушке, должны были бросить на него хотя бы отблеск жизни. Этого хотел Сева.

Но лицо было мертво. И самого Антоши здесь уже давно не было. Гроб подняли, погрузили в машину, надвинулись люди, мать убитого, поддерживаемая с двух сторон, прошла вперед, ничего не видя перед собой.

Сева не пошел со всеми. Он стоял и смотрел, а толпа огибала его, оставляя одного на узком тротуаре.

26

После похорон, после поминок Андрей Константинович перестал сомневаться, идти ему или не идти к Зине. Он не мог не пойти. Спасти, удержать от безрассудных поступков. Картины одна страшнее другой лезли в голову. Оброненная кем-то фраза «Теперь она (имелась в виду Зинаида Федоровна), или его убьет (имелся в виду Николай Валентинович), или на себя руки наложит», распаляла воображение.

Два дня после похорон пробовал найти успокоение в работе. Не работалось, дома все валилось из рук. На третий день он с трудом дождался конца рабочего дня, с трудом вынес медлительное движение переполненного трамвая; теряя остатки выдержки, метался по кварталу в поисках Зининого дома и, наконец, с глухо бьющимся сердцем остановился перед ее дверью.

Зинаида Федоровна оказалась совершенно не такой, какой он ожидал ее увидеть. Отступила на шаг, пропустила в квартиру. Из комнат не донеслось ни шороха, ни звука.

И он с облегчением понял – она одна. Зина указала ему на глубокое кресло, сама села напротив. Он искал следы пронесшегося над ней урагана и не находил их.

Ничего траурного. Повседневное платье. Видно, она носила его и в те времена, когда был жив ее сын. Никаких изменений в прическе. Как прежде, высоко над затылком были подняты и собраны в пучок ее рыжеватые волосы. Веки опухшие, но не так сильно, как ожидал увидеть Андрей Константинович. Она смотрела на него спокойно, без выражения, и взгляд ее был безжизненным, словно она раз и навсегда решила ничему не удивляться.

Внезапно что-то дрогнуло в ее лице возле бровей, возле губ, и он понял: прическа, спокойствие – всего лишь отчаянная попытка удержаться в пределах рассудка. Всем своим видом она как бы говорила Андрею Константиновичу: «Если ты пришел жалеть, то знай – я этого не хочу. Твоя жалость ничего не стоит в моем положении».

Зинаида Федоровна шевельнула губами, и он сразу подался вперед, страдая вместе с ней ее болью, но она очень просто сказала:

– Спасибо, что пришел, Андрюша.

– Ты одна? – спросил он, подразумевая Протасенко, подразумевая не данный момент, а всю остальную жизнь. Она поняла.

– Я одна. На некоторое время.

– Как понять – на некоторое время?

– Свекровь очень плоха. Коля с нею. Вот ждем, когда ей станет легче.

Он все еще ничего не понимал.

– Ты хочешь сказать, что он вернется к тебе, в этот дом?

– Он и не уходил из этого дома, – сказала Зина и посмотрела на Андрея Константиновича с такой твердостью, что он смехался и решил немедленно сменить тему разговора, чтобы не запутаться окончательно.

Но ему не удалось. Зинаида Федоровна настойчиво говорила о своем Протасенко, чтобы у Андрея Константиновича не осталось никаких сомнений.

– Я хотела остаться одна. Это было мое первое решение. Я уцепилась за эту возможность – отправить его к свекрови, лишь бы не видеть больше. Но потом я поняла, что не смогу жить одна.

Рот ее чуть-чуть покривился, и Андрей Константинович ужаснулся тому, что она делает над собой, лишь бы казаться спокойной. Кто знает, может, наедине со своими мыслями она выла от тоски и горя, но никто не слышал ее криков, никто не пришел на помощь.

– В такие минуты как теперь кто-то обязательно должен быть рядом. Кто, кроме него, поймет мое отчаяние, когда он сам... – она поджала губы, чтобы они не задрожали, отвернулась. Молчала до тех пор, пока снова не смогла говорить, – ... когда он сам на грани отчаяния. Я знаю, как плохо ему, он знает, как плохо мне. Станем жить вместе, вполне понимающая друг друга.

– Зина, – Андрей Константинович боялся не то чтобы притронуться к ней, боялся шевельнуться, чтобы неосторожным движением не вызвать у нее новый приступ боли, – Зина, он страшно, он бесконечно виновен перед тобой, и...

– Я знаю, – перебила она, – я знаю, его ставят на одну доску с той... с этой... ну, ты понимаешь, о ком я говорю. Но это неправда! Нет. Я долго думала, – это неправда.

Она внезапно подхватила с места и кинулась куда-то, но словно наткнувшись на невидимую преграду, замерла и как бы стала к чему-то прислушиваться. То, что она внезапно сказала, было неожиданно.

– Слушай, давай поужинаем.

– Я не хочу, – растерялся Андрей Константинович.

– Не помню, когда ела в последний раз. Не могу есть. Пожалуйста... Только извини, у меня ничего не приготовлено. Мы поедим... что-нибудь из старых запасов. Ты не против?

Разве он мог отказаться? Прошел следом за ней на кухню, помог расставить посуду, поставил чайник на газ. Сели за стол, за скудный ужин, и Андрей Константинович увидел, что она и вправду не может есть. Подержала хлеб, положила на стол. С тоской смотрела на ломтик ветчины. Когда он увидел это, воздвигшийся между ними барьер рухнул. Не помня себя, он бросился к ней, сжал ее руки, зашептал, путаясь в словах:

– Брось, оставь этот дом! Здесь ничего нет, чтобы жить. Уйдем! Я помогу тебе, Зина! Ты не сможешь так, это не жизнь. Зина, уйдем, я помогу тебе.

Она медленно освобождала руки.

– Милый ты, мой, неисправимой доброты человек. Зачем я тебе нужна, такая? Зачем я тебе, Бог мой! И кто тебе сказал, что я хочу жить? У меня нет сил прекратить свое существование не потому, что я боюсь боли, нет. Я не имею на это права. Понимаешь? Права не имею, потому что виновата перед ним, перед мальчиком моим... так виновата, так виновата... – она вырвалась, скользнула в другую комнату.

Пробыла там недолго, а когда вышла к нему, была по-прежнему спокойна и даже могла говорить. Правда, о еде не заикнулась, ей хватило одной попытки.

Она говорила, он слушал. И в душе его одна за другой закрывались створки, распахнутые для нее. Даже неловко перед самим собой стало. Нет, если бы она согласилась и, не медля, пошла за ним, он действительно мог посвятить ей жизнь. Но она не колебалась, не раздумывая, отшатнулась, и Андрей Константинович понял, что его минута прошла.

Где правда, где придуманная ложь во спасение, он уже не мог и не хотел разбираться, а она говорила, говорила. Вот она искала улики против мужа, а надо было быть рядом с сыном. Не приходила домой вовремя, тратила часы на слежку, а надо было быть с сыном. Но самое непоправимое – она оставила его в тот вечер, и вот расплата, за все расплата! Но как жестоко, как несправедливо то, что уготовила ей судьба.

Прошлую ночь не сомкнула глаз. Поняла, что если положить на весы вину мужа и ее собственную вину, то еще неизвестно, чья вина перевесит. Тогда лист за листом она уничтожила «жизнеописание Протасенко» и тем самым отпустила ему все. А на другой день позвонила свекрови, позвала его к телефону и сказала, что он может вернуться домой.

– Все хотят ему наказания. Ты же знаешь, что произошло на похоронах. Им мало! А начнется суд. Снова нас будут терзать, снова польется грязь. Мне придется там, на суде, быть и видеть это чудовище в образе женщины. Да разве ж этого мало!

Она рассуждала, как Николаю Валентиновичу нелегко будет теперь на работе. В институте его знает каждая собака. Смакуют, смакуют подробности. Придется уйти. Придется начинать все сначала. И еще надо заполнить чем-то пустоту в доме. Надо! Надо!

Зинаида Федоровна заломила пальцы, и этот жест показался Андрею Константиновичу неприятным.

Он подумал, что она не должна, не имеет права говорить ненужные, жалкие слова, не должна даже думать об этом. Какая работа, какое положение, какой престиж! Кой черт! Хоть земля загорись у них под ногами – они будут гнуть свое!

А еще ему стало обидно за себя. Да как же он не понял с самого начала, что она в его старый, наполовину разрушенный дом не пойдет. Нет, останется на месте, хотя жить в этой роскошной квартире немислимо. Каждая мелочь, каждая вещь будет напоминать о сыне, все принадлежавшее ему, хотя бы этот до сих пор неубранный велосипед в прихожей, все будет постоянно попадаться на глаза.

Да как же он мог забыть, что семи дней не прошло, как готова была она растоптать всех и вся, лишь бы удержаться Протасенко. Она получила его, наконец. Свой! Собственный! Никуда не уйдет со своим клеймом!

Не-ет, назад, домой, на Садовую. И пропадите вы пропадом со своим нечеловеческим укладом!

Рванул из кухни вон, и в этот момент в прихожую вошел Николай Валентинович.

– Почему дверь не заперта, Зина? – спросил он и увидел Андрея Константиновича.
– А, это вы, здравствуйте.

Он поставил на стул тяжелый портфель, помолчал немного, стоя спиной к Андрею. Обернулся.

– В первый момент увидел вас, хотел руку протянуть. Не протяну. Боюсь, отшатнетесь от меня.

– Я н-не совсем понимаю, – растерялся Андрей Константинович.

– Не притворяйтесь. – Протасенко бил наверняка.

Но Зинаида Федоровна сделала вид, будто ничего не слышала.

– Как мама?

– Ничего, она уснула. Ты, Зина, вот что... Я принес продукты. Стручков кое-чего подбросил. Ты разберись на кухне.

И она послушно ушла на кухню, прихватив тяжелый портфель.

– Что ж мы стоим? Проходите, садитесь, Андрей Константинович. – Он не бодрился и не скрывал, что визит Буланова ему неприятен. Андрей, сам того не желая, прошел в комнату, сел в кресло, Протасенко сел напротив и рубанул с плеча. – Зачем вы пришли? Выразить сочувствие?

– Николай Валентинович, я...

Протасенко остановил его жестом.

– Простите, мне говорить с вами непросто. Так что я без реверансов. Вы позволите? Если пришли сюда с намерениями спасти Зину... Поверьте мне, это совершенно лишнее.

Андрей Константинович озлился. Этот прохиндей еще будет его топтать!

– Насколько мне известно, вы собирались уйти от нее к другой женщине.

Протасенко сузил глаза, ощерился.

– Ишь ты, – удар под ложечку! Как вы можете знать, Андрей Константинович, что я собирался и чего не собирался делать? Вам нашептали сплетники, а вы сделали вывод. О, людская молва уже сотворила из меня не только развратника, но и убийцу. Вам не противно находиться в моем доме?

– Зачем вы паясничаете? – устало спросил Андрей.

– Ах, – рот у Протасенко pokrивился, – я забыл, – вы – гуманитарий. Привыкли к смягченным речевым оборотам. – Он поднялся, заходил по комнате. – Как бесконечно жестоки человеческие существа. С каким наслаждением они кидаются терзать себе подобных, чуть только возникает такая возможность! Ме... – хотел повысить голос, но голос сел, он пустил «петуха». Прокашлялся. – Мелочь, шушера! В былые времена эти людишки не осмеливались даже здороваться со мной, – он потер лоб. – Простите, я совершенно не собирался про это говорить. Я не в себе. Я виноват во многом. Я осознаю. А это – искупление. Да, да, да, искупление. Вы можете быть совершенно спокойны, раз это вас волнует, Зина никогда не останется одна.

Не поднимая глаз, Андрей Константинович буркнул:

– Это я уже понял.

Вернулась Зинаида Федоровна, Николай Валентинович остановился возле нее.

– Я ходил смотреть памятники, как ты просила. Ничего приличного. Громоздкая безвкусица. В общем, я решил так: пусть это будет много дороже, но памятник нужно заказать в Эстонии. Я уже позвонил, кому надо.

– Еще ограда... – разлепила губы Зина.

Андрей Константинович поднялся.

– Пойду, пожалуй.

– Уходишь? – Зинаида Федоровна обернулась на темное окно. – Да, поздно уже. Твоя мама, наверное, волнуется. Бедная, бедная, у нее своего хватает, а тут мы. Со своею бедой... – она зябко натянула наброшенный на плечи пуховый платок. – Что ж, ты иди. Иди. Пусть тебе повезет в жизни немного больше, чем мне. И спасибо тебе за все... Проводи его, Коля.

Когда через несколько минут Протасенко вернулся в комнату, спросила:

– Ушел?

– Да.

Зинаида Федоровна посмотрела устало.

– Ты не сердись на него. Он странный, но очень хороший человек.

– Вот и пусть идет домой. Под крылышко к Софье Сергеевне.

Николай Валентинович опустил в кресло и прижался лицом к руке жены.

Предвестники осени, легкие, серебристые, в небе плывут паутинки с невидимым путешественником-паучком на конце, улетают, тонут в синеве. Подняться бы вместе с ними на высоту, увидеть оттуда величественную панораму: параллели и меридианы улиц, широкие проспекты с движущимися по ним потоками машин, синь рассекающей город реки, почувствовать, как он за последнее время похорошел и отстроился. Но некогда людям заниматься подобными пустяками. Кругом привычный шум, рокот автомобилей, суета.

И в лаборатории все как обычно; отрешено от улицы, тихо, бело. Сева углублен в расчеты, Загурский выстукивает столбики цифр. Бегут они по узкому экрану машинки,

шелчок – сброс. Стол Ольги Павловны пуст, Ольги Павловны до сих пор нет на работе, а Верочка почему-то все время подходит к окну. Постоит, неслышно простучит по стеклу лишь ей ведомый мотив, или подберет с подоконника и начнет играть упавшим листком герани. К лицу его поднесет, вдохнет аромат, повертит в пальцах...

Зайчик в трудах. Пишет. Никого не интересуется, что он там пишет, хотя такое занятие не присуще ему, и потому удивительно. А занят Михаил Потапович важным делом.

О прошлом на работе никто не вспоминает, будто все сговорились не касаться болезненной темы, будто ничего и не было. На днях при проведении очередного опыта произошла неувязка, Ольга Павловна даже взгрустнула по этому поводу: «И когда уже Николай Валентинович приступит к своим обязанностям!?»

Михаила Потаповича бросило в жар после такого замечания. Что же это, придет Протасенко, сядет на место, побегут дни за днями. Может ли такое быть, чтобы после всего, после ужаса и кошмара ничего не изменилось! Зайчик решил написать докладную на имя директора. Точные, ясные и справедливые мысли приходили в полную непригодность после соприкосновения с бумагой.

Уже не одну страницу текста забраковал Михаил Потапович, а нужная форма так и не была найдена. Тогда решил он взять быка за рога, не мямлить, не топтаться на месте, а рубануть с плеча.

Он написал: «Н.В. Протасенко недопустим как начальник нашей лаборатории и аморальный для общества тип». И стал вчитываться в корявый текст. «Что значит – недопустим как начальник нашей лаборатории? – задумался он после прочтения. – Как начальник другой лаборатории допустим, что ли?»

Слово «тип» он зачеркнул. Потом зачеркнул «аморальный». Получилось, что Протасенко недопустим как для лаборатории, так и для общества. Но где же он допустим, куда его деть? В тюрьму, что ли сажать! Так ведь не за что. Михаил Потапович восстановил слово «аморальный» и зачеркнул слово «общество». В новой редакции написанное стало выглядеть следующим образом: «Н. В. Протасенко – аморален, и недопустим в нашей лаборатории»... Нет, опять не то.

Зайчик перечеркнул всю фразу, подумал, взял чистый лист бумаги. «Н.В. Протасенко не имеет права быть начальником...» Но кем! Кем он имеет право быть? Где его место этого Протасенко? Куда его пристроить, чтобы он удовлетворял всем требованиям как вполне сложившийся аморальный тип! Или он не аморальный? Тогда зачем все это, для чего он, Зайчик, пишет докладную, прах ее задери! Зайчик все порвал, обрывки скатал в ком, отшвырнул. Чистый лист бумаги лег перед ним.

«Директору такого-то научно-исследовательского и проектно-изыскательского института тов. Ольшанскому С.П. от инженера такой-то экспериментальной лаборатории Зайчика М.П. Заявление. Прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу. Число. Подпись».

Без помарок, легко написал и складно так получилось. Бумажку сложил вдвое – и к выходу. Ушел и ушел, мало ли куда. Ни Сева, ни Верочка, ни Загурский не обратили внимания на его прыть.

В это время Сергей Платонович принимал у себя посетителя. Они спокойно беседовали, охраняемые бдительной секретаршей, однако, разговор был неожиданно прерван. Секретарша появилась на пороге директорского кабинета и, хотя была встречена недовольным взглядом, осмелилась доложить.

– Там Зайчик, Сергей Платонович, просит, – секретарша сказала неправду, Зайчик не просил, – требовал.

– Хорошо. Пригласите Зайчика, – после некоторого раздумья сказал директор.

Секретарша тихо отступила в приемную, откуда в ту же секунду появился Михаил Потапович. От порога к столу шел на поводке директорского взгляда. Видно было, что Сергею Платоновичу не по душе проявленная настырность.

Зайчик оглядел присутствующего в кабинете постороннего человека. Очки заметил без оправы, похожие на пенсне, косой пробор, гладкое, как у юноши, лицо, хотя, по всей видимости, этому человеку уже немало лет. «Не институтский, – промелькнуло в голове Зайчика. – Кто? Райком? Следственные органы? По виду, возможно, что следователь». Впрочем, несущественно. Человек этот, кем бы он ни был, ему не помеха. Море по колено Зайчику, – он шел подавать заявление об увольнении.

Зайчик развернул свой листок, положил на стол, отступил на шаг.

– Садитесь, – бросил директор, и Михаил Потапович опустился на предложенный стул, огляделся.

Сергей Платонович нацелил на него лобастую голову.

– Что это? – показал на заявление. – Почему вдруг?

– Да вот... – вызывающе заговорил Не-Греми-Цепями, – ситуация такая сложилась, Сергей Платонович, место хорошее предлагают с большой прибавкой к зарплате. Выгодно мне, одним словом, перейти на другую работу, хотя понимаю, что для вас это неприятно и огорчительно даже.

– Потапыч, мы столько лет вместе проработали, скажи по правде, зачем это? – директор поднял за уголок и сразу опустил на стол лежавшую перед ним бумагу.

Незнакомец оставил в покое застешку портфеля, отложил его в сторону и поднялся.

– Я в приемной подожду.

И вышел, провожаемый недовольным директорским взглядом.

– Ну, – вновь обратился он к Зайчику.

– Мне, старику, стыдно, Сергей Платонович, – заговорил он, – такая у нас в лаборатории канитель получилась. Как людям в глаза смотреть?

– Ты-то тут при чем?

Толком еще ничего не было сказано, но они прекрасно понимали, что говорят об одном.

– Как же не при чем, Сергей Платонович. Видел, знал, что представляет из себя Протасенко. Все молчали. И я как все. Думал, чего мне вмешиваться, придет время, люди, умней меня, сами разберутся, что к чему. А теперь вот... мальчик погиб. Вина за его смерть, так оно получается, и на моей совести. Освободите, Сергей Платонович, чтоб жилы из себя не тянуть и вас не отвлекать от дела. Люди, вон, ждут.

– Ничего, – сказал директор, – это свои люди. Если все так, как ты говоришь, мне, что, тоже заявление подавать надо?

– Это не в моей воле, – что-то жесткое промелькнуло в глазах Зайчика. – Это вы сами. Дело ваше. Мне терять нечего, я, уж позвольте, скажу. Нет у меня желания работать в организации, где терпимо относятся к таким, как Протасенко. У меня, простите, недоверие появилось... Я, Сергей Платонович, очень внимательно слушал, как вы давеча в гостях у Софьи Сергеевны речь произносили, восхваляли ее до небес. А вот заявление ей об уходе тоже собственной рукой подписали.

Сергей Платонович, не поднимая глаз, возразил.

– У директора, когда приходят к нему увольняться, иных прав, кроме морального, так сказать, воздействия не имеется. Что я мог сделать, если она так распорядилась?

– Не знаю, что вы должны были сделать, но честный человек раньше времени ушел на пенсию, а прохиндей... ему, пожалуйста, зеленый свет.

– Не все так просто, как ты думаешь, Потапыч, – еще ниже склонил голову Сергей Платонович.

– В вестибюле, – гнул свое Зайчик, – до сих пор висит соболезнование Протасенко, ему оказана материальная помощь. А через месяц и вовсе всё забудут. Так и останемся работать при нем...

– Не останетесь, – откинулся в кресле директор и показал пальцем. – Твой будущий начальник только что деликатно вышел из кабинета.

Тихо сделалось в комнате. Зайчик не просто растерялся, онемел. Сергей Платонович переложил с места на место папку с документами, будто случайно как ненужную вещь сдвинул заявление Зайчика на край стола.

– Мужик толковый. Давно его уламываю идти к нам. Согласился, как будто.

Но у Зайчика своя идея ворочалась в голове. Новый начальник, ладно, с этим можно и после разобраться...

– Выходит Протасенко... Простите, Сергей Платонович, он что, заявление сам подал?

– Нет. Не подавал, но подает.

– А если он не захочет?

– Как он может не захотеть, – одними губами улыбнулся Сергей Платонович, – если скомпрометировал, так сказать, себя?

– А куда он пойдет?

– Вот уж это, Потапыч, меня меньше всего волнует. Я сыт по горло этой историей. Меня не касается, куда пойдет, и где будет работать Протасенко. Нам такие работники не нужны.

– Интересно, – повел головой Зайчик, – был-был нужен, вдруг стал не нужен!

Странно прозвучали его слова. Сергей Платонович прищурился и внимательно посмотрел в глаза собеседника. Не отрывая взгляда, вновь придвинул заявление и уже совершенно официально спросил, – так подписывать или не подписывать?

Зайчик поднялся.

– Подписывайте, Сергей Платонович.

Директор подписал.

– Две недели отработаете. Вы знаете, – у нас с кадрами туго.

– Это можно, – согласился Михаил Потапович, – мне, собственно говоря, не к спеху. Спасибо. До свидания.

В приемной разминутся с новым начальником.

«Интересно, каким ты будешь? – подумал, идя по коридору. – А впрочем, черт с ним. Все они в одном котле варятся. Кроме Софьи, конечно. Потому и избавились от нее. Не пригодна».

Вышел на балкон, вздохнул свободно, стал думать о произошедшем в кабинете директора. Кое-что оставалось шарадой. Почему тот сначала не хотел, а после так решительно подписал заявление? Что-то между ними произошло. Искорка мелькнула, и сработало зажигание. Мысли он что ли его прочитал, что-де повязаны, или что-то другое... А может формально поступил – раз заявление принесли, надо с ним что-то делать.

– Михаил Потапович, почему ваши не идут за деньгами? Поторопите, пожалуйста, – окликнули его возле бухгалтерии.

Зайчик побрел дальше.

– ...нет ни минуты покоя! – услышал он с порога лаборатории голос Ольги Павловны. Она рассеянно обернулась на него.

– Женя, – сказал Михаил Потапович, – сходи за зарплатой, бухгалтерия ругается.

Чистенькая, в белом халате, выглянула из-за стенда Женя, с готовностью кивнула, но к двери шла медленно, все время оборачивалась. Как только она исчезла, Ольга Павловна продолжила:

– Так вот, довожу до всеобщего сведения, меня вызывали в следственные органы.

– Именно вас? – удивился Загурский.

– Да. Как представителя местного комитета. Ну, доложу я вам, следствие. Сидит, понимаете, мальчишка и что хочет, то и вытворяет.

– Что же он вытворяет? – поднял брови Загурский.

– Сейчас узнаете. И я считаю, что это так просто оставить нельзя. Нужно идти, звонить... Для начала поставить в известность Сергея Платоновича... Но я по порядку. Значит так. Я пришла к десяти. Велено ждать. Сажу. Жду. Рядом со мной тоже ждет девица. Такая, из современных. В штанишках, в марлевой кофточке, с крестиком на шее. Как после выяснилось, подруга нашей...этой,... которая так отличилась. Девица рыдает, потом срывается с места и в кабинет. Дверь сразу закрыли, но она орет так, что слышно, наверное, на улице. «Жанна не виновата! Ее этот подлец погубил! Он жениться на ней обещал, а потом в кусты! Она в тот день была как помешанная! Она не хотела!» Дальше зовут меня. Начинается разговор и выливается он в самый настоящий поклев на Николая Валентиновича. У меня волосы на голове зашевелились. Но сначала я ничего не поняла. Сказала, что проработал три года, что отношения с сотрудниками были хорошими, что Николай Валентинович был отличным руководителем. Говорю, а сама чувствую, что этот следователь меня даже не слушает. Вопрос подбрасывает: «С какого времени, на ваш взгляд, Протасенко находился в интимной связи с Жанной Дергач?» Я говорю: «Простите, в замочную скважину за ними не подглядывала, в чужие дела не имею привычки вмешиваться». А он свое, так и лезет в эту грязь, в эту пакость. Я спрашиваю: «Зачем говорить об этом?» А он мне с апломбом: «Следствие должно выяснить меру участия Протасенко в убийстве его ребенка». Ольга Павловна обвела глазами присутствующих. – Представляете? У меня складывается впечатление, что им своих уголовников не хватает. Как можно допустить такое, чтобы начать Николая Валентиновича подозревать в соучастии!... Потом из разговора я поняла, что прямых улик у них, конечно же, нет, но

на суде они собираются вынести ему «частное определение». Я спрашиваю: «А что это – «частное определение»? Объяснил. Я всего не помню, но смысл вот какой: он как бы содействовал преступнику, как бы создал, ну, почву для преступления, что ли. Выносятся судом в адрес производства. В целом, ничего страшного, но с другой стороны – конеш всему! Должность, степень – он всего может лишиться!

– И правильно! – отрезала Вера Алексеевна.

Ольга Павловна искренне возмутилась:

– Да как ты можешь так говорить, Вера! Ты только вдумайся, что ты говоришь! За что? Убила же Дергач!

– А он с ней в бирюльки играл, – зло расхохотался Загурский.

– Оставьте, пожалуйста, Иван Денисович. Я понимаю, на что вы намекаете. Но скажите мне, кто без греха, особенно вы, мужчины? Что же касается убийства, то Николай Валентинович здесь совершенно ни при чем.

– Как «ни при чем»! – подскочил Сева. – Он очень даже «при чем», Ольга Павловна. Вы, что, не понимаете этого! А-а, вы совершенно неправильно вели себя у следователя.

– Значит, по-вашему, я должна была рассказать подробности? Может, вечер у Софьи Сергеевны вспомнить надо было?

– Да! – крикнул Сева. – Вечер вспомнить надо было в первую очередь.

– Ну, знаете ли, Всеволод Аркадьевич, уж от кого-кого, а от вас я не ожидала... У человека такое горе, а вы... – потрясенная, она умолкла, потом произнесла с оттяжкой, – вы меня поража-а-ете! Впрочем, – Ольга Павловна демонстративно отвернулась от Севы, – что остается ждать от современной молодежи, она чужими жизнями вон как распоряжается.

– А вы меня на одну доску с Жанной Дергач не ставьте!

– А почему бы это мне не ставить? У вас что, руки чешутся добить человека? Да не сверлите вы меня взглядом, Всеволод Аркадьевич! Коли на то пошло, так я вам выскажу раз и навсегда правду: вы маленький, очень недвусмысленный карьерист и завистник. Бровка-то у вас рассечена. Там, на похоронах, перед публикой, вы вели себя героически. Почему сегодня все наоборот? Лицемерная, выходит, у вас душонка. Когда выгодно спасать – спасаете, когда выгодно топить – топите!

– Так тебе и надо, Севка! – хлопнул в ладоши Загурский.

– Стойте, Ольга Павловна, – отстранил ошеломленного Севу Зайчик, – опомнитесь, что вы такое говорите!

– Я говорю то, что думаю! Ненавижу двурушников!

– Ты лжешь! – Вера Алексеевна мучительно напрягла голос, – ты нагло, отчаянно, ты вдохновенно лжешь себе самой. Твое возмущение следователем... Да простят меня святые боги, – она протянул руку и заставила Ольгу Павловну повернуться к себе лицом, – я скажу. Протасенко – твой научный руководитель. Это не Сева, а ты... Звонить куда-то там собралась, к директору идти... Пусть ему хорошую характеристику дадут, чтобы твоя диссертация не пострадала!

– Нет! – взвизгнула Ольга Павловна.

В комнату вошла Женя.

– Я зарплату принесла, показала она ведомость и пачку денег.

– Меня интересует один вопрос, – Загурский старался на Ольгу Павловну не смотреть, – как же мы теперь вместе работать станем?

– Товарищи, ведомость мне дали на пятнадцать минут, – тихо сказала Женя.

– Что ж, – Зайчик поднялся первым, – давайте получать. Где тут? – он взял протянутую Женей ручку, нацелился расписаться в ведомости, но передумал. – Тяжелый вопрос ты задал, Иван Денисович...

– Эх, Миша, – перебил его неестественно повеселевший Загурский, – самый серьезный вопрос – деньги! Правда, Женечка?

– Расписывайтесь, – шепнула Зайчику Женя.

Загурский подождал, когда освободится ведомость, придвинул ее к себе.

– Ну-с, сколько же причитается с государства за проделанную мной работу? Ого! Девяносто четыре рубля!

Серьезный, но какой-то рассеянный, приблизился к столу Сева. Он потянул ведомость к себе, расписался в графе, стал ждать, пока Женя отсчитает нужную сумму.

– Сева! – Загурский умильно посмотрел на него, – плюй на все и береги свое здоровье.
– Давайте сразу рассчитаемся за похороны, – вклинилась между ними Верочка и достала список, – мы истратили тридцать рублей на венок. На цветы Ольга дала из месткомовских денег...

– Пятнадцать рублей, – пробормотала Ольга Павловна. Лицо ее было покрыто красными пятнами.

– Стойте! – Вера Алексеевна развернула еще один список. – А это что такое? Колбаса – пять двадцать, сыр – три рубля, рыба копченая, окорок... – она проглотила ком в горле.
– За вечер у Софьи Сергеевны мы тоже еще не рассчитались.

– Та-ак, сейчас мне станет плохо. – Загурский плюхнулся на стул, воткнул локти в колени и ладонями закрыл лицо. – Вот и лягут рядом два счета – один за вечер, другой – за похороны.

Но Вера Алексеевна уже взяла себя в руки. Держа на лице непроницаемую маску, она стала раскладывать пасьянс.

– Три рубля Сева занял у Михаила Потаповича, плюс девять. Это – мои двенадцать. Иван Денисович, – она сверилась по бумажке, – тоже дал двенадцать рублей. Отдельно по десять рублей – ваза. Значит, постойте, сколько же получается? – она забормотала. – Пять, шесть сорок... откуда взялись три семьдесят?... Господи, да почему же у меня не сходится? Дайте машинку, что ли!

– Да оставь ты эти расчеты! – Ольга Павловна судорожно отыскивала что-то на своем столе. – Какой жестокий наш мир! Ничего святого! Ничего! Что за жизнь!

– Жизнь как жизнь. – Загурский аккуратно сложил деньги, спрятал в боковой карман.

– А вы, Иван Денисович, с вашим вечным ехидством... – Ольга Павловна задыхнулась. – Я бы помолчала на вашем месте.

– С чего это я должен молчать? Женя, Танечка, пойдите погулять к соседям.

– Пусть сидят, – быстро надавил на Женино плечо Зайчик. – Пусть слышат.

– С того, что вы ведете себя, как последний аферист. Вы готовы были пятки лизать Николаю Валентиновичу, когда он был на высоте положения. Вы, кому были выгодны и полевые работы, и мелкие делишки, и многое другое, о чем остается только догадываться...

– Простите, какие делишки?

– Ну, знаете! Что я не слышала, как вы собирались толкнуть мой прибор! Вас даже не интересовало, закончила я опыты или не закончила!

– Да у нас лаборатория завалена всяким хламом! Амортизация, между прочим, влетает институту в копеечку!

– Прекратите! – крикнула Вера Алексеевна. – Это гадко, это мелко!

Странно, они все оставались на местах, каждый за своим рабочим столом. Можно было подумать, у них шло производственное совещание. Один Сева застрял где-то между шкафом и стендом и имел одно желание – спрятаться! Спрятаться в еще более узкую шель, вдавиться куда-нибудь, втиснуться, только бы не слышать ничего, не видеть, не иметь, не состоять, не участвовать! Или идти на улицу и начать орать, призывать, громить все подряд!.. Что там говорит Вера Алексеевна? Машинально держит в руке несчастный список и говорит, говорит такие правильные, такие замученные слова. Но они как будто (или это только кажется?) никого не затрагивают. Она говорит.

– Боже мой, в какой мы грязи. Почему только сейчас стало понятно, в какой мы грязи. Где они, светлые дни, когда не было у нас этих нечистых подозрений, а было дело. Ради него хотелось жить, ради него мы шли на жертвы... Оставались до темна на работе, забывали о еде... жили. Как светло, как прекрасно мы жили. Неужели же для того, чтобы понять, в какой яме мы оказались, нужно было, чтобы умер маленький мальчик Антоша?

Она говорит. У нее начинает дрожать подбородок.

– И ты, Ольга, – продолжает Вера, – ты хочешь, чтобы Протасенко вернулся, и все началось сначала?

– Он не вернется, – говорит Михаил Потапович, и все обращают к нему удивленные лица.

– Это ты так решил? – Загурский настороженно недоверчив.

– Это решил директор. Он уже пригласил нового человека на его место.

– Откуда вы знаете?

– Знаю.

Они начинают понимать, что Зайчик действительно знает, и что это правда.

– А, да пропади все пропадом! – кричит Ольга Павловна и швыряет на пол толстенную папку. Листы из нее вываливаются и ложатся на паркете широким веером, и все сосредоточенно смотрят на эти листы.

– Вот и начнется новая жизнь, – говорит Зайчик, – только без меня. Я уйду из лаборатории.

И так же медленно все отрывают глаза от разлетевшейся по полу диссертации Ольги Павловны и смотрят на Михаила Потаповича.

– Такие вот дела, братцы, – виновато и застенчиво улыбается тот.

Вера Алексеевна берет счетную машинку.

– Я очень прошу, вспомните, наконец, кто из вас дал мне три рубля семьдесят копеек?

28

На другой день Сева проснулся рано утром и сразу вспомнил: сегодня выходной, торопиться некуда. Институт, работа – все представилось вдруг тяжелой повинностью, и от того, что он почувствовал это, испортилось настроение. Видно кончилось время, когда он бежал в лабораторию, как на праздник.

Сева распахнул дверь в соседнюю комнату, где самым бессовестным образом сопел в подушку младший брат Димка, обещавший встать на заре и накопать червей для рыбалки.

– Вставай, олух, шесть часов!

Димка моментально проснулся.

– Шесть? Мы же на автобус опоздаем!

Вскочил, как ужаленный. Кинулся к одежде, к сложенному с вечера рюкзаку. Поели на скорую руку, с рыбной ловлей решили не связываться, уложили в рюкзак еду, и сопровождаемые напутствиями матери, чтобы не очень-то жарились на солнце, отправились к автобусной остановке.

Прощай город, прощайте все, мы уезжаем навсегда!

Автобус катил к лесу, и, казалось, он, не затормозив ни разу, врежется с ходу в самую чашу, там застынет в тиши и сумраке.

Внезапно выскочила из незамеченной прежде ложины деревенька. Возле сельмага автобус остановился.

Сева и Димка спрыгнули с подножки на землю. Пусто было на деревенской улице. В пыльной лебедь, у обочины дороги, мирно спал теленок. Когда эти двое проходили мимо, он поднял голову и повел сиреневым глазом. Воздух возле теленка был пропитан запахом молока, навоза и теплого коровьего бока.

Они обогнали стайку деревенских ребят. Пацаны шагали дружно, тяжелые струйки пыли вылетали фонтанчиками из-под их пяток и шлепались, оставляя неглубокие ямки. Мальчики по команде повернули головы и стали разглядывать городских людей. Неизвестно чему засмеялись и побежали прочь.

У последнего дома, с неогороженным, открытым для путников двором, Сева остановился. Среди курчавой, на вершок от земли травки висала тропинка. Они свернули на нее. Тропинка повела в сторону крыльца, где, заслонившись рукою от солнца, стояла и смотрела на них молодая женщина в выгоревшей косынке и линялом ситцевом платье. Стояла неподвижно, смотрела на незнакомцев, будто ждала их всю жизнь. Сева поздоровался и попросил напиток. Женщина усмехнулась и ушла в дом. Они сели прямо на траву, хотя рядом стояла приземистая скамейка, так прочно вбитая в землю, что, казалось, простоит до скончания века. Поодаль находилась телега, полная высушенных, взбитых ветром трав. Вокруг телеги ходила лошадь, то погружала голову до самых глаз в сено, то отдергивала ее, жевала задумчиво. С мягких бархатных губ свисали стебли и один за другим падали наземь.

Появилась женщина с краюхой черного хлеба и кувшином молока. Поставила на скамейку кувшин, из оттопыренного кармана достала желтую эмалированную кружку с отбитым краем, стала лить в нее молоко.

Димка смотрел на Севу сияющими глазами. Он пил молоко и ел теплый хлеб, а Сева разговаривал с присевшей на скамейку женщиной. Дима не слушал, о чем они говорят. Он вытер молочные усы, отщипнул мякиш и стал манить рыжего петуха.

Петух посмотрел на Димку, на хлеб поочередно каждым глазом, затоптался на месте. Димка бросил ему кусочек. Петух в панике отскочил, распустил для равновесия крылья, потом воровато приблизился, клюнул. Есть не стал, заголосил, заохал. Набежали куры, склевали крошки, а петух высокомерно посмотрел на мальчика и зашагал прочь.

Через некоторое время они снова двигались по дороге, местами накатанной настолько, что земля казалась блестящей, будто ее нарочно отшлифовали. Дорога устремилась под горку, и первые деревья – авангард леса – с поклонами встретили их, а травы поднялись высоко и спрятали сузившиеся колеи.

В одном месте они остановились и слушали журчание невидимого ручья. Снова двинулись в путь и скоро вышли на берег неширокой реки. Местами она разливалась и была настолько мелкой, что ее, не задумываясь, можно было перейти вброд, местами образовывала затоны. В них медленно кружила темная вода.

Димка сбросил одежду и остался в черных трусах. Не оглянувшись на брата, ринулся вперед, держа как можно выше над головой штаны и рубашку.

Сева смотрел ему вслед, смотрел на его стриженный под машинку затылок, видел нежную шею, ямку в том месте, куда после стрижки отрастают мысиком волосы. Видел его угловатые плечи, острые, топориками, лопатки. Такая незащищенность была в облике его задиристого неугомонного брата, что Сева крепко зажмурился, прогоняя неожиданно подступившие при воспоминании о другом мальчике слезы.

Впереди были уже не перелески, не робкие попытки нескольких деревьев образовывать для путников пятно тени, впереди был замерший в ожидании осени лес, и они вошли в него. Тихо было в лесу. Сквозь кроны пробивались лучи солнца, и по ним, как по золотым трубам, поднимались, клубились испарения. Чудилось, еще минута, и каждую пылинку можно будет различить невооруженным глазом. Ветер, царствующий наверху, не дремал, и лучи вынуждены были медленно кружить, расходиться широкими веерами света, собираться в столбы, толщиной под стать стволам, которые только и оставались неподвижными в этом постоянном движении.

Казалось, лесу не будет конца, но пройдя еще сотню шагов, они очутились на берегу озера. Невинно и просто оно смотрело на мир, с наивной готовностью отражало его: облако – так облако, зыбко летящая белая бабочка – бабочку.

Димка снял кеды, хохоча и визжа скользнул вниз по сыпучей глине обрыва. Забирая ногами песок, он пробежал оставшееся до воды расстояние, влетел в озеро и пошел по озеру медленные круги, всколыхнулось, задвигалось очарованное зеркало.

Димка обернулся, стал размахивать сброшенной на бегу футболкой, сигналил Севе, чтобы он поскорее спускался вниз.

... Они купались, они зарывались в песок. Время летело. После полудня по озеру пошла рябь, оно запыхало, рассыпались по его поверхности сотни и сотни ослепительных солнц. Невозможно было смотреть на пляску света, начавшуюся на воде.

– Вот бы тут жить! – горел ненасытный Димка. – Вот было бы-ы! Смотри, палатка, да? Утром встал, наловил рыбы...

– Мог бы и сегодня наловить, – поддразнил его Сева.

– Сам проспал, а теперь на меня! А мне и без рыбы хорошо.

– И мне хорошо, – миролюбиво ответил Сева. – Вставай, идем купаться.

Они полезли в воду и долго плескались, хохоча и брызгаясь. Брызги светлыми живыми шариками взлетали в небо и шлепались обратно в озеро, создавая множество беспорядочных кругов, набегавших один на другой.

Потом Сева стал невольно следить за уходящим к дальним вершинам леса солнцем. Грусть неизбежного расставания с мечтой овладела им. Он почувствовал, что город зовет, притягивает, берedit душу.

День угасал. Озеро застыло. Потянуло прохладой.

К броду спустились в тот самый час, когда солнце из огненного светила превратилось в дряблый, изъеденный снизу краем земли, малиновый шар.

Вода в реке сделалась оловянной, и только у самого края противоположного берега трепетали на волне нежные багряные отблески.

– Бр-р-р! – сказал Димка и стал раздеваться с видом мученика. Горела сожженная за день спина.

– Что? – засмеялся Сева, – скапустился?

– Ничего не скапустился. Просто холодно на воду смотреть.

Они перешли речку. Только теперь впереди шел Сева, а Димка сзади, страшно удивленный. Вода оказалась парной, теплой. Даже когда она доставала ему до подмышек, он радовался ее прикосновениям, она врачевала, ласкала вконец разбитое тело.

На том месте, где обычно останавливался автобус, было пусто. Проходивший мимо старик сказал, что машин из города больше не будет. Краем глаза Сева увидел вытянувшуюся Димкину мордашку, но стоило ему повернуться, как тот овладел собой, посерьезнел, стал озабоченным, деловитым.

– Что ж, – подавляя желание привалиться к чуть заметно пахнущему бензином сидению автобуса, – сказал Димка, – придется идти пешком.

– Двадцать пять километров?

– А что делать? Иначе мама сойдет с ума, – повторил Димка, еще не до конца понимая серьезность их положения.

Когда они вышли на шоссе, уже стемнело. Не останавливаясь, шагали по асфальту. Он один светлел у них под ногами, а по сторонам расстилались уснувшие поля, пустынные, полные тайн.

Неожиданно позади них возникло зарево, колеблющийся, неверный свет. Он исчезал, появлялся вновь, с каждым разом все более яркий. Наконец тяжелый грузовик поравнялся с ними, и поднятая над головой рука Севы остановила его.

Они забрались в кузов. Машина рванула, они плюхнулись на какие-то мягкие мешки, устроили из них подобие кресел. Успокоились, обернулись назад, но там уже ничего интересного не было. Пустынная дорога, удаляющиеся огоньки деревни да кромка леса на выветленной стороне заката.

ПОЭЗИЯ

Жизнь – лишь лист бумаги белой...

ФРАНЧЕСКА

И я пожалел, что прошли времена
Паоло и Франчески...

А. Блок



**Геннадий
МИХАЙЛОВ**

Родился в 1941 году в городе Смоленске. Окончил Смоленский педагогический институт исторический факультет. С 1967 года живет и работает в Ташкенте, где окончил юридический факультет НУУз. Автор двух сборников «Облака» и «Недопеченая песня».

Франческа – до боли знакомое имя...
Не вами ли грезил когда-то Блок?
Какими судьбами Вы здесь, а не в Риме,
И чем Вас пленил суматошный Восток?

Франческа, Франческа... Я вижу гондолу,
Венецию, дождей и Ваше лицо,
Дворец правосудья, капитель, колонны
И дом у канала, резное крыльцо.

Франческа, Франческа... Забытая фреска
Вновь воскресила память о Вас.
О, как мне хотелось бы хоть на мгновенье
Встретиться с Вами здесь и сейчас.

БЕЛЫЙ ЛИСТ БУМАГИ

И объяли меня воды
До глубины души моей.

Тишина меня объяла
до глубин души.
Жизнь – лишь лист бумаги белой, –
сядь, перепиши.
Без помарок, без подчисток,
светлою строкой.
Чтобы Ангел прослезился
голубой слезой,
Чтобы в небо взвилась стая
белых лебедей,
Улетая, улетая
к Родине своей.
Чтобы все начать сначала,
ты начни с души.
Жизнь – лишь белый лист бумаги, –
сядь, перепиши.

НИ СОЖАЛЕНИЯ, НИ ОБИДЫ

Из года в год одно и то же:
Работа – дом, работа – дом.
И жизнь моя тихонько тает,
Как снег февральский под окном.

Что было, то уже известно,
Что будет, знать мне не дано.
Из пряди дней судьбу сплетает
Волшебное веретено.

Узор причудливый, неровный,
То однотонный, то цветной,
То полон радужного света,
А то чернильной темнотой,

И я гляжу, тая волнение,
На нити призрачную прядь,
Скрывая страх и изумление,
Что так легко ее прервать.

О, если б знать, осталось сколько
У пряжи пряжи для меня,
Быть может, кончится работа
На склоне завтрашнего дня?

И не оконченной до срока
Останется одна строка.
Душа моя, вздохнув глубоко,
Уйдет куда-то в облака.

Ни сожаления, ни обиды
Не испытаю в этот час.
Что можно было – я увидел,
Кого любил – люблю сейчас.

Я перепробовал все роли
На сцене жизни до одной
И в этот миг хочу остаться,
Хотя бы раз, самим собой.

И принимая все, что будет,
Молю, чтоб кто-нибудь сказал:
«Благословляя все, что было,
Он лучшей доли не искал».

БУДУ РЯДОМ

Лепестком лотоса,
Южным ветром,
Безоблачным небом
Откроюсь тебе:
Всегда буду рядом –
В жизни и в песне –
Мягким знаком в твоей судьбе.

Нас сводит и разводит жизнь,
И тут хоть падай, хоть держись
За воздух, за судьбу, за рок,
За крест, удавку, поводок,

Калейдоскоп, мельканье лиц.
И вдруг лицом о землю ниц.
Тебе не выйти из себя,
В запасе нет и доли дня.

И в этот миг, себя кляня,
Судьба, ты вспомнишь про меня,
И в эти жуткие часы
Ты мне шепнешь: «Душа, прости...»

Прости за мой безумный бег.
За неудавшийся побег,
За сутолоку, пошлость дня,
За преданных прости меня.

Прости, что я не устоял
И что тогда не поддержал.
Не предал, но не зашил,
Что не всегда хватало сил,

Что был не искренен порой,
Что преклонялся пред толпой,
За все, за все прости меня –
Я ухожу.

ТРИ ПОПУТЧИЦЫ

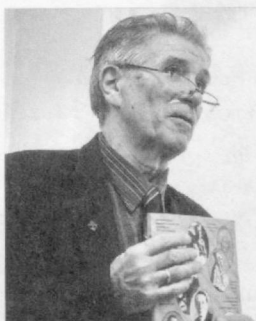
Сомнения, волнения, тревоги –
Вот три моих попутчицы в дороге.

Расстаться с ними я никак не мог,
Как только мог, я их всегда берег.

Года прошли, и что теперь в итоге?
Где все они? Ушли с моей дороги.

И что осталось от моих тревог?
Разбитые ступни и посох,
Да пара стоптанных сапог.

караван истории



Борис ГОЛЕНДЕР

Родился в 1947 г. в г. Ташкенте. В 1972 г. окончил химический факультет Ташкентского государственного университета. Автор более 60 научных работ и 5 изобретений в области химии и технологии полимеров. Литературной работой занимается с 1961 г. Научный сотрудник литературного музея С. Есенина в г. Ташкенте. Автор более 100 произведений, в том числе, повести «Три дня в морозном январе», цикла биографий «Мои господа ташкентцы», книг «Окно в прошлое» (2002, Москва), «Мои господа ташкентцы. История города в биографиях его знаменитых граждан». Автор сценариев шести документальных фильмов. Редактор художественных, общественно-политических и учебных изданий.

Августейший изгнанник

документальная повесть в страницах из дневника
великого князя Николая Константиновича

Его звали Николай Константинович... А фамилию произносить было необязательно, ибо он был великим князем, что само по себе означало в России принца крови, члена семьи, три столетия правившей государством...

Оренбург. Царские апартаменты при вокзале. 1 июля 1873 года.

Вновь и вновь я доверяю бумаге свои дневниковые записи – будто и не было раньше сожженных тетрадок, когда я настойчиво уничтожал свидетельства своей грустной юности. В те времена записи эти могли мне навредить, а сейчас?..

Толпы народа меня везде встречают как героя. Депутации от сословий, торжественные банкеты с многочисленными тостами за доблесть российского воинства и храбрость членов императорской фамилии, конечно, мне льстят, но уже порядком надоели.

Вот возвращаюсь из сдавшейся Хивы в столицу, где ждет меня неповторимая Фанни. Еще недавно я мчался в обратном направлении – в Азию, на театр военных действий, весь в радужных надеждах стать истинным героем посреди жарких пустынь. Хотел обрести славу боевого офицера с заветным белым крестиком на груди. Может быть, тогда великосветская толпа перестанет судачить обо мне, оставит нас с Фанни в покое, а дядя-император, наконец, даст согласие на женитьбу! Странно, почему я всегда, даже мысленно, зову эту женщину вымышленным именем – Фанни, именем героини из французской пьесы, которую с успехом играют в Михайловском театре уже несколько лет? По-настоящему ее зовут Хэрриэт Кларисима, или, как говорят в Америке, – Хэтти. И фамилия у нее до замужества была другая – Эйли. А когда Фанни металась между Лондоном и Парижем, все звали ее мисс Блэкфорд, пока она не выбрала себе звучный театральный псевдоним.

Фанни моя, Фанни! Ну почему ты не родилась принцессой? Американское нелестное прошлое, долгий путь в Европу, твоя бурная светская жизнь в Париже, о которой клеветают злые языки, – все это поставило в глазах света непреодолимый барьер между мною и тобой. Папа и мама слышать не хотят о «какой-то там авантюристке». Ну как же, старший сын главного министра России – и куртизанка! А мне все равно, я не за один день, а за два года счастья и ссор убедился, что мы созданы друг для друга. Что толку в уме, карьере, отличиях и во всех благах мира, если у вас нет возлюбленной? А если она есть, то можно прожить и без благ!

Хивинская война не сделала меня другим (мама-то думала, что сделает!). Я командовал авангардом (а это 600 человек), не раз с холодком в груди ходил в атаку и видел не только храбрость моих солдат и офицеров, но доблесть и благородство, с которыми защищался неприятель. Не получилась у нас легкая, как сначала думали, прогулка по Кызылкуму. Я закалился в походе, стал увереннее в себе и, наверное, еще упрямее. И что же? Несмотря на все мои усилия, желанная слава обошла меня стороной. Хитрый мой двоюродный братец Евгений получил-таки орден святого Георгия. Видите ли, в пылу боя его чуть не зарубил какой-то туркмен-йомуд¹. Никто того не видел, как герцог Лейхтенбергский был в ближнем сражении и подвергал свою драгоценную жизнь смертельной опасности. Все это красочно расписал вольнопер Громов, ташкентский купец и известный враль, будто бы вызволивший Евгения из опасной переделки. Так удалось им выторговать у Константина Петровича фон Кауфмана высокие награды. А мне достался лишь «Владимир с мечами» да сабля «За храбрость».

Зато каков край! Чудо! Даже сам смертельно опасный безводный Кызылкум, да и желтая широченная Амударья, преградившая нам путь. Или люди – уральцы-казаки и, скажем, пестрая конница из местных джигитов-добровольцев – незабываемы. Истинно прекрасное место на Земле! Забрать бы мою Фанни, да сюда, в неизведанное... Пусть она и избалована ресторациями Петербурга и Вены, все равно, Туркестан лучше затхлых столичных гостиных!

Решено! Оставим высший свет с носом. Настоящие патриоты меня поймут и, может быть, еще лучше узнают и полюбят. Дядя-император – ни рыба, ни мясо. Нет у него решительности необходимой государю. Вот у Его Императорского Величества Николая Павловича была решительность, а у дяди – нет! Папа все делает за него. Поэтому только он достоин и должен править Россией как дофин – перворожденный в семье настоящего самодержца, не то, что нынешний царь, отпрыск нашего дедушки, когда тот был всего лишь гвардейцем, до поры до времени и не подозревавшим о своей будущей великой судьбе. Ну а за царственным отцом и я – Николай Константинович – стану российским императором, вторым Николаем...

Берег Амударьи у Чарджуй. 4 августа 1879 года.

Высокостепенный Эмир!

Искренне сожалею, что обстоятельства лишают меня возможности иметь удовольствие лично видеть Ваше Высокостепенство.

Посылаю к Вам графа Ростовцева и сопутствующих мне ученых засвидетельствовать Вам мое уважение и благодарность за радушный прием на границе Бухарского ханства. Цель моей поездки – исследовать направление железной дороги, которая со временем соединит Петербург и Москву с Ташкентом и Самаркандом, а также и с Бухарой, столицей Вашего царства, если на то последует согласие Вашего Высокостепенства.

Николай.

На всякий случай переписываю послание к эмиру в дневник – вдруг не попадет в руки сиятельного адресата. Чуть не поставил в подписи – «Николай Второй». Впрочем, какой я теперь «Николай Второй»? Еще неизвестно, как примет письмо опального российского принца и посланную мной делегацию «высокостепенный эмир» Музаффар. Правда, он сильно обижен на Россию, десяток лет тому назад русские разбили его войска под Ирджаром, Самаркандом и Зерабулаком, и тогда Бухара потеряла свою самостоятельность. Но говорят, что обиженный обиженного легче поймет! Я ведь тоже обиженный, право сказать, настоящий изгой, обвинен во всех смертных грехах, удален от императорского двора, не имею права носить заслуженные мной ордена и мундир гвардейца. При этом издевающийся надо мной дядя-император регулярно присылает ко мне купленные врачебные консилиумы, и угодливые эскулапы охотно в очередной раз объявляют меня повредившимся в уме. Это для того, чтобы оправдать в глазах людей вздорную историю с пропажей в Мраморном дворце каких-то бриллиантовых побрякушек, которая послужила основанием для моего незаконного ареста. Так они решили наказать меня за желание переменить императора, которое я и не скрывал. Они придумали, что я выломал из оклада семейной иконы несколько ценных камней и приказал адъютанту заложить их тут же в

¹ Йомуды – один из главных туркменских родов. Исторический регион расселения – южная часть Балканского вельята Туркменистана, около реки Атрек и в сопредельных местностях Ирана, между Атреком и Гюргенем, а также на севере, в Дашогузском вельяте. Йомуды разделялись на оседлых, полукочевых и кочевых.

ломбарде. Будто бы все это я проделал для Фанни. Словно никому неизвестно, что в России великому князю всегда открыт сколь угодно большой кредит. Да у меня в письменном столе лежало в десять раз больше денег, чем могли стоить те камни! А моя коллекция картин и древностей, что я упорно собирал с юных лет? Она, что же, ничего не стоит? Уж я, если понадобилось, нашел бы для Фанни все-все без глупейших попользований. Это граф Шувалов с Треповым получили приказ примерно приструнить меня за мою уверенность, что корона Российской империи должна быть у Константиновичей.

О Фанни, Фанни, где ты сейчас? Я знаю, на тебя спустили всех собак, и, если бы не помощь американских дипломатов, не сносить бы тебе головы! Спаслась, покинула любимую тобой Россию, но бабий век короткий – чем ты живешь в своей европейской дали? Верный мой Савельич, несмотря на неусыпный надзор цербера-графа Ростовцева, достал для меня аккуратный томик «*Le Roman d'une americaine en Russie*», изданный в Брюсселе и подписанный «*Fanny Lear*». Да, это писала действительно ты, это не подделка какая-нибудь. Только ты, умница, могла так честно выплеснуть в лицо всему свету правду о странной России и о странной нашей любви, так трагически закончившейся. Мне сказали, что взбешенный дядя-император приказал своим шпионам в Европе скупать и уничтожать все найденные экземпляры твоей книжки. Кроме того, жандармы отправили за границу провокатора, корнета Савина, который некоторое время действительно служил в моем полку. Он обязан, где только можно, распространять ложь обо мне, мол, я террорист, ограбивший собственных родителей ради помощи кучке заговорщиков-социалистов, мечтающих свергнуть императора.

Но если ты, моя неподражаемая Фанни, можешь спокойно подписывать написанное тобой, то мое имя в российской печати упоминать вообще запрещено специальным указом правительства. Я уже сочинил и даже опубликовал в Самаре краткий, но серьезный научный труд по ирригации «Аму и Узбой», чем очень горжусь, посвятил книгу своему отцу как главе императорского Русского географического общества, но имени автора в сей книге нет! Да что там «Аму и Узбой»? Я после многолетних изысканий составил огромный, на 250 страниц, проект железнодорожного пути от Оренбурга до Ташкента, за подобные труды в Европе избирают в академики, но от Александра Владимировича Адлерберга, Министра Двора, ни слуху, ни духу. Как будто они не знают, что для оживления Туркестанского края позарез нужна железная дорога!

После того, как нас разлучили, содержали меня большей частью под стражей. Ты ведь знаешь мой норов, одной посуды я перебил на целое состояние. Теперь неотлучно при мне находится пристав-наблюдатель, сейчас мой цербер – граф Ростовцев, его назначило правительство. Где я только не побывал за эти годы, сидел под замком в Крыму, обманывал (и очень ловко!) тюремщиков на Украине, оказался в Оренбурге. Там генерал-адъютант Крыжановский разрешил несколько ослабить мои путы – и я его, надо признаться, сильно подвел. Женился я, Фанни! Ты же знаешь, я без женщины никак не могу, такова моя конституция. Да и надежды у меня не оставалось никакой на воссоединение с тобой. Что мне оставалось делать? Вот я и выбрал другую: Надежду. Она дочь оренбургского офицера Александра Дрейера, молодая, красивая, умная, а главное, имеет власть над моими буйствами. Прямо как Екатерина Алексеевна над Петром Великим. Но, оказывается, жениться мне категорически запрещено! Хотя я при венчании назвался вымышленным именем полковника Волынского, церберы тут же прознали про то, меня насильно разлучили с женой, скрутили и указом Священного Синода расторгли мой законный брак. Затем меня перевели в Самару. Хорошо, хоть не лишили научных занятий. Теперь я мотаюсь по Туркестану с целой компанией ученых мужей, мы изучаем здешние пустыни и возможности проведения железнодорожных путей. Прекрасные люди подобрались в нашей самарской экспедиции. Взять, к примеру, отставного штабс-капитана Николая Каразина. Вот рисовальщик, так рисовальщик! Пусть некоторые и не доверяют моему коллекционерскому азарту, но я кое-что смыслю в искусстве. Редко можно встретить такого даровитого художника как Николай Николаевич. А каковы его застольные устные рассказы! Или взять наших профессоров – казанца Сорокина и геолога Мушкетова, от ежедневного общения с ними, мне кажется, я стал на голову выше...

Делю с ними все тяготы и трудности путешествия по дикой Азии. Трудности, надо сказать, немалые. Вчера туркмены-текинцы¹ чуть не перестреляли всю нашу экспедицию.

¹ Текинцы (теке) – одна из крупнейших племенных групп в составе туркменского народа. Вошли в историю как храбрые воины и искусные наездники. Исторический регион расселения – юг и центр Туркмении.

Эти разбойники не признают никаких властей и грабят всех подряд. Мы сплавились на хивинском каюке по Амударье от Термеза, как вдруг нас заметили с левого берега текинцы и открыли по нам бешеный огонь. Пули свистели вокруг, и мы стали отвечать им их же монетой. Но профессора – плохие стрелки, да и граф Ростовцев гораздо только языком молот. Если бы не наш художник и я, отменные ружейные охотники, лежать бы нам всем на дне Амударьи! Ан – нет, повалились разбойничьи бараньи шапки-тельпеки вместе с владельцами в пески, и мы ушли от погони. Слава Богу, обошлось!

Ташкент. Дом в Татарской слободе. 19 июня 1881 года.

Всеми тарантасах, запряженных почтовыми лошадьми, мы прибыли, наконец, в столицу Туркестанского края, куда усил меня Сашка Медведь. С тех пор, как я был здесь проездом несколько лет тому назад, город изменился к лучшему. Разрослась новая европейская часть. Аккуратные прямоугольные кварталы заняли уже приличное пространство на востоке от желтых полуразрушенных стен азиатского Ташкента. Построено несколько изрядных сооружений, есть и церковь в самом центре. Впрочем, европейская часть Ташкента совсем невелика, ее можно пройти из конца в конец за полчаса.

Плохо только, что ярым-падишах Константин Петрович, мой начальник по Хивинскому походу, смертельно болен.. Генерал-адъютанта хватил апоплексический удар при известии об убийстве императора. Фон Кауфман с весны лежит в апартаментах Белого Дома парализованный, не может слова произнести. Все за него решает исправляющий должность туркестанского генерал-губернатора Герасим Колпаковский. Толковый, но из простых. Он обязан в отношении меня в точности следовать букве секретной жандармской инструкции, по которой ко мне должно относиться не как к члену царствующей фамилии и ветерану достопамятной Хивинской кампании, а исключительно как к частному лицу, сосланному в Туркестан навечно. Нам с Надеждой Александровной воспрещено всякое знакомство с влиятельными людьми края. Ей в Оренбурге запретили даже с отцом и матерью повидаться, а к дверям моих апартаментов при оренбургском вокзале напуганный генерал Крыжановский выставил часовых, чтобы я, не дай Бог, куда-нибудь не вышел. И так по всему пути следования! Гулять мне дозволено лишь в городской черте Ташкента, а в случае какого-либо неповиновения генерал может меня и арестовать. Черт возьми, хорошенькое отношение к принцу, имеющему право стать императором России!

Тотчас по прибытии отправился в старый город. Над желтыми, кое-где поросшими травой, плоскими крышами домов местных обывателей царят купола мечетей с невысокими башенками минаретов. На перекрестках в крохотных чайных сидят старики и при виде нас делают «салам», проводя ладонями вдоль своих белых бород. Над всем этим несколько раз в день разносятся тягучие слова призыва на регулярную молитву – «азан». Выкрикиваемые нараспев арабские слова азана не лишены некоторой приятности, они повисают заунывной мелодией над всем старым городом и даже прекращают ненадолго постоянную суету главного центрального рынка, который здесь все называют базаром Чорсу.

Толпы ташкентцев на рынке непрерывно галдят и покупают, покупают и галдят. Если ты не торгуешься, как последний сквалыга, тебя здесь не уважают. Из-за множества лошадей, верблюдов и ослов с большим трудом пробираешься по узким улочкам базара, которые кое-где крыты циновками, положенными на тонкие жерди перекинутые с плоских крыш поперек проходов. Все это замешано на едком дыме из чайхан и тысячах разнообразных запахов. Похоже на настоящее вавилонское столпотворение! Но люди все доброжелательны, многие, хоть и с грехом пополам, говорят по-русски. Я купил замечательный чилим – так тут называют кальян. Он медный, покрыт чеканкой и со вкусом украшен крупными кабошонами местной зеленоватой бирюзы. Вот и есть уже первый экземпляр моей будущей туркестанской коллекции!

У меня, кроме Нади и сына, десять человек прислуги, не считая охранников. Поэтому ехали в Ташкент целым эшелонном из семи тарантасов. По приезде поселили нас в татарской слободке на берегу многоводного, быстрого и довольно широкого канала между внушительной русской крепостью и остатками старинной оборонительной городской стены. Дом небольшой – полуевропейский, полуазиатский. Построен из сырцового кирпича и похож сверху на крепостной бастион – наружу глядят всего несколько окон с полотняными маркизами, а внутрь обращены по всему периметру двора широкие веранды на столбах, здесь эти веранды зовут айванами. Айваны полностью деревянные, потолки расписные, поддерживающие их столбы резные, и смотрят те айваны на маленький садик с плодовыми деревьями и несколькими клумбами цветов. Красота, но очень жарко.

Ночью в комнатах спать просто невозможно – перебрались во двор, под лозы виноградника. Буду просить власти разрешить мне переезд в сельскую местность, поближе к горам, которые ясно видны на востоке.

Дорога в Ташкент через Омск не близкая, я запасаюсь соответствующими книгами и теперь знаю, что здешняя многоводная река Чирчик, стекающая со снежных гор Тянь-Шаня, обильно снабжает эту местность прекрасной водой. Некоторые каналы устроены еще в древности, даже один из багдадских халифов тысячу лет тому назад пожаловал крупную сумму для ремонта ташкентской ирригации. Но напитать весь оазис водой пока не удалось. Вот, где можно применить на практике мою страсть проводить каналы! Действительно, в самом Ташкенте воды вдоволь, вдоль каждой улицы журчат веселые арыки, много зелени, правда, очень пыльной, а новый город производит впечатление настоящего парка, будто дорогие сердцу аллеи Павловска перекочевали в сердце Азии. Но на подъезде к городу я видел много земли, пустующей из-за отсутствия орошения.

Что ожидает меня в этом краю, который за последние годы я успел так полюбить? Медленное угасание вдали от цивилизации, или бурная деятельность во благо людей? Бог весть!

Ташкент. Дом в Татарской слободе. 26 июня 1882 года.

Всех взбудоражило известие о странной смерти генерала Скобелева. Здесь, в Ташкенте, память о Михаиле Дмитриевиче особенно свежа. Ташкентцы до сих пор рассказывают о том, как он упустил шахрисябзских беков, о его скандальных дуэлях в Чиназе, когда рассерженный фон Кауфман, не разбирая, кто прав, кто виноват, приказал отправить строптивого штаб-ротмистра Скобелева обратно в Петербург. Во время Хивинского похода Скобелев стал уже подполковником Генерального штаба при кавказском отряде, шедшем к Хиве через Мангышлак. Я сам помню, как сурово отчитывал сорви-голову Михаила Дмитриевича генерал фон Кауфман в Хиве, Скобелев со своим авангардом браво штурмовал без приказа северные ворота хивинской крепостной стены, а уже шли мирные переговоры с молодым ханом. Были убитые и раненые с обеих сторон... Но больше всего говорят в Ташкенте о Кокандской войне. Тогда Скобелев фактически спас жизнь Худояр-хану и целый год воевал с мятежниками, получив за это второй крест святого Георгия и звание военного губернатора новой туркестанской области – Ферганской. На войну он ушел прямо из Нового Маргилана, возводимой им столицы области. А меня воевать с турками тогда не пустили, вместо «повредившегося в уме» боевого офицера, командира Волынского полка, за царя и отечество проливав кровь мой младший брат Костя, молоденький мичман. Он, возможно, мог бы что-то поведать мне о геройстве генерала Скобелева на Дунае, у Плевны и Шипки-Шейново, но родичей к «повредившемуся в уме» принцу, увы, не допускают по повелению то одного, то другого Императорского Величества... Довольствуюсь тем, что пишут газеты, присылаемые с опозданием на дальнюю окраину. Не вышло с Балканами, так хоть бы взяли разжалованного полковника в Ахал-теке! Как мне хотелось участвовать в скобелевском походе на текинцев! Думаю, с моим знанием пустынь, военного дела и личным счетом к разбойникам песков я бы очень пригодился в этой трудной военной кампании. Но судьба распорядилась иначе. Вот теперь – известие о такой нелепой смерти заслуженного героя. Господи, за что так жестоко наказываешь Ты Россию?

Крепость Новый Чиназ. 16 июля 1885 года.

Наконец-то я приехал на Сырдарью охотиться на тигра! Не спросясь у ишеек генерал-губернатора, мы с главным охотником Ташкента, Евгением Тимофеевичем Смирновым, махнули в чиназскиетугай за острыми ощущениями. Еще три года тому назад на Садыр-куле, у большого бугра на выючной тропе из торгового кишлака Ак-Курган в селение Эски-Ташкент, Смирнов выслеживал опасного тигра, который, то ли по злему своему характеру, то ли из-за ранения, мешавшего ему охотиться на обычную дичь, стал нападать на людей и съел даже бай-курганского старосту. По просьбе местных испуганных людей пришлось вызывать из Ташкента служивых 12-го туркестанского линейного батальона и человек тридцать добровольцев – опытных охотников-офицеров. О том, как убили тогда тигра-людоеда на Чиназской дороге, Евгений Смирнов подробно поведал в шестом номере столичного журнала «Природа и охота» за 1883 год. А мне он рассказывал, что местные охотники с их ненадежным огнестрельным оружием до прихода русских применяли оригинальный старинный спо-

соб охоты на тигра из специальных юрт. Такая юрта, предварительно собранная из прочных деревянных реек, без дверей, с чучелом в халате наверху, должна вмещать шесть-восемь человек. Тигра окружали многочисленные загонщики, заставляли его залечь, а охотники, находясь внутри юрты и перенося ее на руках, близко подходили к зверю и стреляли. Успех охоты, естественно, зависел от прочности и устойчивости юрты, так как сильный зверь при прыжке «на огонь» мог ее опрокинуть. А туранский тигр – очень сильный хищник, он запросто может перемахнуть высокий дувал, держа в зубах добычу, ударом лапы убивает корову, а в длину прыгает на пятнадцать человеческих шагов. Размеры чучела убитого в Хумсане в 1879 году хищника, что стоит на даче сырдарьинского военного губернатора у Дархана, показывают наглядно, почему многие члены нашего Туркестанского охотничьего общества, созданного Евгением Тимофеевичем, покалечены при охоте на тигров, так сказать, приобщены невольно к числу «тигриных крестников». Но, конечно, мы со Смирновым приехали в Чиназ не для того, чтобы воевать с царем тугаев разными местными допотопными способами. Ночью затаимся в засадной яме или, если позволит местность, сделаем замаскированный помост на дереве. Только деревья здесь уж больно тонкие! Ну и привяжем рядом приманку – живого козленка. Готовлю ружье – оно никак не должно меня подвести.

Дача в селении Искандер близ Ташкента. 28 мая 1889 года.

Вижу – высоко в утреннем небе над моим деревянным домом кружит горный орел. Мне остается только следить за этой вольной птицей сквозь листву виноградника, проснувшись рано утром на своей любимой тахте посреди сада.

Что-то давно я не делал записей в дневнике – видно, невольно числил эти записи неотправленными письмами к Фанни. Бедная Фанни! Три года тому назад «услужливые» церберы подсунили мне французскую газету с сообщением, что она умерла где-то в Ницце, покинутая всеми. Но я-то никогда не забывал ее. Вот только судьба лишила меня малейшей возможности хоть на минуту увидеть и обнять эту чудную женщину! День нашей встречи – 22 февраля – можно сказать, главный праздник в моей жизни. Все эти годы я чтил священную для меня и для Фанни дату и превратил наш день в некий ритуал. Никто не знает, только Бог тому свидетель, как я оплакиваю несравненную Фанни!

Скоро мне стукнет сорок... Половина этого срока пролетела в неволе. А ведь был я когда-то командиром полка императорской гвардии, сватался к немецкой принцессе, пировал в роскошных дворцах, слыл завсегдатаем антикваров и картинных галерей Европы. Где все это? Теперь вот шеголяю в партикулярном платье на дальней окраине империи, держу неизбежное зло на дядю-императора, царствие ему небесное, да и его преемник, братец Сашка, которого я как-то прилюдно обозвал Медведем, не лучше. Без надзора мне не дают шагу ступить, еле упросил своих тюремщиков перевести меня в любезный моему сердцу Туркестан. И пожаловаться некому, разве что в дневник напишешь об истинном положении дел – и как-то легче становится.

Живу в ташкентских предгорьях Тянь-Шаня под надзором туркестанского генерал-губернатора, недавно назначенного начальником края после смерти Константина Петровича фон Кауфмана немца Розенбаха, а я немцев с детства не терплю! Он тоже меня не жалуется, за выдуманную провинность данной ему властью посадил на целые полгода под домашний арест! Местное общество этого Розенбаха весьма не любит, за глаза его называют «никаким губернатором». Смотришь, в газете вдруг опечатка появляется в официальном сообщении, такая странная, и думаю, не случайная: «его высокопревосходительство генерал-губернатор Разиня ах». Все здесь ожидают, что немца уберут.

Одна радость – я прилежно провожу ирригационные работы. Дело это увлекательное, сугубо топографическое и, отчасти, даже научное. Самый большой мой арык вот-вот начнет действовать на правом берегу Чирчика, длина его пятьдесят верст, и оросить он должен почти десять тысяч десятин. А надобно знать, что по местным мусульманским законам ожививший залежную землю – ее полный хозяин. Мой канал отведен от реки у большого, хорошо заметного отовсюду кургана. Я часто поднимаюсь на него, обозреваю чудные, живописные окрестности и благословляю всех, кто в будущем окажется здесь. Пусть над ними всегда будет милость Господня!

Старики рассказывают, что в этих местах в седой древности бывал сам Александр Великий. Македонского героя они зовут «двурогий Искандер». Вот и готово название

для канала и основанного мной селения. Неплохо звучит – Искандер! С одной стороны, вроде бы российское императорское имя в здешнем произношении, а с другой стороны, Александр – да не тот! Родила мне Надежда Александровна второго сына, пусть тоже зовется Александром. А то старший наш отпрыск имеет редкое для императорской семьи имя Артемий. Это я назло всем нарек его в честь злейшего врага самовластья, министра Артемия Вольнского, первого поборника российской конституции во времена матушки императрицы Анны.

Искандер-арык принимает ручьи с безлесных окрестных гор, а это опасно, особенно весной, могут сползти вниз глинистые склоны, здесь говорят «проходит сель», всю нашу работу может уничтожить. Я нанял добровольцев, чтобы сажали на склонах деревья вдоль специально сделанных террас – для укрепления почвы. За каждое посаженное деревце платил я по серебряному целковому с портретом Сашки Медведя, пусть защищает хоть таким способом мой Искандер-арык. Теперь я никакого селя не боюсь! А миндальные деревья разрослись в ущелье Акташ, и эти места постепенно превращаются в чудесный курорт.

Часть оживленных земель я сдал в казну, часть – внаем желающим за очень скромную плату. Появились кое-какие свои деньги – можно теперь не обращаться за каждой мелочью к неусыпно опекающим меня жандармам.

Ташкент. Дворец. 12 сентября 1890 года.

Наконец-то я обрел достойное помещение в Ташкенте! Местная знаменитость – архитектор Вильгельм Гейнцельман – за два года построил мне дворец в самом центре города, напротив Иосифо-Георгиевской церкви. Впрочем, дворец – это сильно сказано, скорее красивый симметричный дом, похожий немного на замок охотника. Этот Гейнцельман очень неплохо переработал (с моей помощью) опубликованный лет двадцать тому назад довольно прятничный проект академика Харламова, предназначенный для здания российского посольства в Японии.

Как когда-то в Питере при устройстве апартаментов для Фанни я тут сам вникал во все тонкости строительного искусства, подгонял проемы стен под размеры моих картин и даже выбирал гастрономические изречения для столовой. «Чару пить – здраву быть», разве плохое присловье?

Дворец кажется совсем небольшим, но в нем целых три этажа. Все парадные комнаты – на втором этаже, а службы – на первом. Мой кабинет с библиотекой невелик, но удачно расположен прямо над парадным входом, а ведет в него оригинальная винтовая лестница из чугуна художественного каслинского литья.

Повернешь от входа направо – тебя встречают залы барочного и венецианского вида с соответствующими картинами и мебелью, повернешь налево – попадаешь в оранжерею с итальянскими мраморными скульптурами. Здесь я иногда никак не могу наглядеться на прекрасную Венеру, изваянную Томмазо Салари прямо с моей возлюбленной. Сама Фанни так красочно поведала в своих записках о том, как тогда в Неаполе, в далеком 1873 году, хитроумный маэстро с помощью гипса делал первоначальную модель – точную копию ее тела! Эта сцена часто оживает передо мною, и меня начинает одолевает смертная тоска...

За оранжереей построены восточные комнаты с редкостными коврами и оружием. Здесь и георгиевская сабля, которой меня наградили за Хивинский поход.

Портреты царственных предков я повесил в восточной анфиладе боковых комнат, ближе к домашней часовне. А коллекцию художественных кальянов и трубок разместил на противоположной стороне дворца, в курительной комнате за резными дверями. Комната сплошь расписана тремя местными азиатскими умельцами в старинных стилях «гирих» и «ислими». Мне все здесь нравится – от изукрашенного потолка до наборного паркета из ценных пород дерева.

В парадной столовой я приказал сложить большой и нарядный камин. А на каждой каминной плитке, если присмотреться, можно различить очертания российского герба. Из бордового зала, украшенного полотнами академиков, хорошо виден ухоженный сад, который окружает весь дворец. В этом саду живущий в Ташкенте племянник бывшего архитектора двора Его Императорского Величества Николая Павловича некий свободный

художник Алексей Бенуа достраивает два просторных флигеля. Во флигелях я задумал поместить зверинцы, один – натуральный, а второй – фигуральный, там будет обитать служба жандармской опеки надо мной.

Итак, я имею теперь достойную резиденцию в Ташкенте. Можно устраивать и свои дальнейшие ирригационные дела. Присмотрел место у Беговатских порогов в Голодной Степи. Это уже будет не простой арык на сравнительно небольшом Чирчике, а настоящий канал на великой реке Средней Азии – на Сырдарье. Правда, нужны на то немалые деньги. Все, что отпускает казна, я потратил на дворец...

Ташкент. Дворец. 15 января 1892 года.

Позавчера телеграф принес печальную весть. Не стало папа. Мне горько сознавать, что я, его старший сын, узнаю об этом, находясь в вечной ссылке на краю империи, и лишен права преклонить колена перед его гробницей в Петропавловском соборе. Он был великим человеком, но ничего не смог сделать для меня, убоился моих крамольных убеждений о передаче императорской власти в его руки. Только один раз за все время моей неволи, в Твери, император разрешил ему увидеться со мной. Ни он, ни я не могли тогда сдержать слез, и папа рассказал мне правду о страшном положении, в которое он попал при моем аресте, когда он был вынужден принять с благодарностью любой издевательский результат придуманного моими тюремщиками дела. Это была несомненная провокация не против меня, а против отца, заговор разных Адлербергов, Шуваловых и других его противников. Ведь папа был «серым кардиналом» эпохи, он, а не кто-то другой, водил рукой так называемого «царя-освободителя» в пресловутой крестьянской реформе, он оснащал российский флот паровыми машинами вместо парусов, он вдохновлял и снаряжал географические экспедиции в полярные и иные страны. Папа все умел! Как самозабвенно играл на скрипке этот важный сановник, председатель Государственного Совета Российской империи, с оркестром знаменитого Иоганна Штрауса! Да, папа все умел! Сашка Медведь терпеть не мог папа! В свое время в Варшаве мой отец, наместник в Царстве Польском, прилюдно назвал присланного ему в помощь неуклюжего крестника свиньей и пригрозил отправить обратно в Петербург. Став императором, мой злопамятный братец этого не забыл и быстренько отрешил моего отца от всех важных государственных должностей. Корабль реформ повернулся тогда в противоположном направлении. Сгинул и лелеемый отцом проект российской конституции. Я хоть и обретаюсь далеко от событий, но хорошо представляю себе всю подноготную происходящего. Через некоторое время папа хватил апоплексический удар. У нас здесь Константин Петрович фон Кауфман в таком же ужасном положении между жизнью и смертью прожил только тринадцать месяцев, а отец лежал парализованным в Павловске несколько лет. Энергичный человек стал беспомощным, к нему не допускали его любимую, но незаконную супругу-балерину, внучку великого Каратыгина, и двух моих сестер, которых, правда, я никогда не видел. Вот тогда, наверное, по-настоящему почувствовал папа, каковы мои мучения в неволе... Оля написала мне из Греции, что папа, пока был здоров, отослал к греческому королевскому двору еще одну нашу сводную сестру – Машу. Она была принята фрейлиной к сестричке Оле, носит какую-то непроницаемую французскую фамилию и, следовательно, – вовсе не дочь балерины Кузнецовой. Ай да папа, ай да молодец! Упокой душу раба Твоего, Господи, великого князя Константина Николаевича, прости грехи его тяжкие, Святый Боже!

Ташкент. Дворец. 26 февраля 1896 года.

Вернулся только что из Белого Дома. У генерал-губернатора собирались уже во второй раз все образованные люди Ташкента. И не для светского раута – для великих дел. На прошлом заседании под Рождество, наконец-то, основано в нашем крае нечто вроде Академии. Господа-востоковеды в высоком собрании выступали один за другим и, надо отдать им должное, очень убедительно доказывали, что науки история и археология требуют непременно образовать общество для систематического изучения края. У нас древностей – хоть отбавляй, куда не ступи – везде следы великих империй, холмы усыпаны древними черепками, а на базарах запросто можно купить античные и куфические монеты, которых, пожалуй, нет и в прославленных европейских музеях. Старинные ковры хра-

нят в своих орнаментах тайны степных народов, а форма чеканных кувшинов, ей-ей, ведет родословную со времен прославленного на Западе и Востоке Искандера Двурогого.

Наш генерал-губернатор, барон Анатолий Борисович Вревский, принял на себя почетное звание Председателя нового общества, а мой старый знакомец Евгений Смирнов сделал в собрании большой доклад о древностях в окрестностях Ташкента. Мы с докладчиком не раз хаживали за фазанами и кабанами, даже охотились на царя тугаев – туранского тигра. Я знал Евгения Тимофеевича не только как азартного охотника, но и как очень неплохого литератора, однако не ожидал, что он так обстоятельно изучил местную старину. Живешь здесь, живешь и как-то забываешь о великой древности этой земли. Скромнен Ташкент, неказист старинный глиняный город, его мечети не блестят на солнце многоцветными изразцами, как в Самарканде, лоск прямых современных проспектов нового города скрывает подлинно мафусаилов возраст Ташкента. Не в меру скромнен он... Вот и нашу академию востоковедов назвали просто – Туркестанский кружок любителей археологии. Сегодня в него вступили и образованные местные мусульмане. Я бы особо отметил полковника Джурабия с сыном Аллакули. Полковник – бывший бек Китаба – принадлежит к очень знатному туркестанскому роду – он как-никак потомок самого Амира Темура. Хотя Скобелев его и не догнал при отступлении шахрисябзцев, обстоятельства все равно сделали его пленником России, по сути – узником, как и меня. Сближает нас и присущий нам собирательский азарт. Бий ревностно разыскивает старинные мусульманские рукописи, составил в Ташкенте солидное собрание исторических и поэтических восточных книг. Первую библиотеку Джурабия, большую и очень ценную, конфисковали как военную добычу во время Шахрисябзской кампании в августе 1870 года и перевезли в Петербург...

Мое же собрание старинных манускриптов и автографов не восточное, а западное. Когда-то в Италии удалось купить несколько пергаментов, в том числе подлинный договор 1413 года между Генуей и Флоренцией на десяти листах. С него и пошла моя коллекция документов. Я ее тщательно разобрал, где возможно, снабдил комментариями. У меня есть грамоты средневековых королей Франции, Итальянских государств и Германии, частные письма времен Французской революции и Наполеона, архив Рейхеля, главного резчика Петербургского монетного двора при Его Императорском Величестве Николае Павловиче. Так что меня приглашают в высокое собрание членов Туркестанского кружка любителей археологии как собирателя древних документов.

Ташкент. Дворец. 11 сентября 1900 года.

Я снова под домашним арестом. Мои церберы никак не унимаются. Впрочем, я перед высочайшим двором, конечно, провинился. Как же – обвенчался с Валерией под моим собственным именем, могу теперь иметь законных, освященных церковью детей, моих наследников, будущих императоров всероссийских...

Грешен я, Господи, и в гордыне своей, и в жизни личной! Еще два десятка лет тому назад Священный Синод развел меня с Надеждой Александровной. Можно сказать, все эти годы она жила со мной в качестве – кого? Ну и что же, что есть дети! Дети получили недавно столь необходимое им потомственное дворянство и фамилию Искандер, по первому моему загородному имению, как и их мать. И это после многолетних хлопот перед третьим уже по счету императором. Обидел меня племянничек Николаша! Артемий и Александр – настоящие Романовы, в них живет дух Петра Великого, матушки Екатерины, Павла Петровича и моего деда, а тут – Искандеры.

Что-то перевернулось внутри меня в эти годы непрерывного унижения. Особенно после той безумной истории в Голодной Степи, когда я взбеленился, как бык на корриде, велел закопать приезжего хлыша-доктора за флирт с Надеждой Александровной по горло в землю на берегу Сырдарьи по обычаю местных ханов. Ее саму выгнал из дома прямо в тугай, хищным зверям на съедение. Не съели ее, слава Богу, дворян спасла! Доктор тоже остался жив, только ухом сдвинулся, что будет ему навечно уроком – на чужой кусок не раскрывай роток! А мне-то каково? Метался по степи, как голодный тигр.

Вот тогда я и встретил Дашу. Ее родители – уральские казаки-старообрядцы Часовитины. Со времен Екатерины Великой соблюдают они строгие свои уставы, уйдя из России в Туркестан. Так получилось, что Даше грозила смерть за некую ошибку юности. Очень понравилась мне Дарья Евсеевна, я взялся ее защитить и забрал к себе. Теперь у нас трое

детей, я их люблю, но наследниками моими они никак не могут стать по причине своего происхождения.

А мне позарез нужен законный наследник! Вот я и обратил внимание на красавицу-гимназистку Валерию, младшую из трех детей Хмельницких. Хмельницкие – старинный шляхетский род. Отец, правда, бросил семью и служит сейчас в Самарканде, но мать Валерии – благороднейшая женщина. Наверное, некий польский дух довлеет над нашей семьей Константиновичей, ведь как любил Польшу папа, когда был наместником в Царстве Польском! Его хотели убить польские мятежники, а он благоволил им и даже назвал польским именем родившегося в Варшаве моего самого младшего брата. Вот и негодяй Громов, доброхот брата Евгения Лейхтенбергского, служивший управляющим у меня в Ташкенте из милости, клеветал, что я будто бы глава заговорщиков-поляков в Туркестане, задумавших свергнуть царя. Ох, и испортили мне нервы жандармы, расследуя выдумки Громова из его многостраничного лживого доноса! Ну да ладно – дело прошлое. Однако верно заметил прохвост Громов – люблю я все польское и, особенно, польских дам. Пишут, что даже Бонапарт имел эту слабость. Так и я на старости лет без памяти влюбился в Валерию Хмельницкую.

Зимой этого года в храме Троицкого поселка под Ташкентом, по дороге на Искандер, мы окончательно решили идти с Валерией под венец, но нас отказались повенчать, священник испугался категорического запрета властей. И тогда я уговорил отца Алексия, что служит в голодностепской поселковой церкви, совершить таинство брака в домовый часовне дворца.

Петербург страшно всполошился. Примчалась в Ташкент комиссия во главе с адмиралом Казнаковым и врачами столичными, они всё немедленно аннулировали, меня арестовали, а законную мою супругу Валерию Валериановну выслали на Кавказ. Хорошо еще, что мне удалось отправить для прислуживания ей своего человека, Маюсуфа Парменачи.

Жду решения собственной судьбы и бешусь. Они с умным видом записали, что мне «не может быть представлена полная свобода». Как будто полная свобода у меня была!

А я прожил на земле более полувека...

Ташкент. Дворец. 13 мая 1909 года.

Как давно я не касался этих страниц! Но вся моя переписка и бумаги прочитываются черберами. Как тут не вспомнить о тайнике с дневником в укромном уголке дворца. Для откровенностей только и остается этот дневник!

Злая воля моего племянника Николаши повлекла меня вновь по империи, опять потянулись под стражей долгие годы в несвободе, унижении и разлуке со всеми, кого я люблю. Лишь в Балаклаве – светлое окно во мраке – допустили ко мне мою сестричку Олю, королеву элинов, а потом – опять ночь, тоска, ненавистное мне бездействие. Лишь вынужденные перемены в управлении империей побудили императора разрешить мне возвратиться в Ташкент.

В свои двадцать лет я когда-то перечислял в дневнике собственные недостатки с тем, чтобы их изжить. Набралось много, и я намеревался с ними бороться. Ничего из этого не вышло. Теперь чувствую, недостатки мои только увеличились в числе. Например, рациональное начало, так необходимое в наше время, – оно полностью отсутствует во мне. Чего я только не наделал в жизни! А эта глупая сентиментальность? Меня до слез умиляют щенки и котята, я, словно Дед Мороз, готов бесконечно возиться с малыми детьми...

Во дворце все эти годы жила малюсенькая девочка-сартянка. Она родилась, когда меня увезли в оковах из Ташкента в наказание за свадьбу с Валерией Хмельницкой, а Надежда Александровна осталась присматривать за всем. В ту пору наш дворник Абдурахман, бывший мираб на Зах-арыке, женился на какой-то молодой вдове, и та родила ему дочку, названную Ходжар, что значит по-арабски «Странница». Новая жена Абдурахмана умерла от тяжелых родов, а отец решил не отдавать малютку родственникам жены, что жили на Сагбане, и сам выходил девочку. Когда я вернулся в Ташкент после объявления свобод, дарованных Конституцией 17 октября 1905 года, Ходжар была уже прелестным маленьким и очень подвижным чертенком, она очень оживляла жизнь дворца. Я привязался к ней, дарил ей игрушки и разные вещи, нанял бонну, которая учила девочку хорошему русскому языку, катал по Ташкенту в своем роскошном экипаже. Не прошло

и нескольких лет, как ее отец, а также сводный брат Каюм, совсем юноша, служивший у меня конюхом, – оба умерли от инфлюэнции. Теперь мне казалось, что перед Богом только я ответственен за сироту, а она постепенно превращалась в стройную черноволосую девушку, которой так шли подаренные мной платья из красного шелка...

И вот вчера – я был в своем имении «Золотая Орда» в Голодной степи – ее украли из дворца. Примчавшись в Ташкент, я обегал с полицейскими и дворней весь Сагбан, заглядывал во все чуланы и хумы, тряс за грудки аксакалов, искал в Кок-Тереке, откуда была родом ее несчастная мать, но Ходжар как сквозь землю провалилась.

Вечером из старого города передали записку – жива Ходжар, с ней ничего страшного не случилось, подкупив миршабов, ее увели дальние родственники – по шариату нельзя готовой к замужеству мусульманке жить у неверных.

Какое несчастье! Ну почему мне вечно не везет?

Ташкент. Дворец. 17 октября 1911 года.

Приехал Костя! Значит, времена меняются! Ко мне до сих пор никого из родичей не допускали. Костю я не видел со времени его мичманства. Он стал солидным, вальяжным мужчиной – сразу и не узнаешь. Но мне кажется, что передо мною все тот же мой милый братик, хилый, как и я – папа был так обижен на нас за отказ от флотской карьеры по причине плохого здоровья. Костя близорук, подобно мне и Оле, любит после обеда крепко поспать – «буквально десять минут». Он признался мне, что в последнее время чувствует себя совсем неважно, собирается с женой ехать в Египет для лечения. Я попросил его подробно записывать все о стране древностей на Ниле. Костя, как и я, постоянно ведет дневник.

Брат по-прежнему на моей стороне. Когда он был командиром Преображенского полка, главного воинского соединения России, у него в подчинении находился наследник престола племянничек Николаша, нынешний император, и Костя даже доверительно и конфиденциально беседовал с ним обо мне. Но не преуспел...

Я белой завистью завидую своему младшему брату. Он слывет в обществе настоящим морским волком, носит георгиевский крест за Дунай, выбран российским академиком, наряду со Львом Толстым и Стасовым, и не просто академиком, а президентом Российской императорской Академии наук. Все давно уже знают, что очень хорошие, напечатанные в столичных изданиях стихи и переводы некоего поэта К.Р. – это творения моего брата Кости, великого князя Константина Романова. Сейчас он упорно работает над эпохальной драмой «Царь Иудейский», читал мне отрывки из этого поэтического спектакля о нашем Спасителе и сказал, что даже не знает, разрешат ли пьесу к публичной постановке. Ну да ладно, если не разрешат, сам будет играть на домашнем театре.

Я тоже не чужд сочинительства, но куда мне до него! Жизнь литературная в Ташкенте в зачаточном состоянии. Пытался мой знакомец – бравый охотник и востоковед Евгений Тимофеевич Смирнов – лет пятнадцать тому назад издавать особый литературно-исторический журнал, да заглох его «Среднеазиатский вестник» на первом же году существования. Теперь со скрипом идет толстый журнал «Средняя Азия», но тоже, наверное, умрет – я слышал, что не набралось и двух сотен подписчиков. Косте я подарил первую ташкентскую книгу стихотворений местных пиитов – Леона Порошина, Павла Поршакова и Александра Ширяевца. Ее напечатал мой знакомый книготорговец Марцелл Собберей. Книжный магазин этого русского итальянца стоит в двух шагах от моего дворца и исправно снабжает меня новинками. Прочитав туркестанские описи, Костя особенно похвалил Александра Ширяевца с его лирическими «Ранными сумерками» в народном духе. Я знаю этого Ширяевца – он внешне вообще не похож на стихотворца и работает телеграфистом в главной почтовой конторе города.

Радостна и мне, и ему была наша встреча. Но для отвода глаз, конечно, он официально приехал не ко мне, а для ревизии ташкентского наследника цесаревича кадетского корпуса – как шеф над российскими кадетскими корпусами. Костя уже побывал за Саламом. По всей России кадеты и офицеры-воспитатели души в нем не чают. Брат сказал, что успел познакомиться и с нашим корпусом, был на уроке литературы у старших кадетов, катался с младшими в открытом кабриолете по улицам нового города, удивляя полицейских и зевак.

Костя сулит мне всякое возможное с его стороны содействие, но я махнул на это

рукой. Возврата назад, в Петербург, не мыслю, я теперь – подлинно гражданин любимого мной города Ташкента, столицы чудной страны Туркестан!

Ташкент. Дворец. 5 октября 1913 года.

Когда меня арестовали в Мраморном дворце Санкт-Петербурга, племянничек Николаша, нынешний император, был малыш несмысленный, и я, конечно, не ведаю, каков он стал теперь, когда вырос. Но не думаю, что это достойный короны человек. Однако же именоваться мне, если что и выгорит, теперь следует Николаем Третьим...

В том далеком другом мире меня давно уже объявили умершим. Недавно Костя с верным человеком переслал мне в Ташкент американскую газету «Нью-Йорк таймс» за 13 августа 1913 года, и в ней помещена большая статья обо мне с интервью! Да, был у нас в гостях некий путешественник из-за океана, капитан Харви, дивился на красоту дворца, хвалил качество напитков, поданных к столу, удивленно тарашил на меня глаза. Но кто ж знал, что он напечатает беседу со мной и Надеждой Александровной в известной газете? Мы не скрываемся, принимаем во дворце и местных владетелей, и министров, приезжающих в Туркестан, и ученых-путешественников. Но чтоб интервью на весь мир?! Странно, что за это не последовало окрика от Министерства Двора, видимо, на меня уже махнули рукой.

Житье-бытье мое в Туркестане действительно стало легче и, скажем, почетнее. На юбилей (трехсотлетие династии) почти все ташкентское общество меня поздравляло, заезжал даже сам генерал-губернатор Самсонов, лихой кавалерист. Александр Васильевич помог мне своим авторитетом, когда я задумал строить дома с бесплатными квартирами для солдат-ветеранов у Воскресенского базара. Заселили целых шесть новеньких корпусов у музейного домика генерала Михаила Григорьевича Черняева. Тут же стоит тот бронзовый бюст, что я подарил несколько лет тому назад Городской Думе. Раньше бюст покорителя Ташкента стоял перед моим дворцом, там, где сейчас держит земной шар над собой итальянский мраморный Атлант.

И ученые люди Ташкента должны быть мне благодарны. Я передал полторы тысячи своих редких книг Туркестанской публичной библиотеке. Библиотека содержится неплохо, но каталог моих книг напечатали так безобразно, что я приказал его переделать.

В нашем краю много способных молодых людей, но не все могут заплатить за ученье. Из своих фабричных доходов я учредил десять именных стипендий для неимущих студентов-туркестанцев в университетах обеих столиц, а также в Казани, Харькове, Киеве и Томске.

Для чего я это делаю? Да каждый порядочный человек обязан участвовать в делах благотворительности, а надо мной висят еще и грехи мои тяжкие!.. И у мусульманского Пророка есть такой завет: отдай обществу добровольно и не бахвалясь часть от доходов твоих и будешь спасен в день Страшного Суда. Может, зачтутся мне благие дела в будущей жизни?

Дела мои идут успешно, доход от нескольких фабрик, аренда базарных рядов, урожаи в имениях Искандер и Золотая Орда сделали из великого князя очень даже независимого предпринимателя с годовым доходом в миллион рублей. Удобно ли принцу быть капиталистом? Это вопрос!

А в драгоценной для моего сердца Голодной Степи ирригаторы заканчивают прокладку нового большого оросительного канала – Романовского. Говорят, заслуги мои будут упомянуты на стелах с двуглавыми орлами, что сейчас устанавливают на головной плотине у станции Хилово. Мне принесли для прочтения проект надписи, которую отольют на чугунной доске, укрепленной на плотине. Устроители предполагают там написать: «Сей Романовский канал предназначен для орошения северной части Голодной Степи, начало оживления коей положено Его императорским Высочеством великим князем Николаем Константиновичем сооружением канала императора Николая I в 1897 году». Ну что я могу возразить на такую лестную надпись! Видно, действительно, времена меняются. Через месяц – молебн, открытие канала с пуском воды. Непременно поеду на это торжество.

Будут на этой безлюдной земле цвести сады! У Николая Николаевича Каразина, с которым мы отстреливались от разбойников-текинцев на Амударье, – за прошедшее время он стал знаменитым художником и академиком – есть такая картина «Смерть коня – смерть всаднику». Николай Николаевич изобразил типичный случай: у одинокого, пересекающего Голодную Степь киргиза пала лошадь. Поднимается жаркая пыльная буря,

кончился запас воды, и пешком не дойти до мест, где можно было бы утолить жажду. С ужасом смотрит кочевник на умирающую лошадку, понимая, что теперь и в его жизнь заберет мрачная безводная Голодная Степь. Глядя на картину, начинаешь понимать величие работы ирригатора, а этой работе я отдал столько сил и энергии! Искандер-арык, канал императора Николая Первого, Романовский оросительный канал – это этапы моей жизни. И все каналы действуют, журчит живительная вода, зеленеют по берегам поля и сады, кипит жизнь в новых селениях, где еще недавно буквально ничего не было. Не стыдно предстать перед Господом!

Ташкент. Дворец. 14 июля 1916 года.

Завтра иду выступать на заседании Городской Думы. Накопились у меня вопросы к Управе, да и надобно ясно рассказать господам-ташкентцам о своих намерениях. Чтоб ничего не упустить, составлю, пожалуй, тезисы своей речи. Буду настаивать на уступках с их стороны по поводу отдельного специального прохода к моему летнему кинематографу в Городском Саду, скажу о постройке ограды вокруг дворца, но главное-то, главное... Пусть это будет выглядеть так:

«Генерал-адъютант Розенбах, туркестанский генерал-губернатор, поручил знаменитому инженеру Гейнцельману построить для меня великолепный маленький дворец в Ташкенте против Иосифо-Георгиевской церкви. Сюда были собраны все редкости, хранившиеся у меня с детства, все мои исторические портреты, картины, художественные вещи, оружие и статуи. Музей этот я решил тогда же завещать любимому моему городу Ташкенту, на что я буду просить Высочайшее соизволение, если представителям городского самоуправления угодно будет принять мой дар после моей и Надежды Александровны смерти»...

Ташкент. Дом Д.Е. Часовитиной на Шелковичной улице. 1 декабря 1917 года.

Со мной моя Даня, наша с Дарьей Евсеевной дочь. О большевиках она рассказывает страшные вещи. Да и действительно, стрельба в городе не утихает. Но, надо сказать, меня лично никто не трогает. Может, потому, что я весной носил красную ленточку в петлице? Кому, впрочем, нужен больной старик, будь он хоть великий князь!

Почти весь год я провалялся в постели. Чем только не лечили меня ташкентские эскулапы! Когда сердце шалит и легкие не в порядке, трудно хорошо себя чувствовать. Даже чудодейственные новейшие европейские лекарства, что переслала из Петрограда для меня милая моя Оля, заботливая сестра милосердия и королева эллинов, не помогают. Надо, на всякий случай, устраивать свои денежные дела – мало ли что может случиться!

Дарье Евсеевне я доверил надзор за моими фабриками и доходными домами, а Надежде Александровне – за дворцом-музеем. Еще в прошлом году на заседании Городской Думы я публично высказал свое желание передать дворец и все, что в нем, любимому моему городу Ташкенту для организации общедоступной галереи искусств. Тогда еще требовалось на это одобрение императора, а теперь, когда племянничек Николаша отрекся, я сам с усам!

Дороговизна, между тем, за год росла стремительно, и лишь какие-то доходы, вернее, доходики от двух моих кинематографов позволяли сводить концы с концами. А тут еще на несчастье сгорела деревянная «Зимняя Хива»! Надежде Александровне пришлось ее восстанавливать одной, я-то был лежачим больным. Тут уж и бриллиантовые украшения Надежды Александровны пришлось продавать. Какой поворот судьбы! Мне приписывали не существовавшую кражу каких-то бриллиантов тогда в Петербурге, а я сейчас продаю ювелирам реальные драгоценности моей жены, чтобы сохранить и поддержать ценную художественную коллекцию, предназначенную мной в подарок народу! Ею будут распоряжаться ученые-туркестанцы, которые, несомненно, создадут в Ташкенте университет.

Я часто вспоминаю строчки стихотворения, которое написал брат мой Костя, упокой его душу, Господи:

*И пусть не тем, что знатного я рода,
Что царская во мне струится кровь,
Родного православного народа
Я заслужу доверье и любовь.*

Он-то заслужил, а я?

Завешание

Ташкент. 12 декабря 1917 года.

Я, нижеподписавшийся великий князь Николай Константинович Романов, находясь в здравом уме и твердой памяти, на случай смерти делаю следующее распоряжение.

1. Принадлежащие мне в городе Ташкенте участок земли, граничащий с улицами Романовской, Кауфманской, Самаркандской и Воронцовской, со всеми строениями, а, в том числе, и Дворец с Музеем и со всем находящимся в нем имуществом, а также принадлежащие мне:

2. Участки земли с постройками (кинематограф «Хива» и флигель), находящиеся в том же городе на углу Романовской и Кауфманской улиц;

3. Участки земли, занятые лавками на базарах моих имений «Золотая Орда» в Голодной Степи и «Искандер» в Ташкентском уезде;

4. Два моста, из которых один находится на реке Сырдарья у Запорожья в Ходжентском уезде, а другой – на реке Чирчик близ моего имения «Искандер»;

5. Здание кинематографа «Летняя Хива», находящееся на участке, принадлежащем ведомству Народного просвещения,

завещаю в пожизненное владение Надежде Александровне Искандер, в знак признательности за ее сотрудничество и содействие по орошению мной мертвых земель в Средней Азии и насаждению русских поселков на Искандере и в Голодной Степи с тем, чтобы после кончины ее, Надежды Александровны Искандер, все вышеозначенное имущество перешло в полную собственность Ташкентского университета.

Великий князь Николай Константинович Романов¹

К дневнику великого князя была приложена сильно пожелтевшая вырезка из «Нашей газеты», органа Советов Солдатских и Рабочих депутатов Туркестанского края, № 13 от 17 января 1918 года:

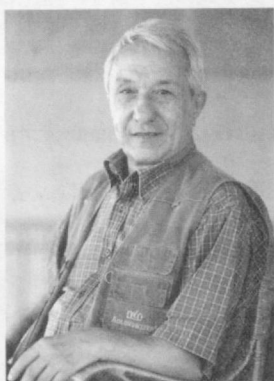
ПОХОРОНЫ ГРАЖДАНИНА РОМАНОВА

Вчера в Ташкенте состоялись похороны б. великого князя, гражданина Николая Романова, скончавшегося в воскресенье, 14 января, в 6 часов утра. Тело Романова предано земле у ограды Военного собора.

Читатель! Перед тобою реконструированный мной дневник самого знаменитого туркестанского ссыльного. Простудированные многочисленные документы и устные воспоминания позволили мне представить реальную картину жизни в Ташкенте великого князя Николая Константиновича. Известный поэт «серебряного века» К.Р., выдающийся общественный деятель и генерал, назвал судьбу своего старшего любимого брата «мучительным положением» и «нравственной тюрьмой». Но, как мы видим, августейший изгнанник за сорок три с лишним года неволи не пал духом, не сломался!

¹ Подлинный текст этого завешания Николая Константиновича сохранился и в городском архиве Ташкента (Фонд 10. Опись 13. Документ 84. Лист 14.). То, что духовное завешание Николая Константиновича действительно составлено, подписано и предъявлено завещателем, подтвердили подписями протоиерей Петр Николаевич Богородицкий, доктор медицины Петр Фокич Боровский и удостоверил по заявлению Надежды Александровны Искандер нотариус Иван Васильевич Беляев в своей конторе на Ирджарской улице в доме Азовско-Донского коммерческого банка 27 января 1918 г. (реестр №368).

переводы



Эркин АЪЗАМ

Писатель, публицист, киносценарист. Родился в 1950 году в Сурхандарьинской области. В 1972 г. окончил Ташкентский государственный университет факультет журналистики. Работал на республиканском радио, в журналах «Гулистан», «Ёшлик», в издательском доме им. Гафура Гуляма. С 1994 года работает главным редактором журнала «Тафаккур». Многие произведения Эркина Аъзама переведены на иностранные языки.

Ступка

Рассказ

(перевод с узбекского Ф.Хамраева¹)

После того, как Арслан ака ушел в мир иной, тетя Марина осталась одна и всегда ждала этого дня. Раньше она ездила туда от случая к случаю, а теперь – не реже одного раза в месяц, иначе на душе становилось беспокойно. Подготовка начиналась за три-четыре дня. Она отправлялась в райцентр за гостинцами; подруга Лена – многодетная мать, и наведываться к ней с пустыми руками неудобно. Как говорится, гость с пустыми руками – черная кочерга. Самой Лене она покупает какие-нибудь духи с приятным запахом или другую косметику, а детям – разные сладости. Каждый раз возникают сомнения при выборе подарка для ее застенчивого мужа Сагдуллы: водку купить ему, или пару бутылок пива? В прошлый раз, увидев бутылку водки, он, по обыкновению не поднимая глаз, произнес: «Мы уже давно распрощались с такими подарками, а Мариночка». Но с другой стороны, что же еще можно купить для мужчины? «Не хочет, пусть не пьет. Тоже же мне шофер! – размышляла Марина, засовывая бутылку вина в сумку. – И пусть пеняет на себя! Если что, мы с Леной сами ее опустошим!»

При этом каждый раз вспоминая о предстоящей дороге, тетя Марина заметно нервничает. Дом Лены находится далеко, в соседнем кишлаке, куда можно дойти, миновав сай и обогнув холмы. Раньше, когда ей нужно было сшить себе платье, дядя Арслан возил ее на любимом мотоцикле: спереди сидел он, словно богатырь, сзади – она, обхватив его, – и вперед с ветерком... Обратная она возвращалась пешком, спокойно и неторопливо. Теперь же ее одолевала лень: путь хотя и не близкий, но теперь казался ей еще длиннее. Временами она сожалела, что не научилась водить этот чертов мотоцикл. Ведь в детстве в селе Николь она каталась на велосипеде с друзьями, поднимая пыль, неужели не справились бы сейчас? Но ей было неловко, боялась лишних разговоров. Стали бы говорить: что это тебе Воронеж? Женщина, к тому же учительница, воспитывает детей и вдруг разъезжает на мотоцикле по улицам! Неужели не нашлось мужика, который оседлал бы эту «шайтан араву»?

Да, теперь уже нет. Умер он. И что же теперь делать тете Марине? Вывести из маленького амбара напротив запылившийся, заброшенный мотоцикл и ездить на нем? Немолодая уже, несколько потучневшая тетка, учительница на пенсии! Смотрите, смотрите, на эту бабу, которая свела мужа в могилу и теперь разъезжает по улицам на его мотоцикле! Чтобы тебе провалиться, бесстыжая!

¹ Хамраев Ф.М. родился в 1963 году в Алма-ате. Имеет около 300 публикаций в республиканских и зарубежных изданиях.

Живет в Ташкенте, работает в Министерстве иностранных дел.

Этого «жеребца» дядя Арслан получил как премию, когда работал на стройке. И это не простой мотоцикл, можно сказать, это машина, небольшая, но все-таки машина. Ни у кого в округе ничего подобного нет. Нажимая на боковую педаль, не следует его заводить резко. Сев на него, нужно легонько, как в машине, повернуть ключ – и он полетит словно стрела. Сам он аккуратный, «внутренности» не торчат наружу, гладенький. И ездит легко, плавно! Не случайно дядя Арслан с гордостью называл его «моя «Чайка».

Тетя Марина долго думала, прежде чем решиться на это. Она позвала гонящего во дворе мяч Абди – сына соседки вдовы Зайнаб. Всем в округе было известно, что он очень любит технику. Когда дядя был жив, он всегда крутился рядом, время от времени помогал чинить мотоцикл, не чурался никакой грязной работы, и в награду он мог пару раз проехаться на мотоцикле по двору.

От сделанного предложения у Абди загорелись глаза:

– Хорошо, тетя учительница! А когда?

– Завтра, – ответила тетя и, немного задумавшись, вынесла из дому связку ключей вперемешку с козмунчаками.¹ Прицелившись, она бросила их прямо в вытянутые ладони, выжидательно глядящего на нее подростка и произнесла: «Завтра, Абдибай. Ближе к обеду, – и, сделав паузу, добавила – договорились?»

Получив ключи, Абди метнулся к амбару. Выволокнув мотоцикл наружу, он важно начинает его «проверять». Потом заводит мотоцикл, пару раз проезжается по двору и как бы успокоившись, начинает как раньше его чистить, «полировать». Время от времени он отрывается от своего занятия, поворачивается в сторону веранды и с удовольствием кричит:

– Тетя учительница, «Чайка»-то в полном порядке! А что, если сегодня поедем?

– Завтра, Абдижан, завтра, – говорит рассеянно Марина, опираясь на поручень.

В эту ночь тете Марине приснился Федька! Тот самый шустрый Федька, каким он был сорок лет тому назад! В классе не было девочки, которая бы тайно или явно не была в него влюблена. Да и сам он был не промах! На голове пилотка, как хохолок петуха, и на велосипеде может ездить без рук. Любая девчонка, глядя на все это, сходила с ума. А как он крутился на турнике! Он мог висеть на турнике вниз головой на одних пальцах ног до конца большой перемены. И этот Федька приснился ей. Идут они по ржаному полю вдвоем по обе стороны велосипеда, и Федька плачет навзрыд: «Сказала бы, я сам отвез бы тебя, Марин».

Лет десять-пятнадцать тому назад, когда родители еще были живы, во время приезда в Николь в летний отпуск, Марина встретила его у пивной. Это был совершенно опустившийся человек с воспаленными красными глазами. Он был настолько пьян, что не мог твердо стоять на ногах. Она поздоровалась и тут же пожалела об этом: «Выходи за меня замуж, Люська! – сказал он, заигрывая, видимо, с кем-то перепутав. – Ты ведь знаешь, Зойка моя умерла».

Тогда она с трудом от него отделалась. Тот самый Федька-шустрый. Давно уже была она его, и чего он приснился? С такими мыслями проснулась тетя Марина. Смотрит, а солнце уже высоко. Скоро полдень, надо собираться. А еще торт хотела испечь, вставай Марин, вставай!

Называю я их дядей и тетей. Конечно, братьев, дядь у меня немало, но такой, как дядя Арслан, был единственным. Мне он очень дальний родственник. На самом деле он приходится дядей моему другу Махмуду. Для нас с Махмудом он был кумиром с детства, мы всегда следовали за ним по пятам. Именно этот человек научил нас ездить на велосипеде, плавать... Можно сказать, именно дядя Арслан сблизил и подружил нас с Махмудом. Когда он приезжал на каникулы с учебы, мы часами следили за тем, как он причесывается, как гладит свои брюки, стремились подражать его манерам, повторяли многие движения. И позже именно дядя Арслан повез нас учиться в Ташкент и, когда мы поступили, впервые в жизни повел нас в ресторан, угощал невиданными для нас блюдами, лимонадом и мороженым. Когда он бывал в Ташкенте, собирал нас с друзьями, готовил плов в чайхане, давал денег. А когда мы приезжали на каникулы, то практически всегда были рядом с ним.

¹ Небольшие бусинки, используемые как средство «от сглаза».

* * *

Здесь вспоминается вот что.

Моя дочь решила учиться на художника. Ночи напролет она готовилась, рисовала этюды. Однажды поздно ночью она зашла ко мне в комнату с воспалившимися глазами.

– Папа, помните, когда в детстве вы нас возили в кишлак, мы гостили у одного вашего «большого» дяди? У него дома на стене висела картина. Странная картина.

Как не помнить! Это был растиражированный миллионами экземпляров плакат. С одной стороны розоватый огромный, несколько странный персик с торчащей зеленой плодоножкой. И его трое-четверо совершенно нагих узкоглазых карапузов куда-то катят. Сбоку, видимо на китайском языке, вертикальная надпись.

Этот пожелтевший от времени рисунок я и раньше видел в холостяцкой каморке дяди Арслана. Помню, рисунок этот мне почему-то не нравился, но о причине я не задумывался.

– И что?

– Мне хочется увидеть эту картинку, – как-то по-детски, почти капризно произнесла повзрослевшая уже дочь.

– Хорошо, увидишь еще, когда поедем в кишлак, – удивившись, ответил я.

– Он сможет на время одолжить мне ее, я бы сняла копию? Удивлению моему уже не было предела:

– Зачем тебе это? Это ведь обычный плакат. Вот поступишь, я тебе его привезу.

– Правда?

Дочь поступила. Когда я поехал в кишлак, то вспомнил о своем обещании и попросил у дяди Арслана подарить этот рисунок. «Что хочешь – пожалуйста. Хочешь жизнь мою – на, бери, но рисунок – не отдам, даже не проси!», внезапно разгорячившись, резко произнес он. Я никогда не видел его в таком состоянии и был вновь крайне удивлен.

Дочь почему-то больше не вспоминала о рисунке. А я не напоминал. Но до сих пор удивляюсь, вспоминая об этом.

* * *

Дядя Арслан¹ соответствовал своему имени: был высоким, статным, богатырского телосложения. Видный, с широкой грудью, ухарь. Однако, несмотря на договоренности родителей, родная тетка не отдала дочку за него замуж. Вернее, во время учебы на врача в Ташкенте девушка влюбилась и вышла замуж за хорезмийца, видимо, одурманившего ее своим сладким говором. Именно тогда «львиная» душа дяди Арслана была надломлена. Он ведь с детства свято верил «в судьбу» и на других девушек даже не глядел. Односельчане же решили, «есть у него какой-то изъян, раз родная тетка дочку пожалела», и стали потихонечку отдаляться от него.

Как раз в ту пору из разных уголков нашей необъятной страны приехало несколько девушек учительствовать в сельской школе. Их поселили в домах для приезжих, целый ряд которых был выстроен в районном центре. Общий двор их утопал в вековых деревьях, словно перекочевавших туда из тургеневских лирических рассказов, а на самом деле это был заброшенный сад.

После того, как повзрослевшие младшие братья его женились один за другим и заняли отцовский дом, дядя Арслан, живший в своем холостяцком гнездышке и к тому же пристрастившийся к выпивке (наверное и поэтому люди не хотели родниться с ним), начал заходить на стихийно возникавшие европейские вечеринки, сошелся с одной из девушек и начал с ней жить. Чтобы перед односельчанами не было стыдно, отец его совершил мусульманский обряд бракосочетания, и они стали настоящими мужем и женой. Тетя Марина не стала капризничать: нравится ей или нет, надела национальную одежду из желтого атласа и стала настоящей сельской невесткой. Не было человека в округе, который не хвалил бы ее, не восхищался ею. Добрая, аккуратная, приветливая. Что еще надо для создания нормальной семьи!

Но на дядю свалилось другое несчастье: такой богатырь оказался бесплодным. Причина была неизвестной: то ли из-за «зеленого змия», то ли из-за проявившегося спустя многие годы тяжелого заболевания – это было известно лишь Всевышнему. Супруги, ока-

¹ Имя Арслан переводится как лев.

завшись в сложной ситуации, взяли из детдома девочку. Она была, видимо, метиской, смуглой, а глаза ее – зеленоватые. Но, в общем, подходила им: никто не мог полюбопытствовать «почему девочка такая?» Воспитали и вырастили они ее с любовью. Однако во время учебы в Ташкенте она нашла какую-то причину и уехала в Россию. Отправившийся за ней следом отец узнал лишь только то, что она поехала за своим возлюбленным, Андреем. То ли это была расплата за неродное материнство, то ли выиграла чужая кровь его зеленоглазой доченьки. «Папа, я его люблю!» – сказала она, и все.

Отец, вернувшись из Самары, совершенно опустошенный, спустя некоторое время слег. Человек крупного телосложения, за три-четыре месяца исхудал, лицо пожелтело. Обнаружилось, что у него что-то с кровью, к тому же больна селезенка. И тогда стало понятно: он потерял здоровье во время службы на космодроме.

Года два тетя Марина и днем, и ночью его выхаживала, смотрела как за малым ребенком. Ничего не помогло. И покинул он этот бренный мир, полный горечи и сожаления!

Вот теперь тетя Марина осталась совершенно одна! Единственное место, куда ее тянуло – дом подружки Лены в соседнем кишлаке. С ней она познакомилась как-то на рынке. Лена-модница – жена, привезенная из армии. Молодые женщины ее обожали – она шьет модные платья. Сама она стала типичной узбечкой, словно по рождению. А как она ругает своих детей по-узбекски!

– Ты погуляй тут пару часиков, – сказала тетя Марина, оставляя Абди в низине, и стала заползать с полной сумкой гостинцев наверх.

– Хорошо, тетя учительница, сколько скажете – столько погуляю! – радостно ответил Абди, расплывшись в улыбке. Спустя мгновение он уже летел на мотоцикле вдоль холма.

Когда тетя Марина вошла в расположенный на холме, огромный, утопающий в зелени, дом Лены-модницы, та пекла лепешки в тандыре. Точнее, уже испекла и теперь складывала готовые румяные лепешки и заворачивала их в дастархан. Хотя солнце и припекало, она еще не успела снять свое мешковатое платье и старый, весь в пятнах, платок, которым обернула и голову и большую часть лица. На ее покрасневшем от жары маленьком лице блестели глаза – две зеленоватые точки, словно две капли усьмы!

– Проходите, проходите, Мариночка!

– Здравствуйте, Ленахон, как поживаете? Две подружки обнялись, поздоровались.

Хозяйка дома тут же отправилась в дом и быстро переоделась. Она проворно стала готовить место для гостей на топчане под тутовым деревом. Затем, разворачивая привезенные подружкой подарки, она каждый раз с благодарностью ее обнимала. Потом и сама из дома вынесла угощения для подруги.

Она отрезала кусок торта своей младшенькой, учившейся во вторую смену, которая все еще крутилась во дворе с сумкой на плече, отправила ее в школу и только после этого присела к своей дорогой гостье.

Теперь во дворе кроме них не было ни души – отец с двумя сыновьями уехал собирать сено в поле, средняя дочь после уроков должна была навестить бабушку – ей было так вено.

Расположившись за дастарханом, «соотечественницы» начали вести неспешные разговоры на своем родном языке. Спокойно и размеренно. Их никто не слышал: вокруг никого нет. Если бы кто увидел их сзади, несомненно, был бы поражен тем, как внешне типичные кишлачные женщины, так бегло говорят по-русски.

– Давай, Мариночка, посидим сегодня сами, по-свойски, по-людски! – с теплотой в голосе предложила Лена-модница, которая уже успела надуться подаренными подружкой духами и даже нанести крем на лицо.

– А мы что делаем, вот сидим же! – улыбаясь ответила Марина,

– Не-е, по-другому, – загадочно произнесла хозяйка, косясь на торчащую бутылочку красного вина, сургучное горлышко которой виднелось из пакета, находящегося в углу. – Культурно, что ли!

– Я же привезла ее для твоего мужа!

– Пусть отраву пьет! – вскопчила Лена-модница, невольно перейдя на узбекский. – Он уже выпил, что ему положено.

Когда хозяйка выносила из дому два фужера на длинных ножках, в воротах показалась соседская девочка:

– Тетушка-зеленоглазка, одолжите, пожалуйста, дрожжей, мама просила.

– Чтoб провалилась твоя тетушка-зеленоглазка, и дрожжи вместе с ней! – раздраженно проворчала хозяйка дома, осторожно поставила фужеры на край веранды и направилась в сторону тандыра.

Проводив девочку, она закрыла ворота, повесила цепь и задорно подмигнула подружке:

– Ладно? Что тут такого, мы ведь одни!? – Как знаешь, – пожалала плечами тетушка.

Налили вино в фужеры, чокнулись, и Лена вдруг вспомнила: – Кстати, а за что будем пить? Скажи что-нибудь.

– Сама скажи.

Лена-модница высоко подняла фужер, задумалась.

– Давай, выпьем за нас, за двух несчастных!

– Не буду пить! – тетя внезапно поставила фужер на скатерть. – И почему это ты несчастная?! – Она обернулась на ухоженный двор, плодоносящий сад. – Вот, все у тебя есть! И муж рядом, и дети твои!

– Тавба¹, еще раз тавба! – зашебетала опять по-узбекски Лена-модница, прижимая руки к груди. – Правду говорите, дорогая подружка. Благодарю Всевышнего тысячу раз за это!

– Значит, будем пить за тебя, за твоего мужа и детей!

– Спасибо тебе, моя дорогая, спасибо, – произнесла Лена-модница со слезами на глазах и выпила вино до дна. Вино, ощутив вкус, еще раз наполнила бокал: – А теперь выпьем за тебя! Замечательным человеком был твой Арслан! Пусть земля ему будет пухом. За это не чокаясь, не чокаясь – забыла, да?

– За кого ты собираешься пить – за меня, или за усopшего? – произнесла тетушка с влажными глазами, усмехаясь над рассеянностью своей подружки.

– Не все ли равно – Арслан был твой, а ты – Арслана! – залпом опустошила фужер хозяйка. – Одна-одинешенька, наверное, тоскливо, а, Марин?

– Нет, почему, если скучно, иду к соседям, навешаю свекра, или же валяюсь на диване, читаю книжки, смотрю телевизор. Да и домашних хлопот хватает.

– А скучаешь по Воронежу? Хочется побывать в родных краях? Нет ли весточки от дочери?

– С какого вопроса начинать отвечать-то? – опять задумчиво улыбнулась тетя, – Кто не тоскует по родным местам? Ну что от того, что тоскуешь, что поедешь туда? Старик со старухой уже давно в мире ином; была лишь одна сестренка Настена, да и та развелась с мужем, нашла какого-то иностранца и уехала жить за границу – в Португалию что ли – считай, что и ее нет. Когда родители были живы, она почти каждое лето ездила к ним в гости. На поляне у Никольской речки собирались всей семьей, угощались рыбой. Рыба была только поводом, старый отец, любитель выпить, в обществе двух зятьев был на седьмом небе от радости; если младший зять с ревнивым характером не учинял какого-нибудь скандала, они иногда разводили костер и прямо там оставались ночевать.

– А мне, бедняжке, некуда податься, не о ком скучать. Ведь я сирота – детдомовская!

На непьющую женщину вино действовало быстро: в душе печаль, глаза слезятся. Вдруг, она резко вскочила с места и подселла к подружке: «Давай, моя милая, споем».

Они долго спорили, какую же им песню петь и все же остановились на песне – «Подмосковные вечера».

– Ну, давай, начинай!

– Нет, ты начинай, ты!

И две чужестранки, приобняв друг-друга, тихо затянули песню – память о дальней родимой стороне, полную ностальгии и пронизанную духом родных мест. И на время все вдруг вокруг преобразилось, будто повеяло прохладой какого-то заветного вечера, и двум поющим, закадычным марфушам показалась, что возвышающиеся вдоль стены тополя вдруг превратились в белоствольные березы.

Захмелевшая дочь сиротского дома вдруг запела во весь голос – а что, это ее дом, ее двор:

¹ Воскливание.

– Не-е-е за-абудь и ты-ы

Эти летние-е-е

Подмосковные вечера.

Ее сменила другая мелодия:

От этих мест куда мне деться?

С любой травинкой хочется дружить.

Ведь здесь мое осталось сердце

А как на свете без любви прожить?

Подружки вдоволь попели, устали и, обнимая друг друга, сидели долгое время грустные, раскисшие.

– Вай, ну память моя короткая! – хозяйка вдруг вскочила с места, побежала в дом и вышла оттуда с какой-то коробочкой: – Будем пить кофе! – подойдя к топчану, она поспешно открыла коробочку, и разочарованно вздохнула: – Ну, надо же, зернистый! В прошлом году что ли, когда была в райцентре, купила аж за пять тысяч сумов. Оказывается, не рассмотрела хорошенько, как жаль!

– А что, разве у тебя кофемолки нет? – спросила подруга с сожалением в голосе.

– Откуда в этом доме быть таким вещам! – раздраженно сказала

Лена-модница. – А, все, знаю! Будем его толочь

– Чем же это? Чем бить будешь?

– Ну, есть штуковина такая... Как же ее там? Никак не могу вспомнить! И Лена-модница, не подобрав и не вспомнив нужного слова, вновь заговорила по-узбекски: – Давай не будем вспоминать по-русски! Это ведь хавонча, ну, наша хавонча!

– Хавонча?! – повторяет Марина внезапно упавшим голосом: у нее внутри будто что-то оборвалось, и ей сейчас же захотелось сбежать отсюда. – Что такое эта ваша хавонча?

– Ну, угир же, угир! Вот сейчас принесу, увидите! – Лена-модница стремительно направилась к кухне.

– Эй, не нужно! Я не могу пить кофе. У меня печень больная.

Хозяйка растерялась, и остановилась.

– Мне уже пора, Ленахон, прошу прощения, надо идти. Дома дел полно.

Это была чистой воды выдумка! Вот сейчас, она придет к себе, в одинокий дом, и не будет знать, куда себя деть: ведь ничего толком ей и не надо делать. От скуки начнет помогать соседке в ее делах. И внезапно ей опять станет не по себе, заторопится домой: «У меня дома дел полно!»

– Да, оставьте, Мариночка! Ведь в кои-то веки пришли? А плов, сейчас приготовлю плов.

– Потом, в другой раз, – сказала Марина, подумав о том, что в следующий раз она ногой не ступит в этот дом; и зачем она только приехала к этой женщине?!

Растерявшись оттого, что не сумела убедить гостью остаться, Лена спешно принесла из кухни четыре лепешки и положила их в ее сумку, а потом, окинув взглядом двор, принесла несколько гроздей винограда.

В общем, то ли от выпитого вина, то ли от того, что любимая подруга пребывала в таком радостном настроении, и так внезапно уходит, она вдруг расстроилась, и стала провожать со слезами на глазах, поглаживая ее по голове и плечам.

Выходя из ворот, тетя Марина вдруг поняла, зачем она приходила на самом деле, и что еще будет приходить сюда много-много раз.

– Я думал, что вы еще погостите – а вы так скоро вышли, тетя учительница? – удивленно спросил ковыляющий в мотоцикле Абди. – Ведь еще не прошло двух часов?

– Пора уже, Абдибай. Засиделась даже больше, чем надо. Поехали. И они отправились в обратный путь.

Проехали сай, а дорога вдоль кладбища была крутой, колеса сошли с проторенной колеи и выехали на песок. Мотоцикл потерял равновесие и свалился на бок. Абди тре-

можно вскочил, вцепился в мотоцикл и резким движением выпрямил его. А тетка, держась за левое колено, отошла от мотоцикла и села на торчащий у дороги камень.

– Не справился, простите меня, – произнес побледневший и испугавшийся Абди.

– Не прошу, – ответила тетя, поглаживая колено. Она поцарапала ногу, а так ничего серьезного. – А если все же не прошу, а?

– Нет, только простите, тетя, простите меня!

– Нашла! – вдруг вскрикнула тетя, резко подняв голову. – Вспомнила – ступка, ступка!

– Что вы нашли? – спросил удивленно подросток. – Уступка? Что это?

– Не уступка, дурачок, ступка! Ступка, понятно? Чем ударяют и измельчают, вот эта вещь. Как она называла ее по-узбекски?

– Что ударяют? Что измельчают?

– Да что угодно! – сердито ворчала тетя. – Например, зерновой кофе, или что-то другое, твердое. А может, даже и человека! – И эта мысль сильно опечалила ее. Спустя некоторое время она промолвила. – А то, что ты называешь уступкой, это совсем другое.

– А что это такое?

– Вот, ты свалил мотоцикл, и в результате я поранилась, так? И ты просишь прощения. И я тебя прошу, так как ты и впредь будешь возить меня туда-сюда! Вот это и есть «уступка», понял?

– Уступка, уступка, ступка, – бормотал Абдибай, все равно ничего не понимая.

– В этом мире, если не уступишь, то окажешься под ступкой, дорогой. Вот, ведь человек, как приспособливается, – сказала тетка задумчиво. – Ладно, ты езжай теперь.

– Куда ехать? А вы?

– Обо мне не думай, я сама дойду.

Немного прихрамывая, Марина стала подниматься на бугорок. У ворот кладбища она остановилась, призадумалась. Иногда она здесь бывает, и надо же, сегодня без платка – если кто увидит, что скажет?

Да пусть говорят, что хотят – иди, Марин, иди!

Выйдя с кладбища, спускаясь вниз, тетя увидела «Чайку». Стоит на том же месте, где была. А мальчишки не видно. Обошла, увидела – заснул в тени мотоцикла.

– И что же тебе снится, уступкавай? Вставай, поехали.

Мальчик открыл глаза, поднял голову и медленно стал подниматься:

– Из того, что вы сказали, я ничего не понял, тетя учительница...

– Э, я и сама не понимаю, Абдибай! Вставай-вставай, поехали.

Пуанкаре

Рассказ*

(перевод с узбекского Саодат Камиловой¹)

Все подвластно времени. Ничто не может устоять перед ним.

Когда тридцать пять лет назад в Москве я покупал этот портфель, продавец все расхваливал: «Чистая кожа! Сто лет вам прослужит. Даже через век будет как новенький!» Некоторые из рядом стоящих соплеменников, не выдержав такой откровенной лжи, крутили пальцем у виска, точно хотели сказать, глупость тоже должна быть в меру, говорят же, мышке и так тесно в норе, а она еще решето к хвосту привязывает, вот это тот самый случай; но что поделать, можем просить, но приказывать не можем, так что не только у лириков, но и среди таких как мы, серьезных математиков, согласно теории вероятности, могут встречаться чудaki...

Между прочим, скажу заранее, будущее подтвердило, что они не ошибались. Но тогда... тогда сердце жаждало этого портфеля, будто если куплю его положу в него свои рукописи, крепко прижму к груди как громадный габаритный амулет – все дела мои наладятся. Хотя, мой приятель Тиркаш, осуществив, наконец, свою многолетнюю мечту, поймал в капкан волчицу и добыл, ну, то самое место прежде, чем она испустила дух, в общем, срезав острым ножом это место, он не поленился засолить и высушить его на камне под теплыми, мягкими солнечными лучами, завернул его в старую тряпицу и принес мне, настоятельно рекомендуя носить под мышкой как амулет. Видите ли, вся сила волчицы сосредоточена именно в том месте, и кому оно достанется, тот будет защищен от всех напастей и во всех делах достигнет успеха в самый короткий срок, если будет верить. («В секунду! Гарантия! – уверял мой приятель»). «Ты, кажется, будешь первым значительным человеком из нашего аула, друг, тем более, что в Москву собираешься, вот тебе-то это очень и очень пригодится! – Тиркаш умел быть убедительным. Конечно, я, как представитель поколения атеистов, с детского сада не был суеверным, я, с высшим образованием, с тонким, как язык змеи, галстуком, будущий ученый буду носить на груди половые органы волчицы? Говоря по-русски, где это видано... Но, чтобы не обидеть своего наивного, простоватого приятеля, я попытался деликатно, по-научному обосновать причину отказа от этого «диковинного» подарка: «Ну, вот, ты шел триста верст, нес эту вещь, а подумай сам, что произошло, какое из твоих дел в секунду, с гарантией, наладилось?» Я думал, что ловко убедил своими глубокими логическими раз-



**Абдукаюм
ЮЛДАШЕВ**

Писатель, переводчик. Родился в 1962 году в Самаркандской области. В 1985 г. окончил Ташкентский политехнический институт. Автор книг «Қаро кўзим. Шайх ур-раис» (1990), «Сунбуланинг илк шанбаси» (1998), «Тимсохнинг кўз ёшлари» (2003), «Парвоз» (2004), «Бир тун ва бир умр» (2007). В настоящее время работает в газете «Адолат». В 1999 году был награжден медалью «Шухрат».

* Журнальный вариант.

¹ Саодат Камилова родилась в 1974 году в г. Ангрене, окончила Ташкентский областной государственный педагогический институт, доцент. Работает на кафедре русского и зарубежного литературоведения НУУз. Автор более 30 научных публикаций. В периодических изданиях республики печатаются рассказы современных узбекских авторов, переведенные С.Э. Камиловой на русский язык.

мышлениями незваного гостя, но Тиркаш, туповато улыбаясь, изрек: «Тебя же я нашел, приятель, есть ли большая удача?» Ну что на это скажешь? Нет, я, конечно, всякими отговорками, типа: «потом приеду, заберу» отправил обратно своего друга вместе с нетронутым узелком с бесстыжим богатством. Впоследствии, когда на мою голову свалились всякие проблемы и невзгоды, события, изменившие мое сердце, душу и мировоззрение, особенно, когда я был раздавлен двумя огромными камнями, именуемыми неудача и несчастье, когда в объятиях тьмы я не мог ни вздохнуть, ни крикнуть, я раскаивался и сожалел: эй, заблудший человек, что же ты не взял ту вещь и не носил в кармане или на шее, что отвалилось бы у тебя что-нибудь? Вон, друг мой Тиркаш верил в то самое место волчицы и не обездолен! Не кто-нибудь, а сам себе господин! Ни разу в жизни не обращался к докторам, никогда не воздерживался в пище (По его словам, «...нет в мире большего наслаждения, чем оживленно беседея, касаться коленями колен своей старушки!»)

Однако, куда это меня занесло... Если правда, что жизнь состоит из чисел, то болтливость прямо пропорциональна годам, это факт. Поскольку я еще не видел молчаливого старика... Так вот, этот портфель: сто лет, мол! Не прошло и трети века, как он сморщился, как мое лицо, постарел, во многих местах потерялся, появились пролысины, напоминая мою лысую голову. Вещи под стать хозяину. Мало этого, он еще как мешок стал, совсем форму потерял, положу что-нибудь внутрь, слегка выпрямится, как пойманный гусь, но ненадолго, чуть погода опять съезжится, согнется. Замок, бедняга, когда-а-а уже вышел из строя: я устаю его закрывать, а он не устает: «чик» – и открывается. Поэтому я вынужден носить портфель под мышкой, или крепко прижав к груди. Лучше, когда у бедняка все имущество при нем, а может и нет. Однажды какая-то машина-пашина сбила меня, и все мои бумаги рассыпались. Тогда, как будто из-под земли, выросла толпа. Наслаждаясь бесплатным зрелищем, некоторые даже на телефон снимали, я умолял этих ротозеев, к Богу взывал: «Эй, мусульмане, я не могу подняться, даже на четвереньки встать, вы, здоровые люди, помогите мне собрать рассыпавшиеся бумаги, помогите, пожалуйста, умоляю...» Но хоть бы один услышал мою мольбу! Наоборот: «О! Умом тронулся, несет всякую чепуху... Нет, артистом себя представляет... Теперь будет доить шофера» Только такие гадкие предположения доносились до меня, и все. А между тем, я не артист, умом не тронулся, доить оторопевшего и растерявшегося беднягу-шофера у меня и в мыслях не было. Я впал в панику от страха потерять свои рукописи. Хоть после этого несчастного случая я четыре года подряд ходил опираясь на палку, и кость левой голени на четыре пальца стала короче, больше страданий мне доставила бесследная пропажа моих записей, рассыпавшихся из выпавшего из рук портфеля. С тех пор я свои рукописи, сложив стопкой, кладу в портфель перевязанными: обжегшись на молоке, на воду дуешь.

Времена изменились, вошли в моду разные удивительные словечки. Если говорить современным языком, этот портфель создал имидж вашего покорного слуги: студенты, коллеги не могли представить меня без него. Может, поэтому мой портфель постепенно стареющий вместе со мной, воспринимался вполне естественно. Честное слово, если бы у моего портфеля была голова с кулачок, то и она, подобно моей, начала бы трястись; если бы он хоть чуточку мог говорить, то и он, как я, начал бы заикаться.

Мы живем в ласковых и теплых объятиях легенд и преданий. И сами желаем этого, другого нам и не надо, другое нам не по душе, оно не приживется в нашей беспомощной душе. Мы живем в придуманных нами самими легендах и верим в них, а при необходимости поднимаем как знамя надуманные небылицы. Отстаивая их, объявляя: «Это единственная правда!» – мы героически боремся за нее, жизнь готовы положить. К примеру, наивные аборигены, встретив в лесу заблудившуюся лошадь, со страхом и недоумением разглядывают ее, а потом, когда она сдыхает от старости, возводят ее в ранг божества, начинают поклоняться ее костям. Так и в привычной жизни: некоторые явления и понятия мы сначала приспособливаем под себя, а потом внушаем их более слабым.

Несомненно, сейчас невозможно определить, кто первым сказал это. Но в институте о судьбе вашего покорного слуги, полной необыкновенных приключений, ходят удивительные слухи, постепенно, возможно, с моего молчаливого согласия, не требующего доказательств этого пустозвонства, слухи эти стали аксиомой. Вы спросите у любого первокурсника или первокурсницы: чему равен квадрат «а» плюс «в»? – двое из троих пробормочут что-то невнятное, или, в лучшем случае, скажут: «2а квадрат плюс «в» квадрат» – и будут стоять как пни. Но как только вы спросите у недоросля, который не может решить квадратное уравнение известное семикласснику: «Что вы знаете о Такомто Такомтовиче, который у вас высшую математику читает?», они тут же затараторят, не дослушав до конца вопрос. Мол, бедняга, ха-ха-ха, – большинство так и скажут о преподавателе, которому под шестьдесят, стоящему на пороге пенсии. За глаза они

начнут рассказывать и с удовольствием жалеть его... Что скрывать, каждый человек, по большому счету, считает себя здоровее, моложе и счастливее других, в глубине души любит лишь себя, поэтому невольно начинает рассказывать про беднягу, у которого уже несколько лет назад была полностью готова кандидатская диссертация, и защита вот-вот должна была состояться, но, представляете, самый близкий друг украл единственный экземпляр его научного труда и, естественно, по готовой работе с легкостью защитился. От такой низости курчавые волосы Такогого Такогоговича в одну ночь побелели, как снег, а потом и вообще покинули голову. Он не ожидал такого вероломства от близкого друга. Это даже не удар в спину, а равносильно тому, что, обнимая, вонзить с хрустом нож в бок... Пойдите, пойдите, это еще не все. После случившегося у бедного преподавателя начала трястись голова, речь нарушилась: когда волнуется, он начинает заикаться. Нет, во время лекции это не сильно заметно, если не считать его причуды, когда он сам задает вопросы и сам на них отвечает, то все почти нормально, терпеть можно...

Вот такие малопривлекательные слухи ходили, постепенно даже коллеги поверили в эти россказни. Сколько косых жалостливых взглядов бросали на меня высокомерные молодые специалисты. Готовую рукопись украли, мол! А между тем...

Конечно, когда я занимался наукой, еще не было такого чуда как компьютер. Но у меня были мозги, работающая сильнее, быстрее, качественнее компьютера, моя голова! Неужели в эту голову я не смог бы вместить шестьдесят страниц машинописного текста, сто двадцать девять формул, тридцать восемь графиков-диаграмм?! В то время... разбудил меня в полночь и спросил любую строчку на любой странице моей рукописи, я смог бы наизусть все рассказывать и рассказывать, пока не остановят. Тем более, формулы, графики... Тогда для меня мир был полон и богат только моими формулами и диаграммами. Иначе это было бы для меня концом света, одинокая черно-белая земля вспыхнула бы, как в день страшного суда... А они превратили меня в бестолочь, растяпу, простака, выронившего готовый плов изо рта. Мол, после этого я впал в такое состояние! Поседел, мол! Сочиняйте, как же, выдумывайте...

II

Кому-то нравятся тюльпаны...

Сердцу не прикажешь, даже если речь идет о точных науках...

Перед самым окончанием института я неожиданно для себя стал поклонником гипотезы Пуанкаре. Есть такая наука – топология, изучающая геометрические свойства тел. Гипотеза Пуанкаре является центральной проблемой именно этой науки. Предметом ее исследования являются тела не простые, а не изменяющиеся ни при сжатии, ни при вращении, ни при растягивании. Что-нибудь поняли? Нет? Ну, тогда объясню еще проще. Если трехмерная поверхность какой-нибудь стороной будет похожа на двумерную сферу, то эту поверхность можно приравнять к этой сфере. Эта гипотеза особое значение имеет при изучении сложных процессов происходящих в мире, а также при решении вопроса о форме вселенной, поэтому ее иногда называют «формулой Вселенной». Теперь поняли? снова нет? Тогда, вы можете представить, как простая чайная чашка превращается в бублик? На самом деле, теоретически это возможно, в геометрии – это способность растягиваться. Все, довольно, если вы, хоть немного можете представить этот процесс, значит, и смысл этой гипотезы сможете понять. Со временем, конечно. На самом деле не так уж непостижима суть гипотезы, выдвинутой французским математиком Анри Пуанкаре в 1904 году. Но доказать ее, решить... Вы видите, что гора – это гора, знаете, что ее недра содержат миллионы тонн руды, но это знание не дает вам возможности добыть из недр мешок золотых слитков. Математика вам не «сим-сим, откройся!» Обманчивая простота гипотезы тому подтверждение. Своей привлекательной простотой она и очаровывает. Точь-в-точь так же, как вы, спозаранку купаясь в хрустально-прозрачном пруде, встречаете богиню, и она не пугается, не смущается, наоборот, смотрит на вас так беззастенчиво, кокетливо и жеманно, делает таинственные знаки, а вы приходите от этого в восторг, с сильно бьющимся сердцем, с мыслью: «Дал же, Бог!», потеряв голову, волнуясь и задыхаясь, бежите к ней, но она со смехом, раз, и взмывает в небо. Она же пери! Живет на небесах, а когда становится скучно, снисходительно наблюдает за грешными людьми, уверенная, что смертные ни на что не способны, с удовольствием насмехаясь над заблудшими душами: тот не почитает старость, а тот не уважает молодость. Отважного юношу, который способен приручить такую пери-красавицу можно встретить лишь в сказках или стихах поэтов-романтиков, таких как Усман Азим. Вот и гипотеза Пуанкаре подобна такому божественному созданию: пожалуйста, найдите решение, докажете, накиньте на стройные ножки улетающей пери

пути, медленно потяните и увидите... как эта соблазнительная красавица с изумлением будет извиваться в ваших объятиях. Есть ли большее счастье для человека?! Несомненно, это легко сказать. Но сколько лет, сколько умных голов, докторов наук и академиков брались за работу засучив рукава, но, не сумев доказать гипотезу, признавали свое поражение и, обездоленные, один за другим покидали арену.

В 1934 году англичанин Джон Уайтхед объявил всем: «Я доказал гипотезу!» Но вскоре нашел ошибку в своем решении и признал свое поражение. Затем объявился американец Бинг. К сожалению, его решение было сложнее самой гипотезы. Очередь дошла до грека Папакириакопоулса. Но десятилетний кропотливый труд не дал ожидаемых результатов. Я читал, что с 1961 года активно работает над этой проблемой некий ученый Смейл. Но результатов не видно. К тому же, в 1976 году он, якобы, умер от рака в Принстоне...

Перечисленные исследователи – капля в море. Ведь только в одном Париже в институте Пуанкаре сколько умников и умниц много лет без устали бьются над этой проблемой! Несмотря на это, что поделаться, сердцу не прикажешь, и мне захотелось выйти на эту арену, померяться силами. Я был еще молод, сердце было исполнено юношеской романтики, голова соображала. Я начал одну за другой читать книги на эту тему, беспрестанно бегать в библиотеку. Чем больше читал, тем яснее понимал, как сложно найти доказательство гипотезы. Но это лишь еще больше разжигало мой энтузиазм.

Мой научный руководитель, узнав, что темой кандидатской диссертации я хочу выбрать гипотезу Пуанкаре, посмотрел на меня поверх очков так пристально, словно я был пришельцем с другой планеты, и спросил:

– Вы знаете, сколько в этой области работает докторов наук, академиков?

Я ответил, что приблизительно знаю.

– Тогда также знайте, молодой человек, – последние слова мой руководитель особо выделил. – Половина этого научного потенциала полжизни или хотя бы однажды пыталась подступить к гипотезе, о которой вы говорите, и, в конце концов, отступала, убедившись в ее неразрешимости.

Я отважился высказать свое мнение.

– Но решение все же есть. Не может быть гипотезы без решения.

Красноречивый руководитель не уступал.

– Конечно, есть. Решение в яйце, яйцо в сундуке, сундук в подвале, а подвал, – руководитель указал на небо, – вон там. Выше головы не прыгнешь, а только шею себе ломаешь, молодой человек. Займитесь лучше конкретной практической работой. Государство тратит на вас деньги не для того, чтобы вы гонялись за миражами! Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Если вы такой умный, почему вам не пришлось в голову, что эту абсурдную тему Ученый Совет не утвердит как тему кандидатской диссертации? Никогда этого не будет, никогда!

На самом деле, это был веский аргумент. Ученый Совет все равно будет учитывать мнение моего руководителя... Волей-неволей я подчинился:

– Что посоветуете, учитель?

Руководитель нахмурившись, наконец, сказал:

– Ладно, есть одна тема, которую я старательно приберегал. Дарю вам ее. С гарантией, что Ученый Совет ее утвердит. И увидите, через пару лет вы будете кандидатом физико-математических наук по специальности «Геометрия-топология».

О, Боже, я знал, что стоит за этими «дарю», «с гарантией»!.. Но что делать! Стоит запрячься, руководитель пойдет на «принцип», вот тогда прощай, аспирантура, прощай, научная работа! Пришлось, как обычно, из двух зол выбирать меньшее.

Мой руководитель был хитрым и очень изворотливым. Он хорошо знал, что из отечественных ученых в области математической геометрии специалистов можно по пальцам пересчитать. Поэтому, почитав полчаса лекцию об исследованиях Лобачевского, Александрова, Погорелова, Бакелмана, Вернера, Кантора, Ефимова, Позняка, Шикинна, мой учитель, в конце концов, преподнес свой подарок – как бы то ни было, это был один из способов очистить совесть – и предложил заняться исследованием циклических поверхностей пространства Галилея.

Несомненно, это тема тоже была интересной. Особенно, если взять во внимание спорные статьи Долгарева и Мартинца, опубликованные в последние годы. Стиснув зубы, я взялся за свою кандидатскую.

Я усердно трудился. Математика, как ни с чем не сравнимый магнит: сразу затягивает. Особенно интересно после работ, решающих трехмерное пространство Евклида, приступить к неисследованной полуевклидовой геометрии пространств.

Но, все равно, Пуанкаре – нечто особенное! Эта тема запала в сердце, как первая любовь, и постепенно становилась все привлекательнее. Я всегда любил дисциплину, старался точно распределить каждый свой час. Поэтому, сократил свой сон наполовину и сэкономленное время посвятил поиску способов доказательства теоремы.

Это были самые светлые, самые содержательные, радостные и удивительные дни моей жизни. Я жил в общежитии. Уставал до смерти, порой не было сил даже заварить и выпить чаю, иногда сутками во рту у меня маковой росинки не было, когда были деньги, ел отварную картошку, уходя на работу брал с собой два вареных яйца – это был мой обед... Однако я был счастлив. Поскольку основной мой труд миллиметр за миллиметром, по капельке продвигался. Несмотря на усталость, я карабкался к цели, когда силы покидали меня, я ногтями рыл землю, но двигался вперед. Там, там впереди, хоть и за далеким горизонтом, брезжил едва уловимый свет, что-то манило к себе. Ночами я стал слышать какой-то шепот, на рассвете в волнах ветерка что-то нежное, тонкое, в ласковом мягком наряде утренней росы ласкало мое лицо. Я боялся не только произнести это, но и подумать: неужели, неужели...

III

Время, время, время... Как оно скоротечно! Куда так спешит? Это его жестокое свойство разве не превращает жизнь человека в краткий сон? Спал-проснулся и в мгновенье сна увидел всю свою жизнь.

Как же ты безжалостно, время... Из семерых детей в семье я был старшим. Мне было двадцать шесть лет. Однажды, когда я приехал домой, мне решительным тоном, объявили: старшую сестру-то мы выдали замуж, но младшим братьям тоже пора жениться. Они уже замучили своим нытьем. Я с удовольствием уступил бы им место, но родители не соглашались, мол, и без этого в ауле идут всякие разговоры: до сих пор не женат, что-то в нем не то, дети его ровесников уже в школу ходят, и такой поступок только подтвердит слухи.

Между прочим, относительно женитьбы у меня не было особых проблем. Может поэтому я не придавал значения этому вопросу. Мой отец много лет назад в гостях у своего близкого друга увидел беззаботно скачущую девочку младше меня примерно на пять лет и предложил: «давай, вот что сделаем, женим моего первенца на твоей дочери». В общем, хотя я, как говорится, не укусил ее за ушко, но мы были помолвлены с детства. Прошли годы, друг отца умер. Но отец твердил: «Данное слово я сдержу, иначе мой друг встанет из могилы и, когда я тоже там буду, возьмет меня за грудки». Одним словом, кто бы ни бывал в том доме, все в один голос твердили, что она «длинноволосая», уж сколько лет заплетает девичьи косы, отказывает сватам, не водит компаний с ровесниками и ждет вашего покорного слугу.

Все мысли и мечты мои были о Пуанкаре и полуевклидовой геометрии пространств. Я не стал встречаться с невестой. Столько людей ее хвалят, во всяком случае, кроме длинных волос должно быть и других достоинств у моей будущей супруги много.

Говорят, долг родителей – женить своих детей. Но я не знал, что этот «долг» такой нелегкий, мучительный, и только потом понял, что это такое. Свадьба научила меня реально смотреть на жизнь, смотреть пристально, если говорить другими словами, я как-то внезапно «повзрослел». До этого я пребывал в объятиях романтических грез, верил, что «хлеб» – это «хлебушек».

В институте я младший научный сотрудник с зарплатой семьдесят рублей. А свадьба как ненасытный дракон, раскрывший свою пасть: что семьдесят рублей, не смешите людей, тысячу рублей – ничто... Видя, как родители и братья хлопочут, бегают, занимают деньги, я не знал куда деться от стыда. И что было для меня удивительно! Несмотря на заботы, бедоту, униительные просьбы в долг, перебранку со сватами за четыре метра шелка перед началом свадьбы (неспроста им дано прозвище «вражеская сторона»), сердитые взгляды: мол, вот, как-нибудь привезем невесту, вот тогда вам покажем – родственники были счастливы. Как ни старался, я не мог этого объяснить логически. Видно, действительно, как говорил мой младший брат, я в погоне за наукой в городе совсем оторвался от земли, забыл обычаи и традиции. И, быть может, он прав. Скорее всего поэтому в свадебный вечер я сидел сконфуженный, как на иголках, уставившись на своих близких и родных, которые искренне веселились, танцевали, поднимая пыль столбом, как бараны, которым вырезали мозги. В чимилдике¹ я увидел: супруга моя светловолосая и рослая девушка. Волосы, как и описывали, хоть и не до колен, но ниспадали ниже

¹ Чимилдик – занавес, преимущественно из белой ткани, закрывающий угол комнаты, в котором сидят новобрачные в первый вечер свадьбы.

пояса. Я каждого человека считаю чудом, венцом Вселенной. Каждый человек для меня близкий и священный. Так и к будущей спутнице жизни я отнесся. Ведь эта девушка, подчиняясь желанию родителей, столько лет томилась в ожидании, веря и надеясь, ждала меня, не развлекалась с ровесниками, не гуляла по паркам с посторонними юношами, пожертвовав всем. Разве она не заслужила того, чтобы я был для нее хорошим настоящим мужем? За каждую добровольную жертву во имя счастья, в конце концов, должно же наступить воздаяние. Размышляя подобным образом, я решил, что супруга моя – совершенство.

Бог свидетель, до свадьбы, да и после, я не знал ни одной женщины, даже если появлялась возможность, избегал этого. Единственная женщина – это моя спутница жизни.

В вопросах интима я стеснительный. Не знаю, какие напутствия ей дали ее родственники, какие наставления, в общем, после воссоединения, после того, как моя супруга передала простыню своим как свидетельство невинности, после того, как искупала меня, от радости на глазах у меня слезы выступили, и я, невольно обняв ее, стоявшую опустив голову от смущения, прошептал ей на ухо: «Мы будем счастливы, родная». Мне казалось, несомненно, так и будет. Но увы... Впоследствии этих слов я ни разу больше не прошептал своей жене, не смог. Даже когда хотелось, не мог их вымолвить.

Прошли годы. Временами я стараюсь представить себя женихом, которого купала молодая невеста, но не получается, оставшиеся где-то далеко смутные воспоминания тускнеют, бледнеют, их место занимает безжалостная реальность...

А в тот предрассветный час... Я был счастлив, был благодарен Богу за познание таинства, называемого супружеством, брачным союзом. В то утро радость и счастье переполняли меня. В комнату вошла теща. Я поздоровался. Теща села и стала пряжу, принесенную с собой. Да, точно помню, все так и было.

Мне захотелось сказать какие-нибудь добрые слова своей второй матери. Ведь она вырастила такую дочь, берегла, чтоб и тень не упала на нее, лелеяла, доверила мне. Может, поэтому, когда теща, здороваясь, спросила: «Как моя дочь?» – меня будто беспопугал, какая ворона меня за язык клюнула – не знаю. Желая похвалить супругу, я, расчувствовавшись, сказал:

– Ваша дочь него-о-одница!

Да, я сказал не «негодница», а «него-о-одница», и если б знал, что будет, то добавил бы «замечательная».

Вообще, по-моему, зачастую важнее слов голос, интонация, с какой они произносятся. Если слово – форма, то интонация – суть. Все дело в сути. Не так ли? Ведь, когда поэт, глядя на свою возлюбленную, говорит: «Ах, вот если бы нашлась девушка, которую не любили так, как я тебя», он же понимает: «я люблю». Та девушка, говоря своему возлюбленному «не люблю», на самом деле говорит «люблю» и дает это понять интонацией. Поэт понимает. Но теща не поняла.

Я сам видел: лицо шестидесятилетней старухи негодующе перекосилось, стало злым, глаза округлились. В мгновение ока моя теща превратилась в сказочную Бабу-Ягу и с презрением заявила:

– Если дочь моя негодница, плоха, найди себе хорошую!

Не успел я что-то сказать в оправдание, как теща вскочила и вышла вон. Нет, не просто вышла, а с силой хлопнула дверью.

Я понял, что я натворил. Мое лицо пылало от стыда, словно у мальчишки, получившего пощечину за неловкую проделку. Что-то нужно было предпринять. Но что?

Я растерялся. Пока я размышлял, что-то решал, время шло, дело было уже сделано. Теща, войдя в комнату дочери, заперев дверь изнутри, до обеда вела воспитательную беседу с новоиспеченной невесткой... И... и этим все закончилось.

Что наговорила эта пожилая женщина – я не знаю, но как только она попрошавшись ушла, моя супруга влетела в комнату расстроенная, бледная, готовая к ссоре. Ее воинственный вид делал ее непривлекательной.

В этом мире самое трудное для мужчины – оправдаться, особенно в грехах, которые не совершал. Тогда еще у моей жены была хоть капля стыда, поэтому, слава Богу, она не кричала, а шипела сквозь зубы. Ее ядовитые несправедливые слова градом сыпались на мою голову: «Идите к вашим хорошим! Мы теперь стали негодными, да? Когда уже дело сделано. Я знала, что у вас в городе много любовниц, вы же ни разу не навестили меня... Мама права, вы меня в грош не ставите, потому что я не образованная. Но мы видели этих образованных... Все они одна хуже другой. Вы и были среди таких»... Ну как себя оправдать перед женщиной, которая тарыхтела, как заведенная пластинка, со скоростью не тридцать слов в минуту, а сорок пять, которая не желала слышать ни объяснений,

ни вообще каких-либо слов? Я пару раз попробовал, но напрасно. Как острым клинком вонзались мне в сердце оскорбительные слова жены: «Если бы я за вас не вышла... если бы не вышла, вы бы вообще остались без жены, ходили бы с этими распутными... да вы и сам такой!». О боже! Ну что это за разговоры! Ведь надо же так смешать мое мужское достоинство, гордость с грязью?! Почему, почему она уже после первой ночи сожалеет, что стала моей супругой? Что, если бы не она, я бы век ходил холостым?

На глаза навернулись слезы. Невольно я вспомнил робкий взгляд миловидной лаборантки Мунисы с нашей кафедры. В последнее время при встрече с ней, у меня гулко стучало сердце, странная дрожь пробегала по телу. Поэтому я перестал появляться на кафедре. Нет, нет, я это делал сознательно, не в надежде на награду или благодарность. Я не хотел вспоминать эти события. Но я не понимал, за какие грехи обрушилась на меня такая брань? Еще кто, женщина, которая всю ночь провела в моих объятиях, которую я целовал, которая меня целовала, отдалась мне, которая купала меня, а когда я, волнуясь, говорил ей «родная» в смущении прятала свое лицо.

Сердце внезапно опустело, стало одиноко. Меня больше терзали не упреки жены, а ее ненавидящий, гневный, сбивчивый голос. Когда она успела стать моим врагом? Когда она успела научиться смотреть на меня с еле сдерживаемой ненавистью? Что, я оставил ее голодной, а сам был сыт? Если б ей дали возможность, она бы набросилась на меня с ножом и искромсала бы на мелкие кусочки. Моя вина в том, что я сказал одно опрометчивое слово? И это семейная жизнь, и это, как говорят, «муж и жена – частичка целого»?

С дрожанием, как лист тополя, сердцем я прошу: «Господи, лишь бы не услышали эти слова мои родители или кто-нибудь из родных... Мы же опозоримся... позор...»

Разбитое сердце не склеишь.

В тот вечер мы, однодневные супруги, спали отвернувшись друг от друга. Жена-то, сразу засопев, уснула, но я до рассвета не сомкнул глаз. Это было так не похоже на прекрасную, в которую я поверил после первой брачной ночи, семейную жизнь...

На следующий день я сидел читая «Высшую математику» Пискунова. Жена подошла ко мне, постояла, затем спросила:

– Что такая уж интересная книга?

– Похоже так, – ответил я.

Супруга, вынув из кармана тетрадный листок, сказала:

– Это вы будете читать, когда в Ташкент поедете. Сначала вот это прочитайте.

Это был список. Если не ошибаюсь, то содержание, если исправить многочисленные ошибки, было следующим: «В понедельник – день рождения тети. Во вторник – свадьба подруги. В среду у тети по отцу в обед помолвка, приглашены на вечер...»

– Что это за важный список? – спросил я.

– Мы как молодожены должны быть на всех этих мероприятиях. Как известно, с пустыми руками не пойдешь, обязательно нужны ценные подарки.

Супруга отдельно подчеркнула:

– Я – молодая невестка. Все будут обращать внимание на меня. Не заставляйте меня краснеть. Мой стыд – ваш позор.

Это-то я понял. Но я не понял, почему нельзя взять что-нибудь из свадебных подарков. Есть, мол, такое поверье: если притронуться к подаркам молодоженов, то из дома уйдет достаток, и скандалов, ругани будет больше. Это для меня была задача посложней высшей математики. Я попытался возразить:

– С деньгами сейчас сложновато...

Супруга надулась:

– Я насильно на шею вам не вешалась. Раз женились, будьте добры быть мужчиной. Ведь если я приду с пустыми руками, то домашние родственники обязательно скажут: «Пропади пропадом! Что, нишего себе нашла? Теперь сама расхлебывай кашу, которую заварила!» Разве не будут смеяться надо мной? Вы что с первых дней хотите меня с землей сравнять?

Я снова попытался объяснить:

– Ну как я тебе дам то, чего нет? Понятно же домашнее положение. Свадьбу сыграли...

От услышанных слов и змея сбросит кожу:

– Не козыряйте свадьбой. Не такой уж она и была. Мама-бедняга от стыда чуть не умерла... чем попрекать меня свадьбой, лучше подумайте, что подарить моей любимой тетушке в день рождения.

Это было уж слишком! Увидев мой гнев, двухдневная невестка запричитала:

– Какие только высокопоставленные сваты не приходили ко мне. А я...

Теперь что-то говорить не было смысла. Поэтому, подняв вверх обе руки, я склонил голову и пошел в дом матери.

Каждый день, через день обязательно объявлялось о каком-то мероприятии. На самом деле, живя в городе, я отошел от сельских обычаев, обрядов и традиций. Как говорится, когда мы были маленькими, ну например, дни рождения женщин так пышно не праздновались. Или, будучи несмышленным, я этого просто не замечал?

IV

Сначала «маленькая чилля¹», мол, нельзя ходить в потемках, нельзя уезжать далеко, затем «большая чилля». Одним словом, я остался в кишлаке на сорок дней.

Затем, получив разрешение своих родителей, поехал с женой в город. От института мне выделили каморку в семейном общежитии.

Я отстал от графика запланированных мной дел. Нужно было много работать. С одной стороны – кандидатская диссертация, с другой – Пуанкаре с нетерпением поглядывали на меня. Когда я, засучив рукава, решил приняться за работу, неожиданно выплыла еще одна большая проблема.

– Нужен свой кров, родина, – сказала моя жена.

Я сначала не понял смысла этих слов. Тогда супруга объяснила:

– Дом нужен. Разве можно жить в общежитии?

Я постарался пропустить мимо ушей это требование. Почему это нельзя жить, когда столько людей живут в «общежитии»? К тому же, легко ли купить дом? Днем с огнем не сыщешь... Я встал в очередь, если дадут квартиру в течение десяти лет, я от радости тубетейку в небо брошу. Однако жена фанатично повторяла и повторяла свое требование: «Нужна своя крыша!»

Нет, (или на нее напала городская апатия?) моя вторая половина не скандалила. Вместо этого она сгорбилась, словно все беды и страдания мира свалились на ее плечи, и, глядя в одну точку, шептала дрожащими губами: «Что теперь мне делать? Как теперь жить?»... Словно все человечество погибло, и она осталась одна в огромном мире. Такое состояние супруги приводило меня в отчаяние, у меня сердце кровью обливалось, горело, словно его солью посыпали, невольно наворачивались слезы. Ведь она, бедняга, переживает за нас, в конце концов, за меня...

Не прошло и четырех дней как приехала теща, надутая как торба. Слова старухи были известны:

– Я не выдавала замуж свою красавицу дочь, чтобы она пожелтела у чужого очага. Я поверила обещаниям сватов, что «в Ташкенте у вас дом как дворец», если бы я знала, что моя дочь будет жить в таком курятнике, где лишь двое гостей умещаются, а третьему приходится остаться и ждать на улице...

И так далее, и так далее. В такой обстановке жить было невозможно. Мне нужен мир, покой, у меня не было времени слушать всякий вздор, что-то доказывать. И так сорок дней выбросил на ветер. У меня была уйма дел, может быть, как ни странно это звучит, но меня ждало открытие, имеющее общечеловеческое значение. Поэтому, низко склонив голову, я пошел просить в долг к родителям, братьям-сестрам, к родственникам, друзьям-приятелям. Кто дал, кто нет. На работе мне выделили материальную помощь, премию, коллектив собрал деньги, в общем, я собрал около четырех тысяч рублей. Бывают кооперативные квартиры, я нашел такую на пятом этаже пятиэтажного дома. Что такого, как шутил мой знакомый, живущий на девятом, «ближе к Богу».

Я торопился. Хотелось побыстрее покончить с хлопотами, которые претили мне, и, наконец, вернуться к кандидатской и гипотезе. Время шло, время!

О Боже, кто ее отговорил или научил, не могу представить, но абсолютно неожиданно, словно снег на голову, супруга отказалась от однокомнатной «крыши». Нам нужна на двух или трехкомнатная квартира, по возможности, на втором или третьем этаже. Я попытался возразить, но она закрыла мне рот веским доводом: «Как я в таком положении буду подниматься на пятый этаж, на полпути ребенок выпадет! Вам вообще нужны ребенок, жена?».

Однако, чтобы осуществить ее желание, к тому, что я собрал, мне нужно было заработать еще добрую половину суммы. Говорить легко...

Мы жили в странное время. Какие-то кооперативы, товарищества росли как грибы после дождя. Люди гребли лопатами фантастическую прибыль, на партийных взносах присваивали себе тысячи тысяч рублей. Когда кто-то другой зарабатывает деньги, ка-

¹ Чилля – сорокодневье, маленькая чилля – двадцатидневье после свадьбы.

жется, что они падают ему с неба.

В общем, разговор за разговором, пригласил меня приятель вместе организовать большой бизнес. Дело было уже решенное. С меня деньги, с него идея, прибыль – пополам. Вложенные средства за полмесяца с гарантией окупятся, прибыль – минимум в два раза больше. Минимум. А если пойдет дело, то свободно можно получить в три, даже в четыре раза больше – аксиома, как «дважды два – четыре». Это было для меня самое желанное: что такое полмесяца, пролетят как миг. Зато потом... Ударили по рукам. Не зря говорят: «Бог дал, Бог взял». Так и случилось.

Теперь те дни я вспоминаю как страшный сон.

Полуразрушенная сельская ферма в самом центре Мирзачуля. Двор завален луком. Лук повсюду. Мы, два друга, став предпринимателями в надежде заработать большие деньги, и нанятые поденщики, около тридцати мужчин и женщин, не поднимая головы работали с утра до поздней ночи. Работа посильная. У каждого рядом электрическая плита, а кому не хватило плиты, у того утюг или раскаленная печка. Мы срезаем хвостики лука, затем прижигаем это место горячим утюгом или на плите и бросаем лук в кучу. Если так его обработать, то в пятнадцати-двацатидневном пути этот проклятый лук не сгниет. Мы закупили его оптом, чтобы на КамАЗах отправить в Россию. А там килограмм лука стоит ого-го-го... Услышишь, и во рту пересохнет, считая прибыль, закружится голова.

Представьте, день жаркий, воздух неподвижен, мы работаем во дворе, огражденном с четырех сторон, как в сухой бане, с нас градом катится пот, мало того, запах лука будто впитывается в нашу одежду, от него невозможно избавиться. Бог свидетель, я тогда узнал, что коровы, съедавшие выброшенный нами брак, давали молоко с запахом лука. По утрам по половине косушки¹ молока с жареным луком, на обед луковый суп, а вечером снова жареный лук и черствая буханка черного хлеба. Пальцы горят, из глаз градом текут слезы, начинаешь кашлять так, что легкие разрываются, голова кружится. Хочется кричать «караул!»

В этом аду прошли две недели. Наконец, мы закончили работу. Караван КамАЗов под руководством моего приятеля отправился в путь, в сторону Новосибирска. Я вздохнул с облегчением. С тех пор у меня такое отвращение к луку, что я вернулся в город, пообещав себе даже не смотреть на него, не использовать в пище, даже с шашлыком.

Как бизнесмен удачно провернувший важную сделку, я больше месяца усердно продолжал свои исследования, по которым так соскучился, жена с недоверием поглядывала на меня, но не произнесла ни звука. Это были самые плодотворные и счастливые дни. Я практически закончил кандидатскую. С новым воодушевлением я стал раскалывать «сладкий каменный орех» под названием гипотеза Пуанкаре. В математике тоже сладость косточки в ядрышке, в ядрышке...

А в душе... Еще до женитьбы я мечтал: вот когда-нибудь женюсь, у меня будет моя суженая, женщина-подруга. Нет, нет, я абсолютно не имел в виду нашу лаборантку! Когда я усталый буду возвращаться с работы, она, инстинктивно почувствовав, что я уже у дома, резво встанет, торопливо подойдет к двери и, встретив с улыбкой: «Как, не устали, наш папочка?» – тихо обнимет, прижмется горячим лицом к моему лицу, подставит щеку для поцелуя, возьмет из моих рук портфель и снова еще раз обнимет... Будет сидеть со мной за накрытым столом, чуть задевая мое плечо своим, с восторгом глядя на меня и слушая о делах на работе, будет гордиться мной, «восхищаться», ждать от меня чуда, верить в меня... Я представитель точной науки... Мир состоит из чисел. Это сказали еще до меня. И после меня будут говорить. Тот, кто не знает математики, тот не поймет и других наук. Особенно, если такой человек, не подозревая о своем невежестве, не стремится от него избавиться. Нет, это не я сказал. Это сказал мудрец Бекон, живший семьсот лет назад. Математиком не чужда и лирика. Пусть это не покажется хвастовством, но порой меня переполняют такие чувства, так трепещет сердце, исполненное надеждами и мечтами, что хочется передать их таинство и очарование, в бейтах². Итак, я открываю дверь и... она, увидев меня расцветает, глаза загораются, лицо пылает... А если я уеду на три-четыре дня и даже на один день в кишлак, она, соскучившись, полетит за мной, бросится в мои объятия, всю ночь шепча «я только ваша», заплачет от избытка чувств... Вы скажете, что это идеально, в реальности такого не бывает. Не правда. На самом деле наша жизнь состоит из идеальных, удивительных и сложных законов. Иначе мир бы давно

¹ Косушка (коса) – чашка для супа.

² Бейты – двустушия.

рассыпался, превратился в песок. За примером далеко ходить не надо, вспомните законы газа, которые мы изучали на уроках физики в школе. Ну, для чего применяются эти законы? Да, верно, для идеального газа. На самом деле и исследование Пуанкаре тоже для геометрически идеальных тел...

Но впоследствии я понял, что такие же несчастные, как ваш покорный слуга, в погоне за идеальными иллюзиями, не находя их дома, ищут свой идеал на стороне.

...Поспешно возвратившаяся с улицы жена, сообщила, что видела моего приятеля в городе. Я не поверил. Но супруга стояла на своем. Я расстроился, что опять отвлекаюсь от работы, но, что поделать, пришлось одеться и идти к приятелю. Дверь открыла его болезненно бледная супруга. Сердце, словно предчувствуя что-то, ёкнуло. Войдя в дом и увидев своего приятеля, лежащего с обвязанной головой, я понял, какая беда постигла нас. «Лук по дороге начал гнить и потек... Если мне не веришь, спроси у шоферов, у меня есть и их адреса и телефоны. Но не своди их со мной лицом к лицу. Я не заплатил им за дорогу, они съедят меня живьем, поэтому я отсиживаюсь дома... четыре КамАЗа лука потекли, как мои горячие слезы!» – причитал приятель.

Я почернел от горя...

V

Я почернел от горя...

Несчастье как подлый охотник шло по следу: если один выстрел достиг цели, то ядовитые осколки с диким азартом один за другим делали зарубки на моей судьбе.

Удивляюсь, как до этого терпели мои младшие братья, но теперь им обоим внезапно приспичило жениться. Двойная свадьба, долги...

Тут супруга не дает мне покоя, почерневшая от обиды, называя меня бесхарактерной тряпкой, проклинает, плачет, причитает, затем, обессилев, требует дать адрес моего приятеля, если бы не я, она давно бы вцепилась в волосы бедняге. Откуда прознала – неизвестно, но вскоре явилась моя коварная теща, нахохлившись как курица, снесшая яйцо. Дочь с матерью не поверили ни единому моему слову...

Это были мои самые горькие, самые черные дни...

Человек, в конце концов, устает от постоянных оправданий. Но надо было жить, восстанавливать эти проклятые четыре тысячи рублей. Нужно было сделать хороший денежный подарок к свадьбе братьев. Самое тяжелое – это нападки жены и тещи, которые, безжалостно пилили меня, действовали на нервы. Мне необходимо было закрыть им рты, делавшие мой мир черным. Возникли мысли: «возьми пиджак и уйди. Плюнь на все. Мир широкий», – но тут же другие: «Ты мужчина или баба? В чем виноват твой ребенок? У тебя есть отцовские обязанности! Что, хочешь при живом муже жену второй сделать, а ребенка сиротой?». В конце концов, видя мое состояние, супруга не выдержала: будучи беременной, устроилась на работу в детский сад. Теперь вот работает, стирает штанишки чужим детям. Не это ли самопожертвование ради семьи?! И я совсем повесил голову...

Смутно помню, что было дальше. Словно я не жил тогда, а как белка в колесе вертелся в какой-то стеклянной клетке, задыхаясь, бежал и бежал. Помню, что, отбросив всякий стыд, я пошел просить в долг у знакомых и незнакомых. От скольких я уходил ни с чем, как побитая собака, не счесть! Я даже – О Боже! – унизился перед нашей лаборанткой Мунисой с пугливым взглядом. Я знал, чувствовал, что нет большей низости, но... Бледная, как полотно, обеспокоенная за меня Муниса на следующий же день принесла двести рублей и золотое колечко. Между прочим, я так и не смог вернуть ей долг: в скором времени Муниса уволилась, перешла на другое место работы. Куда именно перешла, никто не знал, а самому узнавать не было ни возможности, ни желания. Я надеялся, что мой приятель возвратит мне хотя бы половину затрат, но он внезапно переехал. Пару раз искал его – не нашел. Через три месяца его увидела моя супруга за рулем новенького «Жигули». Вот скандалила, вот скандалила. Есть ли в мире тяжелей муки, чем слышать упреки с презрением и отвращением высказываемые в мой адрес женщиной, которая носит мое дитя, наше дитя?! И, не выдержав таких испытаний, мои нервы сдали, лопнули, словно их замерзшими положили в чашу с горячей водой. В одну ночь я поседел, голова моя временами стала трястись, словно голова куклы, у которой выскочила пружина, когда я волновался, у меня появилась нелепая привычка заикаться. А ведь я читал лекции студентам! Вот когда появилась легенда об украденной рукописи! Якобы самый близкий друг украл мою рукопись и тут же защитился по теме, которую утвердил мне Ученый Совет!..

Сохранившиеся воспоминания беспорядочны. В те годы я без устали работал как настроенный на вечную работу робот. Сначала в двух местах, потом в трех. С утра с портфелем под мышкой бегу на лекции, после обеда на стройку, вечером работаю сторожем; в субботу, воскресенье – чернорабочий по найму... Работа, работа и еще раз работа. Заботы о деньгах, деньгах и еще раз деньгах. Всякий раз, когда я избавлялся от очередного долга, вздыхал с облегчением, словно сбрасывал с себя очередную часть тяжелой ноши, ведь осталось немного, «вот закончу все расчеты по долгам, потом займусь наукой», – утешал я сам себя. Тема моя, ее никто не отберет, к тому же работа на девяносто девять процентов закончена. А Пуанкаре... столько лет ждал, ничего, подождет еще немного. Я успею. Обязательно успею. Я же не отказываюсь, но пока я вынужден... Осталось недолго, очень недолго, вот еще раз изо всех сил...

Между тем, мы и «крышу» приобрели. Как мечтала моя супруга на втором этаже, только двухкомнатную. Я остался должен ей одну комнату.

Между тем, слава Богу, я стал отцом двоих детей: мальчика и девочки.

Между тем, умерла моя угрюмая злая теща.

Между тем, институт Математики Клэя в Кембридже обнародовал семь самых важных проблем математики третьего тысячелетия. За решение каждой из них обещана премия в миллион долларов. В списке была и гипотеза Пуанкаре...

Между тем, начавший вместе со мной работу Аюпов в двадцать семь лет стал кандидатом, а в тридцать доктором наук. А я в шестьдесят все еще был старшим преподавателем, повторяющим, как попугай, одно слово по два раза, задающим студентам вопросы и сам же на них отвечающим... Между прочим, я недавно был в институте, которым руководит Аюпов, на защите кандидатской диссертации одним моим знакомым. Сидит он в президиуме, весь такой подтянутый, прямой, как штык, фронт. Глаза горят. Совсем не постарел. Если поставить нас рядом, не удивительно, что подумают – отец и сын... Аюпов пару раз посмотрел в мою сторону, но, кажется, не узнал. А как ему меня узнать? Молча встав с места, я вышел из зала, чувствуя, когда выходил, что Аюпов смотрит на мой потрепанный портфель. Может что-то вспомнил... однако на этом мои испытания в тот день не закончились. Иду я по коридору по ковровой дорожке и вижу на стене стенд «Наша гордость». Бросив отстраненный взгляд на ученых – гордость института – внезапно остановился, как от удара током. Я не мог ошибиться. В начале третьего ряда на стенде была Муниса. Все та же Муниса, невинная, скромная, робкий взгляд... годы словно не изменили ее. Дрожа от волнения, я еле-еле смог прочитать: «Муниса Такаятловна. Доктор физико-математических наук. В таких-то годах читала лекции в университете Теннесси...»

Я не помню, как покинул здание института...

Природа не выносит пустот. Они обязательно чем-то заполняются, как бы я не признавал, как бы не сопротивлялся, с каким бы усердием не отрицал, однако понимал свое бессилие перед законами природы: сознание, мышление нельзя одновременно направлять в разные стороны, стоящий одновременно в двух лодках погибнет, потому, что или наука, или материальное! Невозможно жить пятьдесят на пятьдесят, так как в результате может получиться что-то вроде недоношенного ребенка. Необходимо тщательно очистить голову от повседневных забот, от хлопот о хлебе насущном, возвратиться в прежнее русло...

Признаюсь, свои надежды я возлагал на детей. Как бы то ни было, яблоко от яблони далеко не падает. Однако моя супруга возвела китайскую стену между мной и моими детьми, создав образ бестолкового отца, упрямо, строптиво и категорично заявляя, что я «слабый, не способный ни на что, не умеющий ни зарабатывать, ни хорошо жить, как другие». Несмотря на все это, я попробовал. Но из детей, не способных высчитать простую производную «икса» в кубе, не понимающих разницы между логарифмом и интегралом, не могло получиться великих математиков, это понимал даже такой бестолковый старший преподаватель, как я...

VI

Все равно, человек жив надеждой, а если дерево надежды завянет, продолжает надеяться на молодую поросль.

Каждый новый учебный год, начиная читать лекции студентам, я всякий раз в конце занятия задаю один вопрос. Как правило, это довольно сложный вопрос. То есть я стараюсь узнать: в этой аудитории встретится ли хотя бы один исключительно способный? Этот вопрос, как проверка лакмусовой бумажкой – какова аудиторная шелочь, то есть каков научный потенциал? А в потаенных уголках души теплится надежда: а вдруг по-

явится одаренный... вместе бы продолжили работу над заброшенным исследованием, попытались бы решить гипотезу. Может быть, энтузиазм молодости и опыт пожилого человека вместе породили бы настоящее чудо. Ведь, если кефир проливается, остатки кислого молока все же остаются на стенках посуды. Недавно, наконец, найдя возможность, я внимательно перечитал свои рукописи. Что-то осталось во мне, в испепеленном сердце как будто мерцали угольки...

К сожалению, желание каждый раз устраивать проверку исчезало, я стал подумывать, что, в конце концов, надо прекращать эти бесполезные поиски.

Помню точно – я же математик, и цифры – моя карта обозрения – в новом учебном году я читал первую лекцию студентам второго курса. Математика имеет притягательную силу. Математически обоснованная логичность мира, совершенство, которое уму непостижимо, всегда меня приводит в восторг. Может поэтому, когда я заканчивал читать лекцию, я испытывал трепет и волнение, но, испугавшись, что начну заикаться, старался взять себя в руки. В тот день в конце лекции, указав на формулу на доске, я невольно взволнованно выпалил:

– Если бы отрицательная линия Гауссе была связана с подобием поверхности дуги, то задача бы приняла совершенно иной характер! Как это интересно!

Студент, сидящий на передней парте, прошептал на ухо приятелю:

– Радует, словно его корова двойней отелилась!

Хотя я отчетливо услышал это, но не посчитал нужным обращать внимание на реплики подобного рода. Я был очарован решением задачи:

– Теперь здесь даже теория Лобачевского не поможет. А что это значит? Это значит, что в науке геометрии появятся новые открытия...

Я начал заикаться. Это был плохой признак. Взяв себя в руки, я посмотрел на аудиторию. Но не встретил ни одного заинтересованного, вместе со мной восхищающегося взглядом. Я обреченно вздохнул. Уже не веря и нехотя, но посмотрев на часы и увидев, что до звонка осталось три минуты, я, показав на формулу на доске, сказал:

– Обратите внимание на лемму 2.1.1. Известно, что одна часть кривой линии Гауссе не поясняется коэффициентом первичной формы квадрата. Значит, если взять за константу « v », тогда в чем очевидность леммы? Да, в том, что она показывает. То есть, если константа « v », то « D » из формулы 0.1 само по себе чему будет равно? Ну?

Это было моей лакмусовой бумажкой, то есть контрольным вопросом для выявления научного потенциала студентов. Как обычно, студенты молчали. Смотрю, многие прячут глаза.

Я не скрываю своего удивления и разочарования:

– Ведь это же просто. Ребята, будьте немного внимательнее. Не на меня, а на формулу смотрите, на формулу. Решение очень легкое. Надо всего-навсего поразмышлять логически. Ведь мы без страха выделили « $v = \cos \psi$ ». Ну, в этом положении чему будет равняться « D » из формулы 0.1?

Студенты молчали, словно воды в рот набрали, я, предвидя, что так и будет, нахмурившись, стал складывать лекции, которыми никогда не пользовался, в портфель. В этот момент я увидел, что студент, сидевший в центре, поднял руку.

«Началось. Сейчас начнут задавать вопросы на другую тему, насмехаться. Недотепы!» – подумал я и раздраженно кивнул головой.

– Что?

И юноша, что вы думаете:

– Если « v » взять за константу, то « D » в формуле 0.1 будет равно нулю.

Я не поверил своим ушам. Нет, то, что « D » равно нулю, было верно. Но откуда это известно мальчику? Неужели случайность?!

– Так, юноша, выходите и докажите.

Студент подошел к доске и в течение полутора минут все доказал. Я обомлел. Прозвенел звонок. Заметив мое состояние, студенты продолжали молча оставаться на своих местах. Я еле слышно спросил:

– Продолжить сможете? Теперь, если производная площади равна нулю, то, что мы должны сделать с координатами кривой линии?

Юноша уверенно ответил:

– Необходимо уточнить. Для этого мы должны привести формулу 0.2.

Студент начал записывать названную формулу.

Бог есть! Я нашел, что искал! Наконец! А я уже отчаялся!

Поле занятий я пригласил студента на кафедру. Побеседовал. Хорошо. Врожденный математик!

Я слышал, что когда-то всю жизнь искавший, вечно смотревший под ноги человек, в конце концов, нашел золотую монету, но, не поверив в это, выбросил ее. Чтобы не случилось нечто подобное, я действовал осторожно. Сначала предложил участвовать в студенческой олимпиаде по математике, повел в библиотеку и помог выбрать три-четыре необходимые книги. Поручил внимательно прочитать и разобраться в них. Юноша, как хороший воспитанник медресе со словами «будет сделано», взял книги.

На следующей неделе я беседовал со студентом. Что говорить, мальчик, как я советовал, внимательно прочитал и разобрался в книгах. От радости я чуть не сошел с ума. У студента были способности, знания и интерес к науке.

После третьей пары на кафедре я начал потихоньку поворачивать разговор к моей цели: я начал рассказывать о гипотезе Пуанкаре, решение которой не могут найти вот уже сто лет. Чтоб заинтересовать, сказал об обещанной премии в миллион долларов тому ученому, который решит эту гипотезу. Как я ожидал, услышав о размере премии, студент приподнял брови, глаза загорелись. Я почувствовал, что на верном пути. «Эти деньги ждут своего хозяина. Может быть, они будут нашими», – сказал я.

Как и следовало ожидать, студент недоверчиво покачал головой: «Когда столько ученых...»

Я ждал такого ответа и сразу выдал заранее заготовленную речь.

– Другие ученые думают так же. На самом деле это паника на пустом месте, боязнь собственной тени, боязнь платья, развевающегося от ветра на веревке. Поэтому никто по-настоящему не берется за решение этой гипотезы. Если честно, молодой человек, я сделал кое-что в этом направлении.

Студент снова посмотрел недоверчиво:

– Вы? – поняв неуместность своего вопроса, покраснел. – Простите.

– Ничего страшного, – сказал я и перевел все в шутку. – Что вы думаете, меня в аудиторию сразу с неба спустили старшим преподавателем с портфелем под мышкой для чтения лекций? Я тоже был молодым, и у меня были свои мечты.

Как не скрывал юноша, но чувствовалось, что он мне не доверяет. Ну правильно, где Пуанкаре, а где преподаватель, вспоминающий, что когда-то был молод, а сам сидит в помятом костюме, потрепанном галстуке, пузатый, облысевший, к тому же с трясущейся головой и заикающийся!

Я достал из портфеля свои рукописи. Сначала прочитал длинную лекцию о гипотезе. Студент, на удивление, был очень сообразительным, находчивым с аналитическим складом ума. Он быстро улавливал суть сказанного, иногда, когда я начинал заикаться, даже помогал мне. К концу третьего часа юноша стал четче понимать мою задумку.

Этого мне было достаточно. В нашей науке, если вы нашли конец клубка, вы его обязательно распутаете, этого требует простая логика. Чувствовалось, что юноша заинтересован темой, ему не сиделось на месте, губы вздрагивали.

Мы попрощались, договорившись встретиться завтра.

Я радовался. Так был рад, что за последние годы впервые сделал «прогул» и не пошел на второе место работы. И на третье тоже. Чтобы не слышать исступленных причитаний жены: «... что мне делать?.. как жить?..», я засунул в уши вату и залег с книгой в комнате.

Я намеревался вернуться в науку. Тридцать лет своей жизни я отдал повседневным заботам, хватит наконец. Я тоже человек. Поживу чуть-чуть для себя, поработаю немного. Чтобы не умереть с нереализованной мечтой! Даже если бы не в трех, а в восьми местах я работал, то и тогда не смог бы удовлетворить ежедневные потребности пещеры под названием повседневная жизнь. Вот и квартира пятикомнатная есть, но теперь нужен дом. Сын подрос, нужно его женить. К дочке, которая в колледже учится, мол, сваты приходят. Значит, надо готовиться. Уже сколько лет я задыхаюсь в кольце проблем, которые не дают покоя ни днем, ни ночью. Хоть на короткий срок вырвусь на свободу, разорву путы. Дайте мне глоток воздуха, один глоточек! Потом, ладно...

В душе, в каких-то темных, скрытых от всех, даже от меня самого потаенных уголках, теплилась одна безумная мысль: если Бог даст решить вместе со студентом гипотезу, то я... я откажусь от премии. Ладно, пусть возьмет студент, ему она нужнее. Но я откажусь от причитающихся мне пятисот тысяч долларов. Полностью! Ценнее, чем полмиллиона долларов, я считал то счастье, ту радость, которую получу доказав гипотезу, загадку века. Не смог объяснить? Для того, чтобы это понять, нужно быть настоящим математиком. Конечно, моя жена, узнав, что я отказался от денег, живьем меня съест, дети станут презирать, знакомые примут за сумасшедшего. Но я все равно так поступлю. Мне кажется, так поступит и студент. Ведь в его жилах течет кровь настоящего математика...

Всю ночь я листал свои рукописи. Я снова хотел превратиться в того прежнего ис-

следователя, чувствующего запах победы... На следующий день я собирался в университет, как на праздник, в приподнятом настроении. Положив в портфель три редкие книги, важно отправился в путь.

Юноша пришел на кафедру в обговоренное время. И это меня обрадовало: точность – первый признак математика. Невольно я не удержался от похвалы в адрес студента:

– Молодой человек! Взгляд ваш пронзительный, сознание чистое. По правде говоря, столько лет преподаю, но студента, понявшего значение гипотезы и твердо решившего ее доказать, что? Не встречал. Правильно, для доказательства гипотезы придется много времени, что сделать? Совершенно верно, потратить. Но верьте, это стоящее дело. Не только стоящее, но и дело, которое может получить большой резонанс в научном мире. Если найдем доказательство, то все математики Узбекистана что будут делать? Да, будут завидовать. Что я говорю? Не только в нашей стране, но все великие ученые мира...

Говорю с воодушевлением, смотрю, а пыл студента слабеет.

– Учитель... – нерешительно проговорил он.

– Бойтесь? Не бойтесь, абсолютно. Вы молоды, у вас есть силы, знания. Это дело у нас двоих что сделает? Получится. Обязательно получится. И тогда... – тогда студент достал из кармана пригласительный билет, протянул его и сказал:

– Так получилось, учитель. В семье я первенец...

Это было приглашение на свадьбу, которая должна была состояться через два дня. Я оторопел. Попытался поздравить.

– Поздравляю. Пусть время мчится в арифметической прогрессии, а ваше счастье увеличивается в геометрической.

Почувствовав, что настроение у меня изменилось, он торопливо стал оправдываться:

– Но я, учитель, обязательно займусь гипотезой. Вот свадьба пройдет...

Огорченный, я поддержал его:

– Конечно, конечно. Сначала пусть свадьба пройдет.

Студент старательно стал уверять меня:

– После свадьбы я спокойно займусь наукой. Вот увидите. Поймите, учитель...

Что я мог сказать?

– Конечно. Я, конечно, понимаю, – промямлил я.

Юноша снова стал оправдываться.

– По правде говоря, если мы в ближайшее время не сыграем свадьбу, я потеряю свое счастье.

Мои мысли спутались. Кое-как я смог вымолвить дежурные фразы:

– Конечно, конечно. Личное счастье важнее.

Снова как шелчок раздалось обещание:

– После свадьбы я решительно возьмусь за науку.

Я удержался от желания объяснить жениху, что его планы вряд ли когда реализуются.

– Конечно. Но только, молодой человек, пусть пройдет маленькая чилля.

Студент воодушевился.

– Я узнавал. Маленькая чилля закончится через двадцать дней. В это время я должен быть дома. Но после чилли, вот увидите, учитель, по-настоящему возьмусь. Очень интересная, оказывается, гипотеза.

Я невольно пристально взглянул на студента. Он смотрел на меня простодушно, искренне. По лицу он, кажется, и вправду верил в свои слова. В этот раз я не смог не сказать, что у меня на душе:

– История повторяется, смотрите-ка. Как бы то ни было, кажется, верно, что развитие происходит по спирали. Знаете, все равно есть развитие. Точно такие же слова я говорил себе тридцать лет назад, сам себя уверял, а теперь вы произносите это. Я тоже думал тогда, что Пуанкаре подождет. Пуанкаре ждал, долго ждал, ждал терпеливо тридцать лет. Но я...

Вижу, у бедного парня глаза недоуменно расширились. Я сразу же взял себя в руки, подавив дрожь в голосе, сказал:

– Будьте счастливы. На свадьбу, скажу заранее прямо, прийти не смогу. За это простите. Честно говоря, я сегодня вам еще три книги принес. Для чтения и анализа. Но вы в заботах о свадьбе. Конечно, приятные заботы. Поэтому, – я вытащил из портфеля зарплату, полученную на втором месте работы, – оставим пока книги... Это вам. Хоть и мало, но подумайте за что? За многое! Свадебный подарок, как говорится.

Обрадованный юноша даже не попытался хотя бы для приличия отказать, и я понял, что у него вдоволь забот. Однодневный мой ученик, несколько раз поблагодарив

меня, вышел. На сердце осталось какое-то тяжелое чувство: мне показалось, что благодаря меня, юноша на мгновение склонил голову чуть ниже обычного. Но кто его знает! Может мне показалось. Правду говорят, что страх в твоей душе заставляет на других поглядывать с опаской.

Обессиленный, я не сдвинулся с места. Сидел, сидел. Внезапно... я горько зарыдал, умоляя: «Господи! Верни меня на тридцать лет назад, господи... Господи, верни меня на тридцать лет назад...»

VII

Что-то во мне изменилось... Несмотря на вопли, панику, мольбы своей супруги: «так мы через месяц останемся голодными. Мы, что, будем продавать вшей, чтобы сыграть свадьбу», я не пошел на оба места работы, склонив голову, с видом «возвращение заблудшего сотрудника», прикинувшись больным и улегся в постель.

Я...я, прячась от домочадцев, работал. Сердце что-то предчувствовало: решение гипотезы близко, очень близко. Я будто стою у окна этого таинственного замка со связкой ключей в руках. Теперь осталось лишь подобрать нужный ключ. А еще я чувствовал, что мне нужен был молодой ум, один живо мыслящий помощник. Конечно, на студента с его маленькой чиллей... большой чиллей сейчас, а может, и в дальнейшем надежды не было. По теории вероятности всякий ключ может открыть замок. Но на это уйдет очень много времени. А у меня его нет. Через неделю, самое большее через десять дней, мне придется встать с постели и, склонив голову еще ниже, искать дополнительную работу. Без этого невозможно. Без этого не получится. Без этого, и так запаниковавшая моя супруга, не ведающая ничего, кроме хлопот и расходов предстоящей свадьбы, больше не выдержит.

Десять дней пролетели как мгновение. Я все еще у двери, все пробую ключи, вставляя их в замок. Мне нужно было время. Хотя бы еще десять дней. Хотя бы еще одну неделю. Но где мне взять ее?

Я вышел на работу. В университете мое положение было непрочным. Мне уже под шестьдесят. Скоро достигну пенсионного возраста. А ученой степени у меня нет. Значит, меня переведут на полставки, потом мягко предложат уволиться «по собственному желанию». Если соглашусь, может, «за долголетний плодотворный труд» вручат грамоту, подарят вышитый чапан... Нашел я дополнительную работу. Хотя и возвращался домой в полночь, каким бы уставшим ни был, все равно старался часа два заниматься гипотезой. Но это было нелегко. Увы, теперь я был не молод, время давало о себе знать. В большинстве случаев я засыпал, положив голову на свои рукописи, утром просыпался от панических криков и причитаний своей спутницы жизни: «...что мне делать?... как жить?»

Однажды хотел схитрить: предложил жене отдохнуть в санатории, мол, куплю ей путевку. Самое многое на двенадцать дней. И здоровью полезно, столько лет живем, ни разу она не отдыхала, не выезжала за рубеж, даже на Чарвакское озеро, которое под боком, не позволила себе съездить... Супруга посмотрела на меня сначала удивленно, затем так насмешливо, точь-в-точь как на сумасшедшего человека, глянула и сказала... В общем, если пользоваться более мягкими выражениями, то, столько лет не отдыхала моя самоотверженная женушка, еще столько же не думает отдыхать, потому что в отличие от ее ленивого, инертного, равнодушного, тяжелого на подъем мужа, коим я являюсь, она считает главным – счастье своих детей, а поездка, ясно, что помешает сделать приличную, как у людей свадьбу, каждый рубль на счету, и я не должен транжирить, а должен думать, как побольше заработать, поскольку обеспечить членов семьи, сыграть свадьбы детям – главная задача мужа и так далее, и так далее. (Да, эта женщина не поедет на отдых-подых¹, а если я отвезу в санаторий-панаторий и привяжу ее там, то она, разорвав все веревки, хоть ползком, хоть вприпрыжку будет дома раньше меня). А потом снова заведет старую пластинку: «Если вы не женились бы на мне, то встретили бы женщину как вы, малохолдную, вот тогда увидели, что было бы! Скажите мне спасибо, я как-то справляюсь с нашей семьей. Если бы у вас была другая жена... если бы у вас была другая жена...».

Сердце мое тупо заныло: на самом деле, если бы у меня была другая жена, что было бы? сказать... Нет, нет... Я постарался отогнать эту мысль... Подальше от греха...

Так и продолжалась моя жизнь. Я украдкой продолжал работать над доказательством гипотезы. Когда работа бессистемна, скорого результата не жди. К тому же от смышленного студента, хотя давно прошел срок большой чилли, не было ни слуху, ни

¹ Отдых-подых – национально-специфические языковые единицы типа «плов-млов», «шурпа-мурпа».

духу. Спросил о нем у куратора группы:

– Молодой муж никак не может освободиться от нескончаемых мероприятий и празднеств. Хотя я предвидел, что так будет, но не сдержавшись, от усталости, резко вспылil: «Пусть засунет свое обещание в одно место...» Не понимая в чем дело, куратор не остался в долгу и связил: «Если завидно, засуньте себе перек в задницу!»...

В один из таких дней...

В один из таких дней... я заглянул в интернет... и не поверил своим глазам... мир померк. Сорокаоднолетний Григорий Перельман, математик, живущий в городе Санкт-Петербурге, работающий старшим научным сотрудником в институте, гипотезу Пуанкаре полностью, что сделал? Да, доказал... В журнале «Science» объявили доказательство теоремы Пуанкаре «Событием года». Наша Сильвия – Зульфия Назар – успела опубликовать статью, превознося автора доказательства до небес. Перельмана наградили международной «медалью Филдса», в нашей отрасли это равнозначно Нобелевской премии...

Поэты лукавят... Мол, если ты хочешь написать что-то на какую-то тему, и раньше тебя это напишут другие, то надо радоваться этому. Вздор! Может, в литературе так, но не в точных науках. Я не такой великодушный человек. Я завистливый. Бог свидетель, когда я прочитал ошеломляющую новость, все мое существо наполнилось горечью и завистью.

– Почему он? Почему он? Почему не я...

Жизнь потеряла всякий смысл.

Но это еще не все. В скором времени на сайтах опубликовали статьи, которыми пользовался Перельман для доказательства гипотезы. О, Боже, что это? Какое еще есть у тебя для меня испытание? До каких пор ты будешь смеяться надо мной? Ведь... ведь из ста – девяносто девять целых девять десятых процента мое решение! Я же шел по верному пути! Оставалась всего одна сотая доля работы! Всего месяц, нет, нет, самое большее неделя. Если бы вплотную я занялся исследованием, я бы сам доказал гипотезу. Если бы со мной вместе работал этот сметливый студент, может быть мы закончили работу еще быстрее... Ведь так мало оставалось... Оставалось совсем чуть-чуть.

О, Создатель, тебе мало перенесенных мною страданий? Почему ты лишил меня этого счастья? Почему ты позволил отобрать причитающийся мне кусок?... Почему? Почему же? Хотя я знаю, это не твоя вина, но что мне делать, обвинять самого себя? Наказывать самого себя? Осознание своей вины разве избавит меня от страданий? Что даст мне это?..

Господи! Верни меня, Господи, на тридцать лет назад. Господи, верни меня на тридцать лет назад...

VIII

Рукопись в этом месте заканчивалась. Студент положил на стол кипу бумаг и, посмотрев на врача, сидящего напротив и внимательно наблюдавшего за ним, в нерешительности пожал плечами, что означала эта безысходность?

– Если честно, мне нечего сказать.

Врач кивнул головой.

– Понимаю, понимаю.

Студент осторожно спросил:

– А сам он... сам он как?

Врач, выражая свое сожаление, вздохнул:

– Все смотрит и смотрит на фото одного бородатого человека.

Студент вынул из сумки фото.

– На этого?

– Да, точно, – подтвердил врач.

– Это и есть Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, – объяснил студент.

Врач оживился:

– Слышал. Кстати говоря, правда, что он отказался от премии в миллион долларов, – оживился врач.

– Правда.

Доктор покрутил пальцем у виска:

– Наш клиент.

Студент встревожился: «Да ну? Конечно, он жил бедно, с матерью в тесной двухкомнатной квартире. На одну зарплату. Но...»

Врач, уверенно приподняв палец, повторил:

– Совершенно точно. Он наш клиент. Кто в наше время откажется от миллиона долларов? Это одна из форм шизофрении с симптомами мании величия.

Затем махнул в сторону двери: «Как у вашего учителя»

Студент почему-то испытывал неловкость.

– Да ну?

– Верите мне, братишка? Я столько таких перевидал. За диагноз головой отвечаю.

– Но Перельман в списке мировых гениев на девятом месте!

Врач удивился.

– Девятый? А почему не первый?

– Не знаю.

– Между гениальностью и сумасшествием очень зыбкая грань. Сколько среди них скачут с одной ветки на другую, как синицы!.. Кстати сказать, я все равно не понял, назвал этот сумасшедший причину, по которой отказался от миллиона?

– Да, он сказал: «Теперь я знаю, как управлять Вселенной, и мне ли гоняться за миллионом?»

Врач уверенно кивнул головой: «Супер шизик»

Студент заерзал, давая понять, что торопится.

Врач махнул рукой на бумаги.

– Что с этим будем делать?

Студент неуверенно ответил: «Не знаю...»

Врач приподнял уголок рукописи ручкой.

– Хотели где-нибудь использовать, но бумага твердая. К тому же и с обратной стороны что-то ручкой написано.

Студент, взяв верхний лист, посмотрел обратную сторону.

– Да, это работа учителя над доказательством гипотезы Пуанкаре.

Врач спросил, подчеркнув: «Теперь это имеет какое-то значение?»

Ответ был кратким.

– Нет.

Врач снисходительно засмеялся.

– Понимаю, понимаю. Поезд ушел... Ваш уважаемый учитель очень хорошо, очень хорошо знает, что дорога ложка к обеду. Вернее, знал... Ну, договорились, эту рукопись мы сдадим в макулатуру. Как бы то ни было, хоть какая-то польза для общества будет, ха-ха-ха! Хоть в качестве туалетной бумаги.

Студент, покраснев, опустил голову.

– Ну, встретитесь с учителем?

Студент заколебался.

– Если честно, я тороплюсь. Жена...

Врач, приподняв указательный палец, остановил юношу.

– Мне все равно. Как говорится, лучшая дыня достается кому... Вашему учителю тоже досталась хорошая жена. Благодаря Бога, жил бы, довольствуясь тем, что есть! Бедная женщина, приходит в день по два раза, рыдает. Один раз до обеда и один раз после. Какая, смотрите, преданность! Но учитель ваш спрашивает и спрашивает о вас. Как он говорит... – он снова засмеялся – как он говорит, он на пороге всемирного откровения, и только вы можете ему помочь. Он вас раз двадцать спрашивал.

Студент бросил взгляд на часы.

– Ладно, у меня есть минут десять.

– Вы не беспокойтесь о безопасности, совсем не беспокойтесь. Мы приняли все меры предосторожности.

IX

Врач недаром особо подчеркнул вопрос безопасности. В комнату для встреч больной пришел в сопровождении двух крепких санитаров. Но, кажется, учителя это ничуть не смушало. Увидев своего ученика, он обрадовался, обнял его и, вытащив из потрепанного портфеля лист, исписанный мелким почерком, воодушевленно заговорил:

– Молодой человек! Вы сейчас в возрасте, когда надо мечтать, у вас явные способности к математике. Не позволяйте вашему таланту, что сделать? Да, угаснуть. Если хотите заняться наукой, я поддержу вас изо всех сил, потом я вас отведу в институт математики, там есть светлые головы.

– Учитель.

– Но это не главное, что я хотел вам сказать. Главное... – Учитель высоко как флаг поднял исписанную бумагу и, указывая на нее, возбужденно воскликнул:

– Мы вместе решим это! Эта гипотеза даже во сне Перельману что не делала? Не снилась! Это вам не Пуанкаре! Это совершенно другая задача. Это называют Восток...

Студент нерешительно попробовал возразить:

– Учитель...

Но учитель с пылающими глазами, полными божественного вдохновения, вздрагивая, не дал ему договорить:

– Верьте, это будет исследование, которое наделает много шума в научном мире. Если мы найдем решение, то и Перельман, что будет делать? Да, завидовать нам. Что я говорю? Кто такой Перельман, даже...

Взглянув на мгновение на часы, студент забеспокоился и на этот раз решительным голосом сказал:

– Учитель, простите, я немного тороплюсь. Там меня жена ждет. Мы с ней...

Учитель, словно его холодной водой окатили, внезапно остыл, насторожился, затем, протягивая бумагу, как-то боязливо, осторожно обратился к ученику:

– Молодой человек, это результаты начального этапа. Я порекомендую нужную литературу. Вы принесете книги, и мы спокойно примемся за второй этап.

Студент торопливо встал с места.

– Хорошо, хорошо.

Учитель, внезапно наклонив голову в сторону ученика, торопливо, не желая, чтобы кто-нибудь услышал, запальчиво прошептал:

– Все, все в наших руках. Не ищите отговорок, крепко возьмитесь за дело, не бойтесь стремиться к мечте. Математика и только математика. Остальное все ерунда...

Со стороны казалось, что больной насаждает сверху на присевшего студента. Как бы то ни было, не только юноше, но и бдительным санитарам, стоящим скрестив руки на груди, так показалось. Они разом накинулись на больного и, легко приподняв, потащили его внутрь. С искаженным от ужаса лицом учитель успел бросить в сторону студента бумагу, затем, наверное, чтобы не чувствовать и не видеть всего, уставившись в белый потолок, стал молить рыдая:

– Господи! верни меня на тридцать лет назад, Господи... Господи, верни меня на тридцать лет назад...

Студент, тряхнув головой, встал с места. Тяжело вздохнув, посмотрел на часы и вздрогнул. Он на самом деле опаздывал. Быстро подойдя к двери, он остановился и обернулся. На полу лежал исписанный мелким почерком листок с разными формулами и диаграммами, который оставил учитель. На мгновение он призадумался, затем, решив не останавливаться, студент покинул комнату для свиданий.

Открылась тяжелая дверь в конце коридора, больного завели внутрь. Всё глуше, отдаваясь от комнаты встреч, раздавались глухие страдальческие возгласы:

– Господи, верни меня на тридцать лет назад... верни, Господи...

Наконец, голос затих.

возвращение к читателю

Кашгарка

Главы из повести

Кашгарка... Так у старожилов Ташкента было принято называть территорию между Алайским рынком и каналом Анхор, где к XVII-XVIII векам сформировалось поселение выходцев из Западного Китая – Кашгара. Сто лет назад в этом экзотическом районе насчитывалось свыше 120 домовладений одноэтажной застройки. Дома были глинобитными или из сырцового кирпича. К середине прошлого века построек прибавилось. Но и они возводились преимущественно из тех же традиционных материалов.

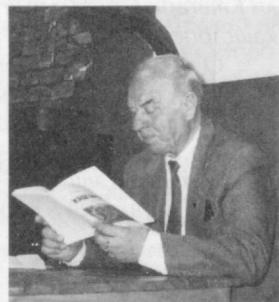
26 апреля 1966 года на Ташкент обрушилась подземная буря. Ее удар пришелся на 5 часов 23 минуты. Это время и зафиксировали все остановившиеся городские часы. Продолжительность первого толчка – 6-8 секунд – зарегистрировали приборы сейсмической станции «Ташкент». Обследования учеными разрушений показало: удар силою 8 баллов пришелся на центральные районы города. Особенно разрушительной стихия была для Кашгарки – именно под этим районом на глубине всего в восемь километров и оказался эпицентр землетрясения.

В первый же день бедствия я побывал на Кашгарке. По ней трудно было пройти – улочки устилали обломки домов. В городе стали опасными даже районы с кирпичными и каменными зданиями – с них обрушивались парапеты, карнизы, портики, детали лоджий и отделки фасадов. В книге «Последствия ташкентского землетрясения» ученые писали: «После землетрясения улица Навои представляла собой как бы иллюстрированный каталог нарушений принципов сейсмостойкого строительства».

Статистика засвидетельствовала: в городе пострадало более 28 тысяч домов. Люди из них переселялись в палаточные «дома», ведь без крова одновременно остались более ста тысяч человек. Но среди жителей, как отметили посетившие столицу Узбекистана зарубежные журналисты, не было даже следов паники и неразберихи. Продолжали работать предприятия, в театрах шли спектакли, а на стадионах проводились футбольные матчи.

Общая беда объединила людей. Начались работы по восстановлению города. На помощь приехали строители из других республик. Такая взаимовыручка у узбекского народа называется хашаром. Помнят ташкентцы и другой хашар, когда во время Второй мировой войны город с населением в 500 тысяч человек смог принять, разместить и накормить у себя более миллиона беженцев.

С того времени прошло почти полвека. Наша республика стала независимым государством. Преобразился и похорошел Ташкент – по всему городу выросли красивейшие жилые массивы и здания с хорошим запасом прочности. Теперь при возведении домов используется опыт национальных зодчих и, конечно, уроки ташкентского землетрясения. Была создана и оснащена самыми современными приборами сеть сейсмических станций. И неслучайно, именно в Ташкенте была откры-



**Владислав
ПОПЛАВСКИЙ**

(1942-2006 гг.)

Член Союза Журналистов СССР и Республиканского Узбекистана.

Родился в Ташкенте.

В 1968 г. окончил филологический факультет Республиканского пединститута русского языка и литературы. Работал преподавателем кафедры русской и зарубежной литературы, редактором журнала «В одном строю», корреспондентом газеты «Частная собственность». Окончил аспирантуру в Москве, имеет около 80-ти научных публикаций, во многих республиканских газетах и журналах опубликованы его стихотворения, эссе, рассказы, повести.

Вел большую общественную работу: член ЕОЦ, руководитель клуба «Радуга», издатель журнала «Литературный Вестник».

та и научно обоснована возможность прогнозирования землетрясений по повышению в подводных водах концентрации инертного газа радона.

На месте Кашгарки, там, где когда-то селились китайские купцы, сегодня расположились сейсмопрочные жилые зоны массива Ц-4, стадион, отель «Dedeman Silk Road» и дворец «Туркистон». В этом районе получили новые квартиры и некоторые бывшие жители Кашгарки, остальные расселились по новым жилым массивам Ташкента. Часть бывших кашгарцев проживает в Израиле, Германии, США, Австралии и других далеких странах.

О прежней Кашгарке осталась лишь память и мемориальный комплекс «Мужество». И еще воспоминания недавно скончавшегося Владислава Поппавского. Я хорошо знал его как журналиста, но он оказался и талантливым писателем. Думаю, что читатели журнала «Звезда Востока» с интересом и удовольствием прочтут очерки моего коллеги о колоритных жителях Кашгарки. Этот удивительный по самобытности район напоминает мне не менее колоритный и хорошо знакомый по книгам и фильмам район Одессы – Молдаванку.

Анатолий Ершов.

«...если я как автор хоть в малой степени дал читателю возможность увидеть недавнее прошлое моими глазами и что-то извлечь для себя по прочтении этих страниц, изображающих события сугубо личного порядка – значит, моя задача выполнена»

В. Поппавский.

ВСТУПЛЕНИЕ

Сейчас, пожалуй, лишь краеведы и историки смогут во всех подробностях рассказать «откуда есть пошла» Кашгарка – жилой район старого Ташкента, простиравшийся с юга – от улицы Урицкого – Ниязбекской – через Урду и до новгородской части столицы, упиравшейся непосредственно в Шейхантахур – западную часть города.

То были домовладения, как принято сейчас выражаться, частного сектора, и принадлежали они главным образом переселенцам из Кашгаристана (провинции Китая). Переселенцы эти по своему происхождению были в основном узбеками, таджиками, уйгурами, но появлялись и представители других наций и народностей, которые обрели здесь свою вторую родину.

Постепенно они ушли вглубь Ташкента, туда, где можно было завести небольшие огородики, скотину, построить пекарню, рисорушку или мельницу. Но, как говорят, свято место пусто не бывает. С годами Кашгарка заселилась самым пестрым людом, совершенно отличающимся от первоначального своего «народонаселения» – в основном евреями, чуть меньше – армянами, молдаванами, русскими. Одни из них бежали сюда от притеснений на «исторической родине», другие находили спасение от голода.

Неповторимый бытовой колорит, неподражаемая, подчас просто ошарашивающая пришлого человека речь стали ярчайшей особенностью Кашгарки, как ее со временем стали величать ташкентцы.

Ну, где бы вы могли, например, услышать такое:

– Засохни, Яша, хочешь другой жизни – вэйзми мерзор! – иди к Чиле, она-таки тебя уже возбудит как тебе надо...

Это было что-то вроде одесской Молдаванки, вдохновенно описанной Бабелем.

Не думаю, что у Кашгарки был свой литературный летописец, поскольку эта часть города пользовалась у всех сменявших друг друга властей столь же дурной славой, что и Молдаванка, потому что здесь жили незаурядные ташкентские Робин Гуды, по существу, мелкая и крупная шпана, эдакие по-воровски бескорыстные рыцари червонца. На Кашгарке довольно-таки вольготно чувствовали себя жулики, наркоманы, квартирные воры. Или совсем уж неожиданный социум: спортсмены, музыканты, драматические актеры, которые чудесным образом вписывались в существующий порядок и пользовались глубочайшим уважением социальных «низов». Более того, последние даже гордились соседством с первыми. Конечно, те и другие держались разных манер и вкусов. Однако было

бы непростительным грехом сказать, что Кашгарка жила во мраке и унынии. Наоборот, практически вся она «пела и плясала», обожая самую что ни на есть непритязательную музыку. Именно там звучали запретные некогда «Гоп со смыком», «Ужасно шумно в доме Шнейерзона», «Шумел камыш» и «Очи черные». Я уже не говорю об «Одесском кичмане» с печально известным припевом: «Ой, мама моя, мама!».

Отсюда уходили в армию и в суворовские училища, на стройки первых пятилеток и в колонии для малолетних преступников. Многие семьи жили тяжело, исключительно на трудовую копейку, в то время как тогдашние «авторитеты» и «паханы» шиковали. Впрочем, они не позволяли себе никаких насмешек над бедняками и порой даже стыдились шиковать на глазах у них. Хотя «учеников» для сбыта анаши, краденных спиртного и сигарет подбирали именно здесь.

Такими, какими они запомнились мне, я и передаю вам героев Кашгарки. Не всегда и не во всем праведники, но они были ее лицом, ее собственностью... Кашгарка! Около 40 лет тому назад ты была разрушена землетрясением, в эпицентре которого оказалась. Рухнул уникальный мир, не стало своеобразной ауры, которую никто и никогда больше не воссоздаст в прежнем виде.

Неповторимый облик той незабвенной Кашгарки я и пытался передать в этих небольших рассказах.

БУЯЛЯ

У Юрки Базалаева, что жил в нашем же дворе на улице Чемпион, был брат, служивший в Германии, и сестра Соня. Ни один из них в качестве авторитета Юрку не устраивал. Мать? Ну что такое мать – безграмотная сторожиха, вечно выкручивавшаяся из нужды, работавшая где-то еще и еще? Поговаривали, правда, соседи, что отец их, то бишь муж Юркиной мамы, помер на уворованной подушке, жил как Бог, ничего не делая, кроме, пожалуй, собственных детей.

Юрка жил свободно: в школу приходил просто так – отнять у кого-либо старый должок, перекинуться в картишки, набить кой-кому морду, сорвать урок, выманить целый класс куда-нибудь в парк, к озеру, покататься на лодках, а потом перейти к пиву и анаше.

Юрке подчинялись почти все. Он умел «давить». О лихих делах его из уст в уста передавались местной шпаной самые невероятные рассказы. Там он с друзьями обчистил прилавок, здесь – проникли в общагу к строителям, надергали часов, брюк, денег. Милиция с ног сбилась в поисках Юркиной братвы, а она, поди ты, уже в другом месте промышляет, у нее же под носом. Вся компания Базалаева была как на подбор: каждый у них почему-то ходил носками во внутрь, носил кепку – восьмиклинку, нешадно курил и матерился в бога, душу и мать.

Наבלатыканые по макушку, взрослеющие и уже по-настоящему опасные, парни эти опрометью пробегали мимо пионерских и школьных дел, их не было ни на уроках, ни в кружках, никто не видел их за работой, за полезным делом. Воспитанники ушлой Кашгарки, они не имели, кажется, имен. Их словно и не было отродясь. Имена заменяли самые изощренные клички: Калдаш, Хромой, Кабан, Соломон, Дюдя, Шатун, Буйяля. Любимые игры – лянга, колы-палки, ашички, стукан. Если кто «люздил», приговаривался к выезду на велосипеде в голом виде и с гитарой за спиной по родной Кашгарке. Отказывался – лупцевали до кровавых соплей и навсегда изгоняли из своего круга. А где еще накуришься и наешься до отвала ворованным, как не здесь? То-то и оно!

А жрать хотелось всегда! И не дома, нет, а там, на воле, где риск и атанда, хитрость и смекалка, чье-нибудь ротозейство и доверчивость. Излюбленным местом этого ташкентского отчаянного ворья был знаменитый на всю Центральную Азию Алайский базар, имевший массу входов и выходов, привлекавший близлежащими закоулками и лабиринтами.

Хозяиничал здесь исключительно Базалаев со своей вольницей.

Но ходил сюда подрабатывать и я, Олежка Родин.

– Теть, а теть, давай донесу сумку до трамвая, тяжелая ведь... Женщины обычно оторопело шарахались при этих словах в сторону, но, приглядевшись к моей добродушной физии, понимали сразу, что этот не надует, не сопрет, да и знали, что больше чем на мороженое мальчишке не потребуется. Какое оно было! Фруктовое, за рубль. Ну а если уж очень хотелось в кино – следовало выработать...

Я безошибочно выбирал или очень уставшую тетку, или старенькую, ослабевшую, больную. Некоторым помогал просто так. Получал в награду горсть вишни или клубники. Но чаще расплачивались деньгами. Было тут и другое: разговоры, сетования, жалобы, вздохи.

– Не тяжело тебе, сынок?
– Что вы, тетя! – бодро отвечал я.
– Ладно уж, немного осталось, помоги старухе. И куда я, к чертям, арбуз такой зловонный купила, да еще картошки с тыквой?

Последние метры до остановки давались с особым трудом, но я терпеливо нес груз, хотя авоськи немилосердно резали ладони рук. Я упорно твердил себе: вот до того столба, ну еще немного, вон уже и остановку видать...

А лето жаркое, пот выступает, горячий воздух обжигает легкие.

ДИРЕКТОР ФОНТАНА

Однажды неслыханно повезло: в кармане звенело мелочью что-то около десяти рублей. К четверем дня я решил «пронырнуть» бесплатно в цирк, а если уж не получится, то заплатить за входной билет. Навстречу – Мойша, весь из себя деловой, со скоросшивателем в левой руке. Он торчал возле пожарки, искал ушей, на его жаргоне это означало «хочу открыть душу». На любой вопрос старый еврей всегда отвечал однозначно: через два года, о чем бы вы не повели с ним речь.

– Мойша, – спросил я его наугад, – когда жара спадет?

– Через два года, сказал находчивый Мойша.

– А я думал, что раньше, дружище.

– Раньше никак. Ты знаешь, я вчера на свои жалкие копейки купил стакан вина, выпил. И что думаешь – сел на скверике под самый солнцепек. Высидел как курица на яйцах битых два часа – не развезло!

– Мойша, так, может, не наше лето виновато, а скорей твое вино было разбавлено водой? Или просто мало взял?

– Как?! – вскричал в ужасе Мойша. – Неужели и наши советские продавцы запродались этим заокеанским мерзавцам? Слушай сюда, мальчик, у тебя есть деньги на сейчас? Я пройду, проверю их. Если и сегодня меня не возьмет с того стакана, я тогда сам с себя смеяться буду.

– Деньги есть, – сказал ему я, – а когда отдашь?

– Через два года...

– Нет, не пойдет. Только завтра, на этом же месте, в то же время. Я, Мойша, собирался в цирк...

– Так идем же, я тебя сведу сейчас. У меня там родственник на контроле, и будем считать, что я с тобой расплевался! Ну, а деньги, юноша, я припрячу за носок.

ВОРОВСКИЕ УРОКИ

Сегодня свадьба во дворе, и шпана здесь недаром. Гапон буквально извертелся на месте, как бы чего не упустить. Юрка-Буляля подгадал все как надо. Сам он берет на себя, как и полагается зачинщику, самое главное и трудное, так что Гапону предстояло глядеть в оба. Однако душонка его мелкая была в трепете: а вдруг надыбают да поколотят?

Едва я шмыганул в калитку, Гапон цап меня за руку.

– Слухай внимательно, Сметаночка, – жарко шептал мне на ухо Гапон. – Видишь, дядя Абдулла заложил в казан тушки кур? Минут через двадцать они будут готовы. Когда Абдулла выгребет жар из-под казана и пойдет в дом за ляганом, свистнешь. Понял? Мне его враз не увидать, чтой-то глаза запоростило.

– А Юрка где? – спросил я.

– Дура, он же на дереве, а я должен быть за забором – принимать из его рук жареную курятину. Не понимаешь, что ли? Давай, стой тут на стреме.

Но не успел Гапон до конца дать инструкции замешкавшемуся дружку, как перед ними будто из-под земли выросла бабуля наша, Настасья Петровна, держи ноги ровно.

– Чего якшаешься со сволотой? – начала она давать мне подзатыльники. – Марш в дом, чтобы глаза мои тебя здесь не видели! Вон отсюда, мразь! – замахнулась старуха деловской извозчицей камчой на оторопевшего Гапона, и он в обход дворов пробежал-таки к забору, чтобы не упустить появление Буляли.

Я уже не стал открываться своей бабушке по части замыслов, что обретали жизнь в гудящем от надвигающейся свадьбы дворе.

Между тем гости съезжались. В основном на велосипедах. В обнимку с ними тогда очень модно было фотографироваться и дарить это чудо фотоискусства заневестившимся девушкам – на добрую и долгую память. Велосипеды прислоняли к забору, всходили на веранду, вежливо раскланивались, здороваясь за руку, занимали место за столом.

Старухи, а их тут было немало, тихо перешептывались между собой, обсуждая сервировку.

– И что это, окромя селедки да баклажаньей икры, ничего здесь нетути? Ась? А икра-то, господи, прости мою душу грешную, высохла да как дерьмо.

– И мух полным-полно, Дарья, глянь.

На другом конце стола подвыпившие бабы голосили свое, задушевное: «Но я жила, жила с одним с тобою. Я всю войну тебя ждала-а-а». Их перебивал скрежуший и быстрый ритм «Рио – Риты», что неся из знакомого всему двору коломенского патефона дяди Гриши, хромого «домкома» нашего. Тенькали бутылки; перекрикивая друг друга, задавали тосты, орали, выпучив глаза, «горько» и с тайным, жгучим интересом приглядывались к молодым – не понарошку ли целуются, иначе – недействительно и придется перецеловываться, окаянным. Беременная невеста прикрывала ладошкой пунцовые щечки и опускала глазки долгу.

Потом дядя Гриша взялся за гармонь. Одной рукой перебирая лады, он наливал соседу Митьке водку. Тот, будто вовсе не желая пить, для виду прикрывает ладонью свой стакан.

– Не могу я больше, Гриша, вырвет меня, пожалуй.

– И-э-эх, мать твою туда-сюда, – дядя Гриша сделал игровой пассаж по басам да по ладам, – никто тебя не вырвет отсюда, ты – наш!

Гапон терял терпенье. Он поминутно бросал взгляды то на дерево, где сидел Буляля, то сквозь дыру в заборе продолжая наблюдение за котлом. Вот, наконец, повар выгреб угли из жерла очага и направился к дому жениха и невесты.

Тонкий, едва слышный посвист, заставил Булялю немедленно раздвинуть ветви, чтобы из засады убедится в верности сигнала. Он мягче кошки спрыгнул вниз, прокрался между стволов акаций ближе к очагу, скинул с себя сорочку и в считанные секунды все содержимое котла, что нынче называют вальяжным словом «табака», оказалось повязанным узлом. Никто не увидел этого «кина», впрочем, как не заметил и переброски узла через забор, за которым удачно дежурил Гапон, быстро сквозанувший в сторону Дементьевского сада, туда, где его ждали юные, изголодавшиеся разгильдяи. Похититель же – Юрий Базалаев – с невозмутимым видом, и теперь уже без прямых улик, вновь занял свой прежний наблюдательный пост на макушке дерева. Для лучшей видимости он, правда, обломал кое-где ветви и аккуратно, чтобы не шуметь и не сорить, сложил их на толстом суку.

...На потаенной полянке в Дементьевском саду, где собирались вольные стрелки Юрки Буляли, пир шел горой. Перед каждым на листе лопуха красовался подрумяненный петушок.

Речь держал отрок Юрий Базалаев.

– Конечно, жалко гостей, жалко хозяев, – тихим, горестным тоном произнес он. – Но ведь и нас понять можно. Кто из вас, орлы мои, и когда в последний раз ел жареного петуха? Да не того, что в задницу клюет нерасторопных, а настоящего, ась? – И сам же грустно заключил: – Никто не помнит. Все верно. Но даже петух, которого я сейчас держу за ножку, не доставляет мне столько радости, сколько выпало ее, когда я снова забрался на дерево. Глупая рожа Абдуллы, который замер, открыв крышку пустого казана. Это совершенно незабываемое... Калдаш, ты меня слышишь? Я одним вора отомстил за других воров, хотя сам украл при этом.

Вымазанный от макушки до грязных ступней зеленкой, Калдаш вгрызался в куриное мясо. Он кромсал его, как изголодавшийся пес, не слыша, что творится и произносится вокруг.

ВОЗМЕЗДИЕ

– Ай-вай-вай, – причитал Абдулла, – ай-я-а, старый хрен! Куда мои глаза глядели? Эх, айда. Чего теперь со стол будет? Хозяин, айда, обижаться будет!

Таинственное исчезновение обжаренных кур слегка расстроило компанию, но не повергло в уныние.

– Что же теперь нам – погибать? – спросил дядя Гриша, крутясь на хромой ноге. – Таши картошку, жарить будем! Выставить караул, чтоб не сперли!

Быстро вечерело. В небе уже носились летучие мыши, готовые вот-вот вцепиться в волосы, плечи, руки, но этого почему-то не происходило.

С сумерками во дворе появился Буляля. Он подсел к соседям, ожидавшим у очага жареной картошки. Поваленное старое бревно, на котором они сидели, было вплотную придвинуто к огню. Абдулла шурудил кочергой в топке и напевал себе под нос что-то восточное.

Юрка вытащил из кармашка безрукавки дужку от курицы, подвязал к ее концам тонкую резинку, достал скобки и стал стрелять по мечущимся над его головой нетопырям. Возле него стоял Абдулла, долго и удивленно вглядываясь в лицо Буляли. Старик отошел на секунду, незаметным ни для кого движением достал из пламени, откуда-то сбоку, уголек покраснее, спокойным сгреб его в свою толстокожую ладонь и подошел к Юрке.

– Здорово, бачча!

Юрка подал руку и тут же заорал как бешеный от нестерпимой боли. Мало того, Абдулла загнул Юркины пальцы так, что разогнуть их не было никакой возможности, а ожог пронимал бедного куроеда до самых пят и заставлял то приплясывать, то кривляться и кукожиться на удивление хорошо захмелевшим соседям. Но вот Абдулла сжалился над жертвой, выпустил на волю, поддав сильнейшего пинка под зад и послав вослед нечто совершенно неперебиваемое на язык родных осин, но вполне понятное самому Буляле, который пулей метнулся к своей калитке. С веранды долго слышались вопли.

– Кот, айда, понимай, чей сала скушал, – бормотал себе в усы дед Абдулла и хитро усмехался, освещенный адским пламенем. Ему вынесли на тарелке рюмку водки, кусок хлеба с колбасой.

– За ваш свадьбы, пусть один свадьбы будет, второй, третий – плоха, как арба с дурная лошадь, такой жизнь. Детям счастья нада.

КАЛИНКА-МАЛИНКА

Над теми, у кого шарики пошли за ролики, смеялись все уличные обитатели, и редко кто разгонял подтрунивавших над больными мальчишек, чтобы потом в укромном месте с тяжелым вздохом помолиться за несчастных и выпросить у Бога кару какую угодно, но не эту. «Что тебе стоит, Боже!? Ведь грех-то мой как на ладони, и не скрываю я его, а только замаливаю...» – вздыхали верующие.

Бабку эту звали Калинка-Малинка. Говорили про нее самое невероятное. Ну, например, то, что она работала на парашютном заводе во время войны и пронесла через проходную шпульку ниток за лифчиком. Однако бдительная охрана «разоблачила» воровку, и по законам военного времени ей припаяли три года.

Пока Калинка-Малинка моталась по этапам да пересылкам, муж ее, Павел Акимыч, погиб – то ли под Прагой, то ли под Берлином, да и погиб-то как на грех едва ль не в самый последний день войны: пошел наломать еловых ветвей, чтобы мягче было спать на сырой земле, и нарвался на мину прямо на опушке леса. Детей сначала поддерживали соседи. Потом они ушли в детдом, а оттуда, по заверениям отъездивших до неприличия воспитателей, «убежали, неизвестно куда».

Больше их Калинка-Малинка не видела никогда, разве что во сне. А сон этот донимал все чаще и чаще, и трудно было устоять рассудку в горести такой, когда не знаешь, то ли ходят твои дети по чужим городам и весям с протянутой ручонкой, то ли померли где, застигнутые непогодой да голодухой, под чужим забором, завшивевшие и оборванные.

В годовщину своего возвращения из лагеря на родную Кашгарку купила баба на последние гроши четушку, выпила, закусив горькими слезами, да запела. Сначала «Стеньку», потом «Златые горы», а дальше – знаменитую русскую «Калинку». Пела она с утра и до позднего вечера, то есть до полегу, и все «Калинку», «Калинку», «Калинку». Уже и соседи подходили к ней, жалели, горевали вместе, успокаивали, а свихнувшаяся женщина до седьмого пота на лбу, до посинения вылезших на шею жил – вот-вот лопнут – все выводила и выводила знаменитую русскую песню, веселую и звонкую, да не про нас, а других и другую жизнь сочиненную.

Как будто выходили тетю Фросю, и уже никто не смеялся, – ведь люди прознали про ее горе и мальчишкам наказали не смеяться, – только больно уж смурная ходила она взад-вперед, и все шевелила и шевелила посиневшими губами, словно силась вспомнить что-то, говорила невпопад.

Ее не стало как-то вдруг, совсем незаметно, – вроде и не умирала, и как будто уже не жила; в каморке ее, что стояла на отшибе двора, поселились другие люди – злые, нездоровавшиеся, подозрительные.

СЛЕПОЙ БОКСЕР

Кашгарские старухи знали все, но когда власти в погонах и с красными шнурами пожителю, в обличье бывших приставов именно к ним и приставали, они крестились, они божились. Они – божились! Они могли поклоняться покойными родителями, детьми и даже внуками, что ничего не видели, не слышали и ничегошеньки не знают.

Матвей Мах, он же Мотя, он же Моня Швах, говаривавший в сердцах: Тяжела ты, шапка Мони Маха.

Ведал он и про старух, сторонился их всезнайства. До самого апрельского, шестьдесят шестого года, отворачивались они, завидев Моню: сволочь, слепой боксер. И был резон! Был! Но... на всякую старуху бывает проруха.

Финская, а перед нею Халгин – гол обошли каким-то образом Кашгарку. Зато гужом с нее поперли добровольцы, как только зазвучало: «Вставай, Страна огромная!». Пошли все, кому дорога была Родина. Первые сложили головы под Москвой, Сталинградом, Курском.

Что же Моня?! Моня как-то неожиданно, вдруг, 22 июня ровно в четыре часа...ослеп. Потом, ближе к 43-му прозрел на один глаз, а на оба – аккурат 9 мая 1945-го.

Дело в том, что Моня Мах обладал талантом, который надо было беречь всей страной: как боксер и, естественно, кашгарский хулиган, Моня без промаха умел «вдарить кой-кому по си бемолу». И, как уже говорилось, в 41-м – с остаточным зрением, в 43-м – прозрев на один глаз, а позже – окончательно.

От общения с Анти-Дюрингом Моня не то чтобы отказывался, но присматривался со стороны к его манерам, учился натывать на предметы и людей, мешающих свободному передвижению в пространстве. Для полного ажюра Моня поступил на комбинат им. Паниковского, принадлежавший обществу слепых, где, кстати, числился и Анти-Дюринг. Там они в холостое от основной «работы» время плели циновки для государства.

Крыша как крыша, однако Моня всю войну, будучи освобожденным от воинской повинности, готовил для нужд фронта совершенно бескорыстно молодежь, которой тоже «нравилось вдарить кой-кому по си бемолу».

Что удивительно, с фронта на имя Мони приходили благодарственные письма от командования частей, где при разведобъединениях лихо «работали» воспитанные Махом лазутчики, добытчики «языков», асы разведки и десанта всех видов.

До полной победы над врагом с боксерскими перчатками через плечо, белой тростью в руке, надевши черные очки на переносицу, топал Моня в клуб ДОСААФ.

Тем временем пришли «похоронки» на Милю Гольдмана, Севу Котлярского, Яшу Зудельмана, Веню Немировского, которых Моня учил боксу.

Прошло много лет. Он стал глубоким стариком, но и сейчас еще, когда кому-то из нас, кашгарских, удастся случайно встретиться, память о слепом боксере всплывает обязательно.

Однажды я спросил у Мойши, отерев материнское молоко с обкуренных своих губ: – Скажи, старик, почему так странно называется наша улица – Чемпион?

И посыльный из народного суда рассказал мне историю Мони Маха. Мони-чемпиона.

ЛУДИЛЬШИК

Профессии в ту пору возникали как бы с учетом не слишком богатого быта. Живущие, здравствующие обитатели тогдашней Кашгарки вряд ли забудут глухонемого кузнеца и лудильщика, виртуозного ремонтера замков, керосинок, керогазов, примусов, самых хитроумных зажигалок. Шли к нему с покуроченными деталями велосипедов, мотоциклов, автомобилей.

Имени его никто не знал. Приходили, вручали. К вечеру получали обратно то, что отдавали в ремонт. И – будьте покойны! Если тот кузнец залудил кастрюлю, напаял новую бородку на ключ, наточил вам коньки, модные тогда, вещь служила еще пару-тройку лет. А для послевоенного скромного бюджета многих семей, живших тогда на Кашгарке, работа такого мастера была серьезным подспорьем.

Его никогда не видели бродившим по дворам и предлагавшим свои услуги. Он как бы молча не одобрял такого шарлатанства. И был прав.

В промасленной, почерневшей робе, почему-то хмурый, он с раннего утра раздувал небольшой горн в своей мастерской, а среди множества сваленного в беспорядке кажущегося металлического хлама безошибочно и быстро находил то, что нужно.

Мальчишки возле его мастерской не дурили, наоборот, с восхищением наблюдали за работой глухонемого, и для многих из этих мальчишек то были первые их шаги, пусть умозрительные, к созидательному труду, хорошо и долго живущей работе.

Глухонемой как-то тоже неожиданно – бах! – и испарился. Одновременно с его мастерской исчезли переплетный цех, где трудились старые, бородатые евреи, умевшие говорить, но тоже почему-то молчавшие. Пропала куда-то и каретная мастерская. Там делали двуколки и совсем уже большие телеги. Автомобиль на Кашгарке был редкостью немалой.

ГЕРШ – ЖИВОПИСЕЦ

– Цель искусства – возвышать жизнь! – любил говорить он. – Хочешь – просунь морду в прорезь – и будешь на боевом коне, в папахе и при кавказских газырях. Надумаешь, так мы тебя изобразим на фоне озера с лебедями...

Ну, это Герш говорил так, к слову. На самом деле он был выдающимся портретистом. В гуще знавших его людей Герша вообще звали на украинский манер – мордописцем. Вся Кашгарка вежливо раскланивалась с мастером. К слову сказать, там не очень жаловали канотье или галстуки, но быть на фото в необычном виде – любили все! Если заказчик «желал как лутче», Герш делал. И вот он приносил большую папку, в которой находились альбомы с фотопортретами. Раскладывал уже созданные произведения – переснятые с маленьких карточек, увеличенные и дорисованные. С них смотрели на вас выпученные, глядящие прямо перед собой, глаза заказчиков. Однако сходство их с оригиналом угадывалась по линиям губ, прическе, форме ушей или носа, усам или бороде.

– Па-а-чему это не похож на себя ваш Давид Борисович? – гневно спрашивал у Хеси Израилевны дядя Герш. – Так вы же мне что дали? Ви мене, тетя Хesia, дали его фотку из дальней молодости. А скоки годов прошло, а? Он что у вас, простите, не изменился?

В конце концов, тетю Хесю удалось тогда уговорить. Но в душе она поклялась больше ничего подобного не поручать «сраному фотографу».

Между тем Герш уже обрабатывал еще колеблющихся, уверяя, что все он сделает «под высший сорт».

– Вас изобразить в форме летчика или моряка? Сделаем...

И вот дядя Абдулла, никогда не бывавший в небе и уж тем более в воздушных боях, надевал летную фуражку с «курицей» на кокарде, наглухо застегивал чужой же китель с погонами майора авиации, садился перед объективом, а Герш накрывал голову черным пледом и погружался в работу.

– Остальное я вам дорисую, Абдулла Ганиевич.

Детей Герш убеждал, что «сейчас вот отсюда птичка вылетит, только не мигайте, а то выйдете с закрытыми буркалами».

Везло не очень. Деньги заказчики жалели, многим было просто не до «изображений».

Стоило Гершу подзаработать, он шел к пивнушке на ул. Двенадцати тополей, выпивал там стопарик-другой водки, «полировал» кружкой пива, да еще брал «четушку».

О, бедный Герш! На подходе к дому он отчаянно прятал ее самым хитрым способом, но жена его Хава неизменно находила бутылку и безо всякого сожаления разбивала о мостовую за окном.

– Еще раз напьешься, – орала Хава на спекшегося Герша, – я твой дурацкий аппарат разобью о твою башку!

– А шо мы будем тогда кушать, Хава? – спрашивал муж.

– Ямы пойдешь копать!

– Так я ж тебе первой и выкопаю!

– Хава выворачивала кукиш, подносила его к носу Герша:

– Только после тебя я пойду туда, несчастный хам, свиная трахома!

Одетый как на выход, Герш заваливался на топчан, бормоча еврейские молитвы, перемежаемые отборным русским матом, и начинал храпеть.

– Он орет сейчас, как тигр, – ворчала Хава, – а сам ласковый, как котенок...

Года за два до землетрясения Хава хоронила старого Герша. На столе возвышалось его тело, завернутое в черный саван. Посредине – отделанное желтым шнуром изображение могендовиды. Хава причитала на публику:

– Ох, боже ж мой! Он был горячий, как печка, а теперь лежит холодный, как лед. Прости меня, родной Герчик! Что я теперь буду делать и с твоим аппаратом? О горе мое, горе!

Раввин читал Талмуд. Горели свечи. Стояли люди, подавленные смертью старого мастера.

АБРАМ ПОРТНОЙ

Фамилия его отнюдь не была говорящей, – Абрам Моисеевич действительно происходил из рода мастеров пошить брюки или свитку, но пошел по стопам соседа – парикмахера. И вот-таки теперь у него свое заведение. Абрам был виртуоз в своем деле. А если из десяти учеников он оставлял в своей цирюльне только одного, родители молодого были на седьмом небе. Счастливчик. Ох, как ему повезло! И в доме тогда начинался праздник. По-прише Абрама обретало живую плоть продолжения, как будто это было продолжение рода.

Откакаясь на предложение опрокинуть по этому поводу рюмочку-другую в семье новоиспеченного цирюльника, портной надевал хорошо открахмаленную манишку, жилет мышиного цвета, приторачивал пышный галстук-бабочку. Все это – при безукоризненно отглаженном черном костюме, широкополой черной же шляпе, что вызывало неописуемый восторг Кашгарки. Особенно – у женщин. Они были без ума от Абрама Портного, и он слыл весьма галантным кавалером, хотя любил одну только Цилю Вейс. Но Циля была тверда, как скала. И лишь в крайних случаях позволяла себе зайти в заведение Портного, чтобы встретить очередной какой-нибудь праздник, будь он «советский» или еврейский обязательно шестимесячной завивкой.

Хотите верьте, хотите нет – ни один из учеников мастера не изменил раз и навсегда избранной профессии. Такое вот завораживающее действие оказывал Абрам на всех окружающих.

И только Циля оставалась непреклонной. И когда сравнивали опасность профессии Абрама Портного с коварством и непредсказуемостью женщин, Абрам Портной соглашался: да, параллель можно провести. Парикмахер – профессия очень опасная. И он пускался в пространные рассуждения:

– Скажем, я стригу вас, молодой человек. Мелкие волоски вместе с воздухом проникают мне в легкие, и я умираю каждый день. Вас же десятки, сотни, тысячи! И вас за мою одну такую короткую-таки жизнь! А что я получаю? Мизер! Так еще придет участковый – бесплатно, фининспектор – бесплатно, не дай Бог кто-нибудь из следственного управления – то же самое...

И Абрам Моисеевич со вздохом продолжал:

– А теперь же зовсім придется бросить дело: жизнь наводнили электробритвы. Хоть вешайся! А шо делают родители – адиёты? Они стригут своих детей так, что вместо прически на голове проходят грядки. Это не голова, а Вавилонская башня. Так вы и сажайте на этих грядках да в этой самой башне капусты!

Чем больше Абрам Моисеевич терял клиентов, тем чаще он брался за скрипку. И плыл тогда над кварталом Кашгарки подолгу Феликс Мендельсон. Он звучал для бессердечной Циля, единственной радости старого брдобрея.

ВЗДОХИ СТАРОГО РАВВИНА

- О-о-х! Солнце, что выбеливает полотно, так оно же делает черным цыгана.
- Горе тому, кто прав!
- Даже усилиями мудрости ничего не купишь на базаре...
- Когда стригут овец, трясутся ягнята...
- Молодое дерево гнется, старое ломается.
- Лучший советчик – собственный желудок
- Желудок, сынок, ближе к сердцу, чем голова!
- Малые дети не дают спать, большие – жить!
- Затаившегося врага бойся так же, как спокойной собаки.
- Чем дольше живет слепой, тем больше он видит...
- Осла выдают уши, дурака – язык!
- Пустота залог звучанья...

- Говорят: «Капитал»! У Маркса он в книге, у Бродского – в кассе.
- Если вор что-нибудь не украл, ему кажется, что проживает потерю.
- Лжец никому не верит.
- Захочет Бог, так и метла выстрелит!
- Капля любви и вот вам, пожалуйста, – море слез.
- Половина правды равноценна самой беспардонной лжи.
- Быку – ярмо. Так человек сам себе надевает это!
- В погоне за счастьем, Софочка, ты все дальше будешь от покоя.
- Невозможно плясать сразу на двух свадьбах.
- Молодость кормится снами, старость воспоминаниями.
- У гусей не покупают овес.
- Яша, кот, который надел рукавицы, никогда не поймает мышку!
- Разговаривая с дураком, рискуешь поглупеть на год.
- Не плачь, Хаим: жены и векселя возвращаются!
- Слова, мальчик, следует не считать, а взвешивать!

Вздохи старого ребе цитирую по старой памяти. Отчетливо вижу его пейсики, пересыпанные перхотью, величавый тон, назидательные новеллы о беспутных евреях, которые глупостью и непочитанием Бога превратили свою жизнь в ад. А ведь вбивал в голову ребе: все рождаются маленькими, голенькими и хорошенькими. И почему из всего этого вырастают отпетые сволочи?

– Ребе, но ведь есть и хорошие?!

– Речь не о них. Они нам не мешают. Их не видно и не слышно. Таким и должен быть настоящий человек, мальчик...

ЕВРЕЕЦ КАН Дон Васильевич

Интернационализм Кашгарки не был умозрительным, да и мы, дети, лишь повзрослев, узнали, что мир состоит из множества наций и народностей. Еще позже нам открылся мир влюбленности: русского – в татарку, узбека – в русскую, латыша – в польку и т.д. Смешанные браки еще до недавнего времени преследуемые у коренных народов ряда государств, для Кашгарки были ее гордостью, она первой убрала заслоны и препятствия на пути любовных и брачных уз. Но, как было сказано чуть позже в местной синагоге, где евреи молились исключительно тайком, «нэ до такой же сшъепэни».

Первопроходца среди «японских шпионов и диверсантов», особенно активно действовавших на советском Дальнем Востоке, Кана Че-Бу занесла в Узбекистан обшая для всех ссыльных корейцев участь. Кашгарка приняла в свои безмерные объятия «узкоплечного», как его ласково именovala тутошняя шпана. Кан Че-Бу, умевший по-русски лишь материться, трудился в каретной мастерской, которой заведовал Иосиф Брун. Здесь кореец выполнял обязанности контролера. Любую халтуру рабочих он обнаруживал безошибочно, определяя ее как бы свойственным одному ему собачьим нюхом, о чем тут же ставил в известность старика Иосифа. Тот в свою очередь бил портачей рублем или лишал выходных. Договориться о чем-либо в порядке долгосрочного перемирия с Каном было попросту невозможно, и уж тем более, по-хорошему. А с помощью мата, доступного ему, много не влоддишь.

Зато – да как! – договорился сам Кан. И с кем бы вы думали? С дочерью Иосифа, носившей отцу обеда из дома прямо в каретную мастерскую. Старик брезговал рабочими столовыми, а пускать деньги на рестораны считал зряшным делом. Не у одного бандита сердце спермой обливалось при виде Бэлочки, – роскошные толстые косы изгибом шли по пышной ее груди. Глаза сводили с ума самых отчаянных головорезов, клявшихся девиче Брун «завязать» и пойти в люди.

Но...Бэлла ждала «принца». Час Кан Че-Бу пробил, и он, с трудом подбирая нормальные слова, объяснил старому Иосифу, что положил на Бэllu глаз. Отец пытался было лезть на стенку, в петлю, бился головой о дверной косяк, обливал себя бензином. Все напрасно. Нанял за бутылку мучителей Кана, но «узкоплечный» оказался настолько живучим, что когда его, избитого до полусмерти, врачи заново сложили из собственных, а также коровьих и собачьих костей, никто не поверил глазам своим, опять увидев его живого, да где – на священном пороге дома несчастного Иосифа Бруна.

– Пропадите вы все пропадом, – наорал старик на дочь и жену Гиту Моисеевну, допустившую распушенность Бэлли до неслыханных масштабов.

Иосиф уехал за смертью на Могилевшину, откуда был родом, прихватив с собой все, что работало на будущую жизнь, и ни гроша не оставил зареванным бабам, одна из которых уже была на шестом месяце. Кто – догадаться не трудно. Иосифа ждал внук. Но старик Иосиф проклял и внука, еще не родившегося. А все письма, приходившие на его имя с Кашгарки на Могилевшину, безжалостно уничтожались. С годами же и они прекратились. Даже кончина горячо любимой им Гиты Моисеевны не тронула сердца оскорбленного старика, взбесившегося от идиотского выбора единственной дочери.

Кан Че-Бу между тем прибрал к рукам дело старика, расширил подворье, стал хозяином, а с рождением сына – первенца Дона – выхлопотал и себе советское – русское то бишь имя – Василий. Таким образом, сын стал Кан Дон Васильевич. Впоследствии вся Кашгарка звала этот корейско-еврейский симбиоз Антоном (догадались?) Васильевичем, а кличку молодой пацан получил Евреец.

Трагедия дома старого Иосифа вначале выглядела смешным фарсом, затем вновь превратилась в жуткую драму. Кан Дон Васильевич, несмотря на молодость, был в отличие от своего папаши-трудяги запойным пьяницей. Мало того, привел сюда и прописал Катю Сон, торговку рисом с Куйлюкского рынка, про которую, завидев ее, хулиганы пели нарочито сволочными голосами «Что ж ты, милая, смотришь искоса?». На подростке после Дона было еще трое Бэлиных отпрысков, копия папаши.

– Таких же напечатал, – говорили про него те, кому все и больше других нужно.

Вперемежку с драками и попойками Антон Васильевич учился в культпросветтехникуме и изводил всех, кто был дома, своими гаммами. Уши их отдыхали тогда лишь, когда впоследствии так и несостоявшийся корейский Паганини, заваливался спать вдрызг пьяным возле собачьей будки. Причем надо отметить, что если он возвращался с учебы вдребезги трезвым, собака его не узнавала и порывалась загрызть молодого хозяина насмерть.

Учеба Паганини вскоре завершилась. Чтобы избавиться от его недюжинных «дарований», ему подсказали экстерном сдать выпускные экзамены и идти на все четыре стороны. Любимыми темами Антона Васильевича были пиччикато и «Гимн Советского Союза». Ничего другого он из своей скрипки извлечь был не в состоянии, прежде всего по причине тремы (дрожание рук) и потом уже – абсолютной бестолковости в музыке. Об игре в каком-нибудь оркестре, даже ресторанном, тут речи не могло идти, хотя Кашгарка и гордилась тем, что в свое время делегировала тромбониста в оркестр Леонида Утесова и скрипача – в коллектив Эдди Рознера. Так что Антон Васильевич имел право на свою, отдельно взятую, индивидуальную жизнь только как резко выраженную противоположность вечно беспорному и высокому искусству.

Люди, отправлявшие детей в школу, где Антон Васильевич преподавал пение и музыке, были в шоке: как туда попал этот «переворачиватель» трупов Гайдна, Моцарта и любимого всей Кашгаркой Феликса Мендельсона? Особенно негодовал Абрам Портной. Он приходил к директору школы на прием и требовал отстранения от занятий Антона Васильевича по двум признакам: неблагозвучности имени – отчества – фамилии и абсолютной его музыкальной глухоты. Директор Фазыл Турдыевич – сам большой оригинал, – перебирая, например, расхожее выражение в своей памяти «Иванов – Петров – Сидоров», он неизменно добавлял почему то – еще одну позорную для человека фамилию, не существующую в природе. На полном серьезе. Когда речь заходила о выезде на сбор хлопка и о том, почему, в частности, никогда не бывает там ездовой, доставлявший в школу молоко и завтраки на повозке с осликом, Фазыл Турдыевич напряженно размышляя, резко отвечал охотникам загнать в междурядья уклониста-ездового примерно так: «Все поедет хлопка – и ездовой-звездовой тоже».

Увидев в который раз пришедшего с одной и той же просьбой алчущего крови корейца Абрама Портного, Фазыл Турдыевич вновь и вновь объяснял ему, что никакого отношения к приему горе-музыканта на работу в данную школу попросту не имеет, а потом ведь он, Абрам-ака, и без того вот-вот загнется, так как ничего не жрет, кроме немолотого горького перца. Он вчера только на педсовете в ногах у всех валялся, просил прощения, плакал и заверял, что в последний раз...

– Правильно, Фазыл Турдыевич, – петушком заливался А.Портной, – а когда я ему напоминаю про очередной «последний раз», он покрывает администрацию школы матом. Схожу-ка я в гороно, пусть там на все это посмотрят с обратной стороны Луны.

– Абрам-ака, вот этого не надо. Опять проверки, комиссии, акты, объяснительные. Зачем вам это, а?

– Ну ладно, – соглашался Абрам Портной. Смотрите, Фазыл Турдыевич, последний раз...

Пиччикато и бессмертное произведение Александрова на слова великого и незаменимого гимнописца С.Михалкова как по наитию вскоре перестали звучать в стенах школы: кто-то обрушил на Антона Васильевича сорокаведерный кипящий самовар, стоявший в чайхане. Как будто в шутку, а получилось вон оно как... Умирал учитель в муках, словно сбывая страшное проклятие старика Иосифа Бруна, главы каретной мастерской, что простояла на Кашгарке добрую сотню лет.

Известие о смерти Иосифа осталось у почтальонши тети Симы на руках. Его некому было вручать. Старуха с почты долго вглядывалась в облик круто изменившегося старца с белой бородой, что приторочил к своему пиджаку боевые награды. Откуда они были – никто не ведал. Кроме как в семье, Иосиф ни с кем не воевал. В тот же год алкогольный недуг сразил и вполне свихнувшуюся Бэлу, пившую вместе с мужем, «чтоб ему меньше досталось». Она умерла в известном всем желтом доме, что на повороте трамвая номер пять, за Сарыкулькой. Дети, несчастные дети этого обиталища, выросли и разбежались по жизни, записавшись на всякий случай русскими.

УДАР

Что-то неотвратимое ждало Кашгарку с ее пресыщенностью и во многом несправедливой жизнью. Возможно, ее ожидала участь Атлантиды или Карфагена. Учеными, видимо, недаром замечено, что стихийные бедствия сваливаются на головы обывателей как наказание, по указующему персту Судьбы, а возможно, и божьему промыслу.

Конечно, более всех пострадала Кашгарка. Она была в руинах. На тротуары вывалились стены с коврами на них, рухнули крыши с траверсами и голубятнями, балаханы, откуда любовались «жистью» тети Хеси и дяди Яши, они первыми откликнулись на призыв Одессы: приезжайте к нам, мы-таки уже потеснимся. У нас море и ласковое солнце. Дяди Яши и тети Хеси еще даже и не помышляли тогда о Хайфе и Тель-Авиве, где солнце еще ласковее, а море такое, что в нем никто и никогда не утонет.

Из окон повылетали стекла, выпали двери, покорежился асфальт, дороги превратились в крошево. Хижины дворов, где мы обитали, возникали с годами стихийно, по методу «тяп-ляп». Строилось долго, а рухнуло в одно мгновение, под какие-то сине-голубые вполночи в утреннем апрельском небе.

В комнатах находиться стало столь опасно, что почти все соседи выставили железные солдатские кровати свои на середину двора, скопом спали одной жалкой кучей, примиренные общей бедой, бросившие, хоть и не надолго, свои капризы и «закидоны», бандитизм и хулиганство, матершину и пижонство...

Появились хорошие манеры, уважительность. Часто ужинали за одним общим столом, рядом с которым постоянно дымился очаг. У него хлопотал дед Абдулла, ежевечерне готовивший машхурду.

Расставили палатки, пронумеровали их. Пожили в них до осени. А дальше – кто куда, в разные села и города. Оставшиеся расселились по чиланзарским, каракамышским и другим «хрушевкам», – где предстояли другая общность, иное соседство, и кашгарской удали настал естественный конец.

О чем я и оповешаю читателя через много-много лет.

Прощай, Кашгарка!

НОВЫЕ ИМЕНА

Моей души поломанные крылья

На окраине

Памяти Леонида Климова

Отчего на окраине так одиноко и пусто?
Этот мартовский дождь холоднее и злее других.
Пробирает озноб от шестого проклятого чувства –
Чувства камня – скользящей по мокрому камню руки.
Дрожь души не прогнать, не запить, не унять разговором.
В тишине померещится прошлого утренний стук
В мою дверь тишина пробирается в комнату воров,
Лишь тяжелые капли дождя пробуждают испуганный слух.
Как поверить? Тебя больше нет, а дороги все те же,
Те же улочки, те же дома и выюны...
И не греет вино – этот холод нездешний, мятежный
Пропитал мои руки, сковал мои прежние сны,
Где для нас дастархан и навесы в полнеба над нами,
И мускатные вина, мангалов шашлычный дымок,
Где нас ждал караван, где все стали нетленными снами,
Где все живы и с нами остались на вечный и радостный срок...
На окраине дней горизонт неизбежной разлуки.
Ты лежишь, и другие возьмут – а мне все идти.
Все идти да идти – я не знаю небесной науки
И напрасно прошу мне ответить хоть раз на пути.
Дрожь души не прогнать, не запить, не унять разговором.
Этот мартовский дождь холоднее и злее других.
Одиночество – плата за неодолимость простора,
За тепло очертившей его неоглядность руки.

Свет разлуки

Тебе – мои стихи немые,
Тебе – мотив мой непростой.
Он повстречал тебя впервые
И был отравлен красотой.

Любви прекрасны злополучья.
Ночных костров я помню пляс
И нас рознившие созвучья,
И тайны, сблизившие нас.

На неизбывном расстоянье
Мы неприкаянно близки.
Благословляю расставанья
Полуживые огоньки.



Вячеслав КАРИЖИНСКИЙ

Родился в 1981 году
в Ташкенте.
В 2007 году окончил
Ташкентский
Государственный
Технический
Университет
факультет «Поиски
нефти и газа».
Увлекается
литературой, музыкой,
звукорежиссурой.
Стихи пишет
с 1998 года.
Постоянный автор
Международного
поэтического
клуба «Рифма.ру».
Публиковался
в поэтическом
сборнике
«Суббота» («Студия
доброго слова»,
Новосибирск, 2008),
Международном
литературно-
художественном
салоне «Арт-Э-Лит»
(№ 2, 2010).

Пусть вешний свет тебе приснится,
Ресниц коснувшись и бровей.
Я запою бескрылой птицей
На серой влажности ветвей.

А ты запомнишь только эхо
И, став ребенком на заре,
Печаль отринешь как помеху,
Оставив сон в календаре.

Твой нежный призрак, тихий, скорый,
Меня не знавший никогда,
На миг появится за шторой
И растворится на года.

Воздушный змей

Я сердце в небо отпустил
Воздушным змеем –
Стремился из последних сил
Змей к эмпиреям.
Лазурной бездною ведом
К мечте в зените
Он все кручинился о том,
Что связан нитью
С рукою твердою моей,
К Земле влекушей,
Но чем терзался он сильнее,
Тем рвался пуше.

Лететь, доверившись ветрам,
Одна отрада –
Не знать, что ожидает там,
За ветроградом;
Неведенья манящий свет –
Пусть он обманет –
Не променять на правду бед
И тьму познаний.

Бумажный воин рисовал
На небе кольца,
И вот уже за перевал
Садилось солнце.
Я приготовился разжать
Кулак сомнений,
Но змей, устав так долго ждать,
Зарей вечерней
В лучах неласковых остыл,

Бескрылой птицей
С непокоренной высоты
Ко мне спустился.

Имаго

Приснившемся верить я готов.
(Во сне мы все немножечко другие)
Чужой душой покинул отчий кров,
И стопы обжигаются нагие

О стекла – это умер мамин сад:
Повсюду разноцветные осколки,
А улица врезается в фасад
И города впиваются в поселки.

Теней древесных кружит менуэт
Без музыки под месяцем двурогим,
И черный целлофановый пакет
Лежит убитой кошкой на дороге.

Незрячие глаза пустых машин,
Огнями серо-желтыми мерцают,
Следят за мной, и катится с вершин
Восточных гор утробный гул карная.

Бежать обратно в тихий отчий дом!
(Пунктир багровый тянется за мною)
Влететь в окна зияющий проем
Тем голубем, что возвращался к Ною!

Я вижу залу. Люди за столом.
С участием смотрят свечи и предтечи –
То мой семейный старенький альбом,
Где всё – глаза, но нету дара речи.

И чувствую, проснуться мне пора,
Сойти живым с листа фотобумаги,
Где крылья ошутит, как боль, с утра
Моей души созревшее имаго.

Снам нетревожным верить я хочу.
(Во сне мы все немножечко другие)
Но птицею я больше не взлечу
Над миром неизбывной ностальгии.

Все потому, что – времени вина –
Могильною засыпанные пылью
Дороги, голоса и имена –
Моей души поломанные крылья.

Лунибин

Резные ворота, железные прутья на окнах,
сери-коричневых, утром и вечером потных,
колючие нити засохших вьюнов на прутьях,
январское небо цвета разлившейся ртути –
градусник выпал, разбился о твердое небо
над головою у бледной девчонки Зебы.

– Зеба, не бойся, Зеба, не плачь, –
вьется вокруг полоумный толмач.

– Вытку из рыжих волос твоих к лету
новое небо пшеничного цвета.

А на лице, одичалом от грез,
струи нестриженных черных волос...

– Лунибин, лунибин, –
повторяет девчонка
странное слово
голосом ломким.

К утру Санобарка сплела из оранжевой трубки
чертика, рыбку, расправила складки на юбке.

Из трубки вчера ей капала в вену влага.

Полночи рвало – казалось, умрет бедолага.

Нынче смеется она, как ни в чем не бывало,
чистое гладит горячей рукой покрывало.

Но сообщат через несколько лет,

Что Санобар на земле больше нет.

Не покривятся медсестрины губы –
зов не раздастся, скрипучий и грубый,
лишь на исходе больничного дня
возле ворот загудит бормотня.

– Лунибин, лунибин, –
проворкует с ухмылкой
гадкое слово
пышная милка.

Как все здесь пропахло бинтами и мыльной
похлебкой.

Воздух горячий, да люд исхудалый и знобкий.

А я на салфетке, зернистой от хлорной пыли,

Сирин рисую – черногорящие крылья.

Рей же, безумица, в небе бумажном стгорая,
выведи ангелов из полусонного рая!

По телеграфу иссохших вьюнов
голос прибудет в господень альков.

Ртутное утро прольется в чертог,
где пробудится встревоженный Бог.

А перед ним – точно жертвенный дар,
Зеба-кизи* и ханум-Санобар**.

– Лунибин, лунибин, –
пропоют, как осанну,
детского слова
страшную тайну.

* Кизи – (тюрк.) девочка.

** Ханум – (тюрк.) женщина.

Слово «лунибин» созвучно с англ. разг. *loony bin* – приют для душевнобольных и имеет иронический оттенок.



**Алишер
АШУРОВ**

Родился в 1955 году. В 1985 г. окончил юридический факультет ТашГУ. Работал в органах МВД, в НБУ. Преполагает в Узбекском государственном институте физической культуры. Имеет публикации в журнале «Гулхан», в газете «Тонг юлдузи». В журнале «Звезда Востока» печатается впервые.

Жизненные и букварные «университеты» Петра Ивановича

Рассказ

В Удмуртии мне довелось побывать в ходе служебной командировки в начале нынешнего столетия. Судьба свела меня с замечательным человеком и собеседником, ныне пенсионером Петром Ивановичем Ивановым, который рассказал мне о своей нелегкой, но интересной жизни. Некоторыми впечатлениями о рассказе, произведшем на меня огромное впечатление, я решил поделиться с Вами, уважаемые читатели.

– Республику Удмуртию, в том числе и Можгинское лесничество, Вторая мировая война обошла стороной, – начал свой рассказ Петр Иванович. Но война чувствовалась в каждой семье, все могущие держать оружие мужчины были мобилизованы. Было холодно и голодно.

Семья Петра Ивановича и его супруги Ольги Григорьевны жила в селе Новые Юбери. С детства маленький Петя трудился, помогал взрослым в колхозе. Летом участвовал в заготовке сена и фуража для колхозных лошадей и овец, ухаживал за скотиной, участвовал в отборке самых здоровых коней из колхозного табуна для отправки на фронт. Весной помогал сажать картофель и зерновые. Брался за любую тяжелую работу, т.к. в коллективе работали в основном женщины. Работал в поле: пахал, нарезал борозду идя за плугом, осенью убирал урожай. Два его старших брата с войны не вернулись, и Петр Иванович стал помогать их женам и детям.

Стояло осеннее ненастье. С утра небо светлело и казалось, что вот-вот блеснет солнце. Но вскоре с северо-западной стороны надвигались тяжелые тучи, начинало моросить, а к вечеру уже лил настоящий дождь и хлестал всю ночь. Дважды в год – в осеннюю распутицу и весенний паводок – село Новые Юбери, состоящее из колхозной конторы, небольшой лесопилни, магазина, почты и нескольких десятков жилых домов-срубов, становилось недосыгаемым островком в бескрайней тайге. Земля размокала, дороги становились непроходимыми, казалось, что всякая связь с миром прервана навечно. Так было и нынешней осенью. Стояла обычная поздняя осень, холодная и неприветливая. Зима пришла раньше срока. Непроходимая каша на дорогах затвердела, замелькали за окнами белые пушинки. Казалось, что даже небо стало более высоким и светлым. Наступили настоящие холода. По утрам деревня светилась искристым инеем. В лесу временами поднималась настоящая метель, после которой лес погружался в тишину. Лишь иногда раздавался треск деревьев и слышались

голоса лесных обитателей. В такую пору детей из окрестных деревень до школы, расположенной в районном центре Можгинского района, правление колхоза поручило возить ездовому колхозу Петру Ивановичу. Он собирал всех школьников села, среди которых были и его дети: Юлия, Галина, Нина, Надежда и Татьяна. Право первыми садиться в сани, конечно, принадлежало детям Петра Ивановича. Было довольно холодно, и поэтому родители укрывали своих чад теплыми тулупами. После того, как все рассядутся, Петр Иванович обходил детей, проверял как они устроились, не холодно ли кому, осматривал сбрую коня Смирного, приговаривая: «Что студенты, в университет собрались»? Учеников Петр Иванович называл «студентами», а школу-десятилетку «университетом». Шутил, конечно, Петр Иванович. Но школьники воспринимали все это всерьез, как полагается. Попрошавшись, Петр Иванович вскакивал на козлы и давал команду Смирному: «Но-о... В университет!» Сани трогаются, и... снова скрипят-поют свою дорожную песню дубовые обшитые железом полозья. Погода стоит ядреная, морозная. Холод пошипывает нос, встречный ветер до красноты обжигает, будто сукном трет, щеки, а школьникам хоть бы что. Укутались в тулупы и глазят по сторонам. Понукая без нужды, для порядка, Смирного, Петр Иванович незаметно заводит разговор. Укажет своим кнутом в сторону, заметит между прочим: Быть морозу! Видите какие деревья белые стоят? Кнутом из березовой веточки, он орудовал, словно учитель указкой. Только его класс был попросторнее школьного. Школьники высовывали из тулупов свои багровые от холода носы, провожали взглядом пушистые от инея деревья, Петр Иванович тем временем увлеченно открывал им то длинные пятки зайца-белка, удирающего прочь от непротоптанной еще дороги, то следы таежной белочки на снегу, то следы дикого кабана, то острые и глубокие следы голодного волка. Свою науку дед Петр Иванович считал, видно, самой главной, потому придавал ей особое значение. И как-то повелось, что в селе и по всему лесничеству Петра Ивановича стали называть не ездовым, а заведующим учебной частью. Он не возражал против такого звания. Поездку в школу Петр Иванович называл «операцией» и, если все проходило благополучно, значит «операция» прошла удачно.

Вот и теперь по окончании каникул родители начали собирать детей в школу. Накануне их мыли, чистили, штопали им одежду. Никто из взрослых особенно не надеялся, что начнется учебный год. Вовсю шла война. Но нарушать порядок не стали и, собрав детей, как обычно, выпроводили их. Фронт был далеко, война в селе чувствовалась лишь отсутствием мужчин. Но поездка в школу не состоялась. Каникулы продолжились на неопределенный срок. Тем временем закончилась распутица, и выпал первый снег. Ребята по старой привычке собрались у избы Петра Ивановича и стали интересоваться, когда же их повезут в школу. Но увидев его, примолкли: не тот стал нынче Петр Иванович. Глаза его запали, спрятались под косматые брови, взгляд отводит, будто виноват в чем перед детьми. Смотрит куда-то вдаль мимо стволов вековых сосен и молчит почему-то.

– Кончились ваши университеты... – выговорил он с болью. Дети присмирели. Стоят, не расходятся. Смотрит Петр Иванович – и первачки явились, те, кто первый раз в первый класс, и в один голос: «Петр Иванович, свежи нас в школу!» Петр Иванович почесал затылок, переступил с ноги на ногу, примял свежий снежок на пороге, но не проронил ни слова. Что скажешь детям?!

Посмотрел на малых и подумал: «Считай, сироты, коль отцов нет». Посмотрел на Славу Владыкина: стоит неприкаянную худою былинкой, лоскут мешковины пришит на локте, отцовы сапоги заскорузли и задрались носами кверху, каблуки истерлись до самых задников, опустил глаза, смотрит под ноги. Его отец, Виктор Владыкин, сразу же, как началась война, ушел на фронт, и еще до осеннего бездорожья жена его Надежда успела получить черную весть. На глаза старика навернулись слезы. От старости, должно быть, или от ветра. Вытер слезу на всякий случай корявым пальцем, открыл дверь своей избы настежь и сказал детям: «Заходите». Малыши несмело переступили порог. Вошли в светлую в три окна горницу и робко остановились у дверей. Осмотрелись и сгрудились у печи. На стене тикали часы-ходики.

– Садитесь! – пригласил Петр Иванович, выставляя стулья. Но стульев у него для всех не хватало. И поэтому детей пришлось рассаживать где придется. Потом Петр Иванович обвел всех взглядом, подошел к стоящему у окна сундуку, взялся за ключ. Ребята

настрожились. А дед Петр, ничего не объясняя, повернул ключ в замке несколько раз и поднял палец над головой. Все замерли и прислушались, уставившись на его палец. Но, ясное дело, ничего особенного не увидели: крючковатый палец, удобный для захвата кнутовища, весь в трещинах и морщинах.

Неожиданно по горнице разлилась музыка. Она доносилась откуда-то из-под земли, и дети не сразу сообразили, что поет сундук.

Динь-динь, динь-дон! – стучали скрытые молоточки, словно в диковинных заводных часах. Через некоторое время умолкли, отстучали серебрянным звоном колокольчики, наступила тишина. Тогда Петр Иванович поднял крышку сундука. Крышка была некрашенной с деревянной палочкой-подпоркой, что закладывается изнутри. Дед Петр вывел палочку, закрепил крышку. Затем перегнулся через край сундука. Детишки тут же ринулись за ним. Они рыскали глазами в поисках волшебных колокольчиков, но кроме допотопного добра, припасенного еще бабкой Марией, ничего не увидели.

Долго что-то возился Петр Иванович, переворачивая всякое тряпье до самого дна, наконец, извлек из сундука старую книжицу, выпрямился и встал посередине горницы.

По слогам, а больше по памяти, запинаясь от волнения, прочитал: «Бук-варь». Книжка была зачитана до дыр. Кое-где уголки страниц обломались, и слова в нижних строчках истерлись.

– Стало быть, вот так – почему-то смущаясь, сказал Петр Иванович.

Должно быть, он сам решил учить детей, коль так случилось, что не стало школы. Не пропадать же зря ребячьим годам, жизнь и так не долга. Открыл букварь, да пока подвел непослушный палец под строку, Славик Владыкин, тот самый говорун и непоседа, к которому так охотно цеплялись двойки, опередил его и прочитал: «Дом. Парта. Сад» – прочитал живо, без пальцев. Дед Петр оторопело заморгал глазами. Покосился недовольно на своего ученика, но ничего не сказал. Отвел глаза в сторону, вздохнул тяжело.

«Неграмотный, почитай, дураку брат» – подумал про себя. И понял Петр Иванович, что он им не учитель. Что вот еще тем, несмышленным первакам, пособил бы кое-как, а остальным не помощник он, нет, не помощник.

Встав из-за стола, он спрятал букварь.

Плохо знал он грамоту: читал только заглавия и то по слогам, шевеля губами над газетой, письма, если приходилось, писал печатными буквами. Потому действительно мало чем мог помочь детям в учебе. Так случилось, что он с детства был приставлен к лошадям. Еще мальчишкой бегал погонщиком на конной молотилке, ходил подпаском в ночное, сопровождал пшеничные обозы. А как подрос, то сразу встал к плугу. И так до старости вожжи из рук не выпускал. Постарел – опять же к лошади: то в колхоз, то в Можгинское лесничество ездовым. Он прожил бы свой век не особенно горюя, что не совладал как следует с учебой, да вот к концу жизни, как никогда, почувствовал – очень нужна ему грамота. Впервые крепко пожалел, что недоучился. Время такое было, и взрослые учились – ликвидировали безграмотность. Петр Иванович все в работе искал себе оправдание, хотя знал, что работа учебе не помеха.

Посмотрел он как-то по-новому на школьников, что засели за столом для занятий, и сказал себе: «Ладно, дело надо делать, а не горевать по-пустому. Ты свое время упустил, а почто дети должны страдать?»

Утром следующего дня Петр Иванович запряг своего Смирного в небольшой санный шарабан с жестяным передом, закутался в тулуп до самых бровей, сел на мешок с овсом на козлах, прикрикнул: «Ну вперед, милый!». А еще он взял с собой дорожную шубу, в которую раньше кутал ноги ребятишкам, и темный платок покойной матери Марии, свернул все аккуратно, бросил на солому и скрылся за восковыми стволами сосен. У него много было теперь дорог – особенно лесных, непроезжих. В последнее время он стал часто ездить невесть по каким делам и даже не ночевал дома. Тут как раз испортилась погода. Ветер точно с цепи сорвался, непроглядная метель поднялась. Все пути-дороги замело, так что деда Петра никто скоро не ожидал. Только одни ребятишки, не попавшие в школу, сидели у заледенелых окон, продувая теплым дыханием смотровые кружочки. И если присмотреться внимательней, в каждой избе, где были малые, светит в белом окне сквозь темную проталинку по ребячьему глазку. А деда Петра все нет... И куда он мог

запропасться? Славик Владыкин, чья изба стояла на краю деревни, как дозорный, ни на минуту не оставлял своего поста у смотрового глазка. И вот однажды, под вечер, когда уже глаза устали сторожить дорогу, видит он: катит из леса шарабан с жестяным пере- дом. Да так, что снег летит из-под копыт в разные стороны. Конь весь мокрый, пар от него клубами, фыркает. Уздечка, точно школьный звонок, призывно позванивает. Слава уткнулся носом в стекло и увидел, что Смирный остановился у крыльца Петра Ивановича и землю копытом бьет. Пар из ноздрей так и валит. А в шарабане кто-то возится. Не разобрать кто. Наконец, из шарабана вываливается Петр Иванович, из рукава указка торчит, из другого вожжи свисают. Папаха едва виднеется над поднятым воротником, присыпанным снегом. Дед снял ее, стряхивает, ударяя об полу. В санях еще кто-то воз- ится... И кого же мог привезти Петр Иванович? Вот так-так! – удивился Славик, увидев старушку. Живое оделся и выскочил на улицу. Глянул, а его школьные друзья уже толпятся у шарабана деда Петра. Живут они ближе к его избе, вот и опередили Славу. Прибежал он, запыхавшись, ничего понять не может. Смотрит, старушка незнакомая стоит в коро- тенькой шубке и пенсне, смотрит хмуро. Рыжая шубка на ней сшита из одинаковых ло- скутов, как футбольный мяч, и так стерта, что на локтях и возле пуговиц лоснится голой кожей. Еще на старушке была меховая шляпка и старенькая изношенная длинная юбка. На ногах поношенные сапожки с блестящими застежками доверху. Застежек так много, как лапок у сороконожки. А сверху платок бабки Марии. Смешная получилась старушка, будто из других времен. Лишь темный с кистями платок на голове сближал ее как-то с окружающими. И откуда он, дед Петр, привез такую?

– Здравствуйте, дети – сказала она спокойно. Руки старушка спрятала в большую меховую муфту, будто там у нее что-то живое. – Что же вы не отвечаете? – спросила она тем же голосом, глядя сквозь светлые стеклышки пенсне. Дети растерялись, застеснялись, конечно. Первым опомнился Славик Владыкин. Он выступил вперед и чинно подал руку. Старушка улыбнулась запальными губами, вынула из муфты маленькую ручку и протянула Славику. Славик хотел пожать руку, да так и застыл от неожиданности. В темной норе муфты шевельнулся живой мех и сверкнули зеленые глаза.

– Котеночек, – только и прошептал он, не веря себе. Муфта жалобно мяукнула. Из нее высунулась круглая мордочка с усами. Тут все как-то сразу забыли и о Петре Ива- новиче, и о старушке, которая всех так удивила. Славик даже поздороваться забыл. Так и стоял с протянутой рукой. Обступили котенка, стали выманивать его из муфты, чтобы поддержать в руках. Котенок фыркнул, обжегшись на морозе, и тут же спрятался в свою теплую норку.

– Будет вам! – Сердито сказал Петр Иванович и, взяв из шарабана узелок, повел старушку в избу. Он плотно закрыл за собой дверь. Строг, больно уж строг был Петр Иванович! Может быть, он утомился с дороги, или что-то стряслось в пути? Да разве у него что узнаешь! А может, просто важничал. Был у него, старого, такой грех. Ребята не расходились. Окружили окна, заглядывают в избу, вытягивая шею. Но ничего не видят, стекла изнутри припушены белым инеем, и никто им в том морозном узоре не продует теплым дыханием глазка. Вскоре ребята заметили, что из трубы вьется дым. Теплее как-то стало на душе от того дымка. Ребята окружили усталого Смирного, говорили с ним, да что мог поведать конь? Водит огромным иссиня-дымчатым глазом, прядет уша- ми. Фыркает на своем языке. Уздечкой, точно школьным звонком, дразнит. На длинных ворсинках у него иней осел, точно в серебристую шубу одет. Лупает огромным глазом, тянется ноздреватыми губами к детям. Любит их, привык за долгие годы езды в школу. Стала смерзаться у него на морозе грива. Шерсть на животе взялась струпом. Вздрагива- ет бедняга, но терпит. Значит, так надо. Человеку надо. Он всегда терпит, если человеку надо. Сколько пришлось перетерпеть у школы на морозе, пока дети отучатся. Коня давно следовало завести в конюшню. И что это так замешкался Петр Иванович? Никогда с ним не случилось, чтобы забыл скотину...

В верхнем стекле, у кромки, темнеет у рамы полоска свободная от инея. Алексей и Саша Коршуновы пригнулись, а Славик, меньший, взобрался им на спины. Прилип к стеклу. Смотрит узелок в белый горошек на столе, старушка возле печки в своей шубке из лоскутов, серый котенок у нее на руках. А Петр Иванович склонился над печкой, под-

брасывает поленья в огонь. Лицо у старушки хмурое, стеклышки пенсне недовольно поблескивают, от чего кажется, будто дед еще ниже гнется.

– Чего они там? – не терпится Алексею Коршунову.

– Ругаются, – сочинил Славик.

– Да, ну? – дернулся Лешка, и Славик, взмахнув руками, потерял равновесие. Но вовремя схватился за наличник. Шапка только свалилась. Покатилась колесом по снегу. Да бес нею, с шапкой! Прильнул к стеклу и тут же отпрянул – старушка и дед Петр с удивлением смотрели в окно. Шумнул, наверное, когда хватался за наличник. Спрятался за косяк, не знает, что делать. А Алексей все кричит снизу: «Ну! Что там?»

– Напустилась на него, – ответил он шепотом, чтобы тот попричих.

– На кого? – кричит Алексей.

– Да на старого! – осерчал уже Славик.

– Дай гляну! – дернулся снова Леша.

Славик, взмахнув как птица, руками, кубарем полетел в снег. Девочки засмеялись. На шум вышел Петр Иванович, и мальчишки сыпанули от окна воробьями. Дед посмотрел им вслед и, ничего не сказав, улыбнулся. Он неспеша распряг Смирного, завел в конюшню и привязал к стойлу. Подсыпал в корыто сизого овса, заложил за решетку душистого сена и хотел было в дом вернуться, но ему заслонили дорогу те, кто только что стрекача давали. Осмелели, видать, без чужой старушки.

– Кого ты, Петр Иванович, привез? Дед смотрит, и односельчане подходить начали, деваться некуда, сдвинул брови, окоротил озорников строгим взглядом, хотел еще и шугануть, да опомнился.

– Учительница она, – и за ручку двери взялся. – Марией Андреевной Белкиной звать. В городе голодала. Правда, не работает уже, на пенсии, – добавил он зачем-то.

– Дед Петр ушел, закрыв за собой дубовую дверь, а люди так толком ничего и не поняли. Стоят, друг на друга смотрят. Не все сказал им Петр Иванович. Утаил что-то. Уж больно скрытным стал он в последнее время.

На следующий день рано утром Петр Иванович истопил печь, вскипятил чаю и, позавтракав с Марией Андреевной, надел тулуп, вышел во двор, отыскал в сарае топор. За дело принялся дед. Прежде всего, он пошел в заброшенную лесопильню, где так и осталось торчать в зубах распилочной машины сосновое бревно, распущенное с одной стороны на доски. Отобрал несколько добротных обрезков и принес их в конюшню. Там рядом со стойлом Смирного, смастерил себе на скорую руку плотницкий верстак. Потом разыскал инструменты. Давно не брал он их в руки. Стальное лезвие рубанка отточил на обломке точильного круга, пилу развел трехгранным напильником, насадил покрепче молоток. Поплевал на жесткие ладони, взял рубанок. Прижмурил один глаз, проверяя захват лезвия. Постучал молотком в затылок рубанку, освобождая пластину, затем осадил ее ударом. Еще раз прикинул захват лезвия. И, став поудобней, легко пустил рубанок по шершавой доске. Вьется золотая стружка из прорези рубанка, сосновый дух расходится по конюшне. Ноздри Смирного, раздуваясь, втягивают приятный запах смолки. Очистил Петр Иванович доску и взялся за новую. Тут он заметил, что кто-то заглядывает в дверь. Высунет нос и тут же спрячет его.

– А-а! Помошники явились! Ну, заходите, добрые люди, коли так. Постепенно мастерская деда заполнилась ребятней. Глаза Петра Ивановича повеселели. Поначалу ребята, не вынимая рук из карманов, наблюдали за дедом.

– Подержи-ка здесь, – обратился Петр Иванович к Леше.

Алексей робко подошел, взял доску. Другие дети тоже кинулись помогать. Тут дед отложил рубанок и начал давать каждому задание, чтобы без дела не глазели на него. Одному кору топором тесать, другому сносить ее в кучу, к дровам, третьему доску держать.

– А что это будет, дедушка? – не выдержал Лешка Коршунов.

– Это? – не сразу поднял глаза Петр Иванович. И, не отвечая, наметил прорези на обструганной доске. С каждой стороны по два квадратика, заложил за ухо карандаш, взял долото и деревянный молоток величиной с кувалду.

– Все знать будешь, рано состаришься.

Затем сел на доску и, прижав ее телом, стал долбить дыру.

Ребята смотрят во все глаза, ничего не поймут.

И только когда Петр Иванович стал в дыры ножки вставлять, догадались: да это же обыкновенные скамейки! И зачем они ему нужны, когда у него дома стулья есть? Да не простые, а из лозы плетенные, с выжженными узорами.

Смастерили четыре длинные скамейки, на троих-четверых каждая. Затем стали делать стол с ножками крест-накрест. Такой же длинный, как скамейки. И стол у деда есть. Да не один, а целых два.

– Эх, жаль, – мотнул головой дед Петр, оставляя рубанок.

Выпрямил спину, постоял минутку, держа рубанок на весу. – Жаль Ивана нет... Он бы уж сделал как следует, – совестился своей работы дед Петр.

В самом деле, если присмотреться, то скамейка и стол вышли не такими ладными, как это казалось ребятишкам. Тут сучок помешал, там пила заехала не туда. И старика, видно, брала досада, что рука его ослабла, а глаз потерял зоркость.

– Ну, однако, хватит прохлаждаться, – сказал он, и снова все взялись за работу.

Так они смастерили два стола, четыре скамейки и доску, обыкновенную школьную доску на ножках-распорках, которую переворачивать можно другой стороной. Разместили в горнице, и стала она похожа на класс. Настоящий класс, где проводят занятия. Славик сообразил, что из дедовой избы вышла школа, и всплеснул ладошками.

Петр Иванович подошел к двери боковой комнатухи, снял шапку, почесал затылок. Затем постучал осторожно пальцем. Оттуда никто не отозвался. Подождал немного, отворил дверь. В комнате оказалась маленькая старушка. Та самая, которую Петр Иванович привез на шарабане. Сидит подле окна, на носу пенсне, на коленях котенок. Смотрит в морозные стекла задумчиво. Грустит, видно. Не привычно ей в медвежьей глуши.

– Кх, кх – откашлялся для порядка, и еле слышно выговорил: – Мелу-то я не привез.

Учительница молчит. Деду Петру от этого еще более неловко стало.

– И куда ты меня завез, Петр, – сказала она наконец.

– Скучновато у нас... Ясно дело, – не сразу ответил дед.

Постоял немного, добавил: «Зато по нынешним временам укромно и, как говорится, не холодно и не голодно».

– Не о том я... Втянул ты меня, Петр Иванович, в историю не по моим силам. Не мне уж этим заниматься... Отжила я свое. Умирать пора. А при этом времени и подавно жить не хочется.

– Умереть не шутка – была бы польза, – ответил дед смелея. Голос его стал увереннее. Дети-то разве в этом виноваты? – оглянулся на дверь дед. В комнате надолго замолчали. Потом отозвался голос старушки: «Сил моих нет.. ни на что я не годна... Сам видишь...»

– А там краше?! – осерчал старик. И уж точно в городе, где жила учительница, было не краше, и никто там от старушки ничего не ждал, она, смирясь с мыслью о скорой смерти, только думала, чтобы никому не быть в тягость. А тут что-то требовалось от нее.

А у избы тем временем снова собралась ребятня. Славик Владыкин, непоседа, выскочил в сени. Мария Андреевна увидела топчущихся у порога детей, спустила котенка на пол, поднялась. Петр Иванович не по годам быстро метнулся в сени, дал тычка Славику. Взял двух девочек за руки, ввел торжественно в горницу. За ними потянулись и остальные. Глаза деда Петра просияли радостью, губы чуть заметно дрогнули в улыбке.

– Прошу любить да жаловать! – сказал он громко. – Это будет ваша новая учительница...

От этих слов Мария Андреевна как-то растерялась. Она стояла на пороге своей комнаты, не в силах сделать ни шагу.

– Как же с мелом-то быть? – обернулся к ней дед Петр.

Он сказал это так, будто все уже решено и осталось только приступить к делу.

– С мелом? – сдвинулась с места Мария Андреевна, глядя на учеников, что расселись за столами с серьезными лицами, и сердце ее дрогнуло. Да как-нибудь обойдемся пока, – ответила она.

Ночью выпал снег. Запушились сверху ватой плетни, побелели полосками оконные переплеты, сравняло со снежной целиной дорогу. Но уже с утра потянулась к избе Петра

Ивановича свежая тропа. Если глянуть сверху, то от каждого двора, где есть школьники, идет цепочка следов, будто ручейки вливаются в дорожку, ведущую к дедову крыльцу.

А на крыльце хозяин: «Добро пожаловать, как говорится!» Как в праздник приоделись дети. Идут с сумками-котомками, шмыгают носами на морозе. Головы поднимают, чтоб из-под надвинутых на глаза шапок увидеть своего «заведующего учебной частью» и поздороваться с ним. Сам дед Петр тоже приоделся по по такому случаю. Глаза блестят, щеки порозовели, и кажется, что даже помолодел.

И вправду, праздник нынче в дедовом доме. Наполняется ученическим гомоном необычная школа, глазают с удивлением по сторонам первачки, да и старшие, пол выскоблен добела, будто воском натерт, расшитые рушники, сготовленные еще покойной женой Петра Ивановича, висят на стенах. Рассаживается детвора по местам, дед Петр хозяйничает.

– Э-э-э, так не пойдет! – и начал рассаживать детей по-своему.

Самых старших, которые в четвертом классе, посадил подальше, назад, затем определил границы третьего и второго классов. А вперед, поближе к доске, посадил самых маленьких, тех, кто впервые в жизни взял сумку и пришел в необычную школу. Учительница все это время стояла в стороне, будто лишняя. Ждала пока дед рассадит детей, и дети уgomонятся.

Мария Андреевна начала урок. Славик зашмыгал носом, недовольный, что его посадили с девчонками-первоклассницами, которые еще и букв-то не знали.

– Ну вот, звук другой и стружка толше, – важно заметил Петр Иванович. Дед Петр любил говорить как-то непонятно. Скажет что-нибудь – поди разбери, что это значит. Год будешь гадать – не разгадаешь. Еще он любил употреблять иностранные слова. Этому он научился в прошлую войну.

– Ахтунг, ахтунг, как говорится, лос-лос! – Мария Андреевна улыбнулась, глядя на деда. Она хотела продолжить занятие, но ей опять помешали.

Славик Владыкин вскочил с места, дед Петр прикрикнул на него по немецки: Зишин, зишин!

– Зитце, – поправила старика учительница. Дед Петр заморгал, втянул шею, будто его кто сверху огрел. Уж повелось, что его никто никогда не поправлял, все брали его слова на веру. А тут на тебе! Да еще при ком! При его учениках. Тех самых, что смотрели на него снизу вверх, как на солнце.

– Хорошим бы ты учителем был, Петр Иванович, да вот... – не досказала учительница и вдруг приказала ему как ученику: «Садись!»

Заведующий учебной частью подчинился учительнице. Присел на краешек скамейки да и оробел вовсе, точно школьник.

Никто, конечно, не знал, что Петр Иванович и действительно был учеником Марии Андреевны. Только давно это было, еще во время ликвидации неграмотности – после революции, когда для взрослых организовывали школы. И потянулись в эти школы бородатые ученики с букварями под мышкой. И дед Петр, еще не совсем старый, тоже. Учился-учился – да недоучился. Давно это было, а помнится хорошо. Теперь он сидит рядом со своими учениками, за прошлое глаз поднять не может.

И такой послушный сделался, что его таким еще никто не видел. Дети удивились, как так, их «заведующий учебной частью» – да в ученики! К тем, кто единой буквы не знает. Огляделся дед Петр, почесал затылок, побряхтел и, стараясь не скрипнуть половицей, пересел подальше от малышей, к старшим. Как-никак, а буквы он уже знает.

Учительница чуть заметно улыбнулась и, когда установилась тишина, взяла букварь. Тот самый, что долго покоился в дедовом сундуке. Мария Андреевна раскрыла букварь и обратилась к ученикам.

– Дети, а кто из вас умеет читать?

Тут ученики, как дед Петр, пригнули голову бычком, глаз поднять не могут, молчат, все чего-то стесняются.

– Так никто из вас читать не умеет? – снова спросила учительница. Дед Петр по этому случаю смущенно кашлянул. Вот так-так! Стало быть, понапрасну возил он их в школу,

Смирного гонял, мерз, ожидая пока кончатся уроки. Стало быть, и им, как когда-то ему, ученье не пошло впрок?

Леня Скоробогатов косо поглядел на своего «заведующего учебной частью», жаль ему стало старого. Мальчик не понял, конечно, того, о чем думал дед Петр. Но почувствовал, что старику нехорошо. Оттого он и покашливает, нехорошо ему, из-за того, что все молчат. И тут, словно кто-то дернул руку Леню за рукав, рука сама потянулась вверх. Рука тянется вверх, а голова еще ниже опускается. Но, глядя на него, стали поднимать руки и другие. «Я! Я! Нет, я!»

– Только не надо кричать, – заметила учительница. – Поставьте руку на локоть, и я увижу, вас этому учили?

– Учили!

– Вот и молодцы. Почитай нам, Славик, будь добр. А мы послушаем.

Учительница чуть отошла, взглянула на ребят. Моршинки лучиками собрались вокруг ее внимательных глаз.

Владыкин набрал побольше воздуха в грудь, уперся глазами в страницу – и словно в воду нырнул: буквы разлетелись в стороны, как мальки. Хочет собрать их, а они не дают. Что за напасть? Или разучился за такие длинные каникулы?

– Ты в школу ходил? – спросила Мария Андреевна.

– Ага, – кивнул Славик.

– Отчего же не читаешь?

– Так буквами скачут... растеряно ответил Владыкин.

– Ну, это сейчас пройдет. Ты посиди, успокойся, а я вот что вам расскажу. Вы слышали, как однажды даже ослика обучили грамоте?

– Это как же? – вытянула шейку Евгения.

Дед Петр тоже насторожился и недоуменно глянул на учительницу.

– Вывели ослика на площадь в седле и попоне, все золотом расшито, и стал он раскланиваться публике, что собралась послушать как он читает. Потом пошел к скамейке, на которой лежала книга. Ребята слушали затаив дыхание, а дед Петр не выдержал – поднялся с места. Заспешил уходить, будто у него дела срочно объявились. В глаза никому не глядит, недовольный чем-то. И чем его кто обидеть мог? То расшевелился, смеялся, а то вдруг про ослика начали, и будто темная туча на него нашла, ночь в глазах – да и только.

– Извините, мне пора, – буркнул он и, хлопнув дверью, вышел на улицу.

Дети, конечно, не знали, что эту историю про грамотного ослика Мария Андреевна рассказывала еще в ликбезе, где обучались взрослые. Переглянулись они с учительницей, понимая друг-друга: сколько времени упущено понапрасну! Дед не выдержал и ушел. Только дети ничего не поняли. Смотрят то на учительницу, то на закрытую дверь, молчат.

– Хорошо, дети – выговорила наконец Мария Андреевна.

Ученики подумали, что учительница будет про ослика продолжать. Очень им хотелось знать, что было с этим четвероногим грамотеем. Как он оскандалился перед народом, потому что какой осел может читать?!

– Хорошо повторила она еще раз, хотя чувствовалось, что было совсем не хорошо.

Мария Андреевна сверкнула стеклышками пенсне, развязала свой узелок, вынула из него каждому по тетрадке. Тетрадей оказалось больше чем учеников. Остановилась она с тетрадкой и у того места, где только что сидел Петр Иванович, усмехнулась:

– А ведь каким был – таким и остался...

– Кто это? – не поняли ребята. – Ослик?

– Да нет... досадовала учительница.

– А как же ослик Мария Андреевна?

– Ослик? – спросила она дрогнувшим голосом и присела на скамейку рядом с детьми. Сняла пенсне, пружинки, видимо, давили ей переносицу. – Ослик начал читать.

– По-настоящему? – не поверили дети.

– А как же! Прочтет страницу, перевернет языком, потом другую, так всю книгу и прочитал.

– Вслух?

– Зачем вслух? Про себя, конечно. А как закончил, повернулся к хозяину и закричал по-ослиному.

Весело бьется в печи жаркое пламя. Потрескивают сухие сучья, брызгаясь искрами из поддувала. Теплый дух расходится по горнице. Но детвора не замечает этого. Слушают в напряжении – что дальше?

– Хозяином был у этого ослика Ходжа по имени Насреддин из древнего города Бухары, что находится в Узбекистане. Ходжа – это в Средней Азии вежливое обращение к ученым людям, наставникам, «духовный руководитель» по-другому.

– Как Петр Иванович?

– Как он, дети, – улыбнулась учительница.

– А что такое «духовный» – спросил Леша Скоробогатов?

– Ну как вам объяснить, – засмеялась учительница.

– Наставник души. Как классный руководитель в школе. Так вот, есть целая книжка рассказов и анекдотов о похождениях Ходжи Насреддина.

Тут же Мария Андреевна объяснила и слово «анекдот». Оказывается, это всего-навсего занимательный рассказ о смешном или необычайном происшествии. Все просто, если знаешь. Это Петр Иванович что-нибудь завернет, да еще по-иностранному, шалеют дети от его учености.

Рассказала это учительница, хотела продолжить урок, но дети не дали. Очень хотелось ребятам знать, как же все-таки Насреддин обучил своего ослика грамоте.

– А просто: положил между страницами зерна ячменя, осел и искал лакомство. Конечно, натренировал его Насреддин заранее страницы языком перелистывать. Вот люди и думали, что осел читает. А как ячменя на последней странице не оказалось, осел возмутился, посмотрел на хозяина недоуменно и заревел.

Весело трещит в печи жаркое пламя. От березовых дров черный дым вьется из трубы, затерянной среди дремучих лесов и болот, а в избе Петра Ивановича, в самой большой комнате, светлице, дружно лопочут, склонясь над листами старого букваря дети.

И никому из ребят еще невдомек, какие «университеты» их ждут впереди, к каким жизненным испытаниям они делают первый шаг. Многим из них будет суждено поступить в настоящие университеты, кто-то отправится за тысячи километров от дома, но никто не забудет своего первого заведующего учебной частью.

Озаряющее искусство, или неизвестные страницы жизни и творчества В. Яна

*«Искусство тоже кочует – от человека к человеку,
от народа к народу и из одной страны в другую страну...»*

Художник Михаил Рейх

Судьба романиста Василия Яна была непростой, но жизнеутверждающей, впрочем, так же, как и его творчество. «Талантливый человек талантлив во всем». Подтверждением этому служат яркие факты, отражающие незнакомые нам стороны личности писателя.

В Государственном литературно-мемориальном Доме-музее С.П. Бородин в личном архиве писателя были найдены уникальные документы, касающиеся непосредственно жизни и творчества В. Яна, свидетельствующие о связи между двумя писателями-романистами: С.П. Бородиным и В.Г. Яном.

Данный материал содержит ценную информацию, передающую атмосферу того времени, раскрывающую незнакомые современному читателю грани романиста В. Яна, его взаимоотношения с другими писателями, художниками-оформителями его многочисленных произведений и его сыном Михаилом Янчевежским, который был ответственным секретарем Комиссии по литературному наследию писателя.

В своем письме, написанном 6 июля 1973 года, сын писателя пишет С. П. Бородину:

«Дорогой Сергей Петрович!

Не могу не отозваться на Ваше письмо от 18.6 с.г., со столькими неподдельно теплыми словами об отце и со справедливыми мыслями о многих, уже ушедших, писателях-историках, еще недавно наших живых современниках. К упомянутым Вами добавлю еще и В.Я. Язвицкого, Ст. Злобина, С. Голубова, Ан. Шишкова, В. Снегирева, Л. Борисова часто общавшихся с отцом.

Вы доставили бы мне большое удовольствие, если бы в одно из Ваших посещений Москвы стали моим гостем. У нас, вероятно, нашлись бы темы для общения. Мой тел. 299-91-47

Я периодически бываю в Ташкенте по служебным делам (я архитектор и причастен к некоторым стройкам у Вас), предполагаю быть и осенью этого года; если позволите, в этот приезд попытаюсь связаться с Вами для встречи.

Посылаю Вам сборники «Детская литература» 1971 и 1972 годов, где в конце их Вы найдете воспоминания моего отца о его юных годах, записанные мною с его слов.



**Насиба
ХАЙДАРОВА**

*Родилась
в Пахтаабадском
районе Андижанской
области в 1991 г.
Окончила
Андижанский
государственный
университет
факультет русского
языка и литературы.
Призер областных
и республиканских
олимпиад по русскому
языку и литературе,
магистрант
Национального
университета
Узбекистана. Работает
над магистерской
диссертацией
«Национальная
картина мира
в творчестве В. Яна».*

Это только начало, но, может быть, Вам будет интересно прочесть полный текст, надеюсь опубликовать в 1974 году, к 100-летию со дня рождения отца.

Еще раз благодарю за письмо и все, что в нем сказано об отце, искренне желаю Вам доброго здоровья, творческого подъема и неизменных удач!

С глубоким уважением,
Ваш М. Янчевецкий».

М. Янчевецкий в своих воспоминаниях, вступительных статьях и комментариях к книгам отца особо подчеркивал слова и изречения В. Яна, западавшие в его душу, становясь жизненными принципами обоих.

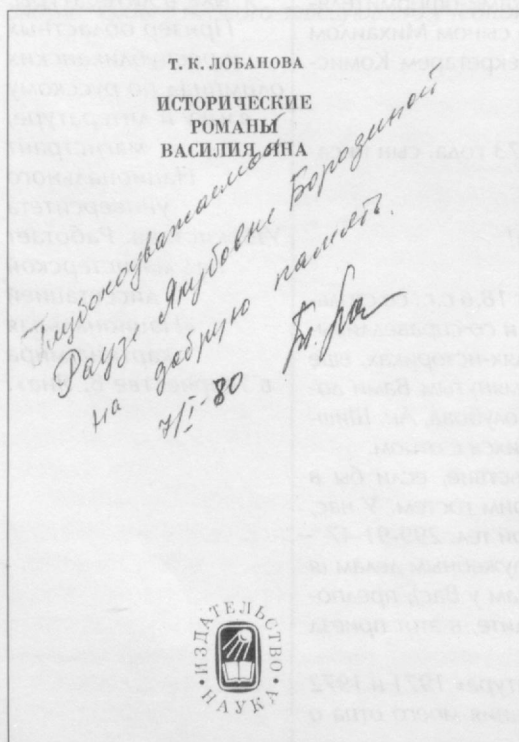
Так и в этом письме Михаил Янчевецкий подчеркивает: «...отец любил повторять: торопись сделать приятное встречному, через мгновение ты, может быть, его уже больше не встретишь никогда!» (интересен тот факт, что сам В. Ян в своем рассказе «Голубая сойка Заратустры» пишет: «...торопись обласкать каждого, быть может, ты его больше не увидишь. В каждом человеке дремлет неузнанный бог. Разбуди его...»). Сын В. Яна считал своим основным делом и долгом собрание, систематизирование и опубликование литературного наследия своего отца.

В другом же письме от 27.4.1974 г. М. Янчевецкий сообщает С. П. Бородину:

«Правление Союза писателей приняло решение отметить 100-летие со дня рождения В. Яна. Вы включены в состав Юбилейной Комиссии и получите об этом официальное извещение с приглашением принять участие в заседании Комиссии.

От Ташкента в Комиссию включены (кроме Вас) Лобанова Татьяна Константиновна, молодой «подающий надежды» филолог, кандидат наук, автор диссертации и других работ о творчестве В. Яна».

Т.К. Лобанова занимает особое место среди исследователей творчества В. Яна – это единственный специалист по изучению литературного наследия В. Яна в Средней Азии. Ее автограф на книге «Исторические романы Василия Яна», изданной в Москве в 1979 году Академией наук и Институтом языка и литературы имени А. С. Пушкина, находится в 4 витрине первого литературного зала музея, посвященной жизни и творчеству В. Яна в Средней Азии.



В письмах сына В. Яна чувствуется не только «слог» его отца, точность и лаконичность его стиля, но и характер, такой же предусмотрительный и настойчивый.

В личном архиве С. Бородина были обнаружены также книги В. Яна, в частности, исторический роман «Батый» из знаменитой трилогии «Нашествие монголов», изданный в Ташкенте Государственным издательством «Художественная литература» в 1959 г. С личным автографом С. П. Бородина и надписью: «Ташкент. Ул. Навои 7 ноября 1959». Книга была приобретена на улице Навои 30.

Другая книга – роман В. Яна «Чингиз-Хан» на украинском языке, издана в 1954 году в Киеве в издательстве «Художественная литература».

В данной книге имеется автограф художника, иллюстратора-оформителя многих изданий В. Яна, Михаила Рейха. Ташкентский художник подписал книгу следующими словами:

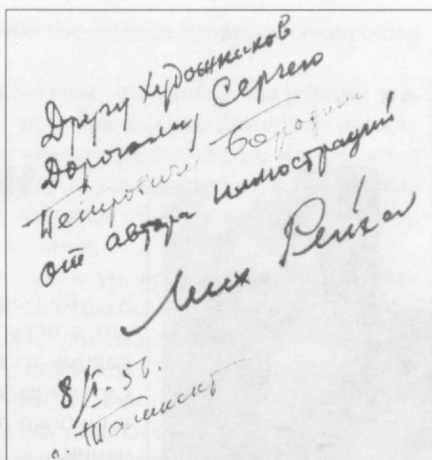
«Другу художников Дорогому Сергею Петровичу Бородину от автора иллюстраций Мих. Рейха. 8. 1. 56 г. Ташкент».

Более того, найден карандашный рисунок Михаила Рейха 1952 года.

На обратной стороне рисунка надпись: «Мухтар Ауэзов «Абай». «Кочевка большого аула через перевал» к стр. 137, художник Михаил Рейх. Искусство тоже кочует – от человека к человеку, от народа к народу и из одной страны в другую страну.

Эту скромную вещь я дарю Сергею Петровичу Бородину – строгому, взыскательному к себе писателю-художнику и человеку очень доброжелательному и снисходительному к другим, в частности ко мне. М. Рейх. г. Ташкент 10 августа 1955г.».

Это говорит, конечно же, о дружбе и тесных взаимоотношениях писателей-художников. В. Ян, будучи сам художником, был хорошо знаком и с другими художниками, их работами.



До 100-летнего юбилея В. Яна в 1975 году оставалось еще два года, но его сын уже начинал разработку плана юбилейных мероприятий, начинал отбирать материал для опубликования воспоминаний отца.

Произведения В. Яна неоднократно публиковались не только в России, но и у нас в Узбекистане.

Так, в г. Нукусе в издательстве «Каракалпакстан» с 1967 года по 1975 г. по несколько раз переиздавались романы «Батый» и «К последнему морю».

В военные годы большими тиражами издавались исторические романы писателя, избранное в 4-х томах было опубликовано в Москве в 1989 году.

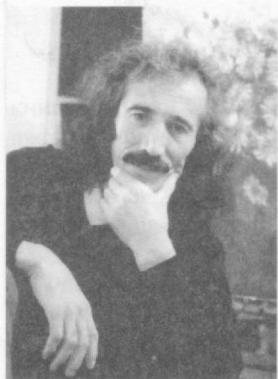
В музее имеется фотография С.П. Бородина и В.Г. Яна на Казахской декаде в Москве в Клубе писателей (1949 г.)



В. Ян как человек незаурядных способностей создал не только свою «галерею» образов, но и вложил свои жизненные принципы в уста персонажей, тем самым создав собственную индивидуальную шкалу человеческих ценностей. Некоторые из них гласят: «Собирай великие мысли, затерявшиеся в потоке времени, классифицируй, записывай – они нужны людям», или же «Помимо творческой деятельности – работай всюду, где можешь пригодиться людям».

философия искусства

Ибрагим Валиходжаев. Грани цвета.



Ибрагим ВАЛИХОДЖАЕВ

Художник-живописец, член Творческого Объединения художников при Академии Художеств Узбекистана. Родился в 1958 г. в Намангане. Окончил Ташкентский Театрально-Художественный институт им. А.Н. Островского. Основная тема его работ – образы современников, характеры-типажи, быт, различные проявления повседневной жизни. Работы художника находятся в музеях Узбекистана, а также в частных коллекциях и галереях США, Канады, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Филиппин, Южной Кореи и др. И. Валиходжаев участник многочисленных международных выставок Европы, Азии и Америки. Живет и работает в Ташкенте.

Миссия художника высока и ответственна. Кто-то приходит в искусство по воле случая или прихоти, другие же – по какому-то внутреннему наитию, на подсознательном уровне, словно ведомые рукой Всевышнего. И только самые сильные и глубоко преданные своему делу исполняют свое предназначение.

Известный художник-живописец, член Творческого Объединения художников Узбекистана Ибрагим Валиходжаев, родившийся в простой семье строителя Муталли-уста, с детских лет старательно и увлеченно рисовал, позже помогал отцу, разрисовывая стены построенных им домов пейзажами и натюрмортами, но первая попытка поступить в Ташкентский Театрально-Художественный институт им. А.Н. Островского закончилась неудачно.

Только в 28 лет, успешно сдав экзамены, он был принят на станковое отделение художественного факультета ТГТХИ. Так был осуществлен первый шаг в большое искусство.

Уже на 3-м курсе, успешно осваивая азы академического художественного образования, он начинает создавать работы, в которых формируются приемы, ставшие впоследствии основой его творческого метода – отход от натуры, т.е. ее обобщение путем стилизации формы, грамотная постановка и решение композиционных задач, поиск собственного художественного самовыражения.

Первая персональная выставка Ибрагима была проведена в Наманганском училище искусств на 4-м курсе. С этого момента он начинает активно участвовать в различных республиканских, зарубежных, групповых выставках и сразу привлекает к себе внимание специалистов.

Для дипломной работы Ибрагим решил выбрать тему восточного базара и выполнил ее блестяще, получив самый высокий балл. Тема базара стала впоследствии одной из центральных в его творчестве, так как давала бесконечный материал, возможность работать и развиваться через яркий колорит, разнообразие и красоту национальных традиций, характеры, типы и взаимоотношения людей. Глубоко личностное отношение к изображаемому проявляется в различных жанровых композициях, многочисленных портретах, натюрмортах, пейзажах.

Художник непрестанно работает над цветом, композицией, приходя к осознанной простоте, которая выражается в строгом отборе деталей и, порой, в полном отказе от них, в стремлении к цветовому обобщению. Это повлекло за собой локальность цвета, стилизацию формы, когда все подчиняется строгой, обдуманной ритмике цветовых пятен, объемов. Все эти художественные средства в целом придают работам монументальность.

Его привлекает теплый колорит. Через него удачно передается характер солнечного родного края, людей, свое душевное восприятие.

В полотнах художника четко прослеживается эволюция творчества. На ранних этапах (1985-1990-е гг.) он упрощает цветовую палитру, обращая больше внимания на объем, колорит. Эти работы сдержаны по цвету, более монохромные. Далее проявляется тенденция отхода от натуры, тяготение к стилизации фигур, предметов, отказ от объема и приход к более четкой конструктивности форм. Появляется открытая цветовая гамма, и возникает необходимость искать новые цветовые решения.

На следующем этапе постепенно появилась линия-контур, обрамляющая и подчеркивающая форму. Контур, по мнению художника, придает еще большую выразительность в цвете, подчеркивает особую пластику фигур и форм, усиливает динамику и экспрессию. И, несмотря на общее плоскостное решение, локальность, – через использование контура тем не менее ощущается объем формы. При отсутствии перспективы в привычном понимании, применяя яркий открытый цвет, ему так удается организовать цветовой баланс, что создается впечатление многоплановости произведения.

В последних работах происходит абсолютный отход от реальности, в основном, выраженный в цвете. Фигуры, природа, предметы быта – хотя и узнаваемы, но в большой мере стилизованы и обобщены. В цвете же художник уже творит не так, как видит, а как чувствует. Поэтому стены и сами дома, земля, люди могут быть красными, зелеными, синими, небо желтым или черным. От этого они не становятся нелепыми, а напротив, неожиданными, яркими, насыщенными и светоносными, – что придает ощущение легкости и заряжает колоссальной позитивной энергетикой.

Это очень важно, считает художник. Нужно уметь создавать свои работы без пресловутых «творческих мук», а наоборот, легко и свободно. Свое предназначение он видит в том, чтобы передать свое внутреннее мироощущение, взгляд на мир, красоту сочетания цветов и форм с помощью холста и красок. Художник должен стремиться к самовыражению, а не самоутверждению. Только в этом случае он сможет остаться самим собой.

Насима Джураева, искусствовед.

Международные выставки

- 1993 г. – Германия, Эфиопия.
- 1993 г. – Международный Биеннале «Азия-Арт» в г. Ташкенте.
- 1995 г. – г. Москва (Россия), г. Бер-Шева (Израиль).
- 1995 г. – Международный Биеннале «Азия-Арт» в г. Ташкенте.
- 1996 г. – США, Париж (Франция) в ЮНЕСКО.
- 1999 г. – Международный Биеннале в Бангладеш.
- 2007 г. – Международный Биеннале современного искусства, г. Ташкент.
- 2009 г. – Международный Биеннале современного искусства, г. Ташкент.
- 2009 г. – «Салон 2009» ЦДХ, г. Москва.
- 2010 г. – «Салон 2010» ЦДХ, г. Москва.
- 2011 г. – XXVII традиционная совместная узбекско-корейская выставка. Ташкент.
- 2012 г. – Галерея «Кастелло ди Бока» в Которском заливе (Черногория)
- Российский Международный фонд «Культурное достояние».

литературоведение. литературная критика



**Рубен
НАЗАРЬЯН**

Родился в 1947 году. В 1970-м окончил факультет русской филологии Самаркандского госуниверситета.

В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию по теории литературы в Московском государственном университете. Заведовал кафедрами русской и зарубежной литературы в Самаркандском госпединституте и в Самаркандском госуниверситете. Победитель и лауреат международного гуманитарного конкурса Фонда Д. Сороса «Культурная инициатива».

Перу Р.Г. Назарьяна принадлежит более четырехсот научных, научно-популярных и художественных публикаций.

Ташкентские прототипы персонажей романа А. Алматинской «Гнет»

(к 130-летию со дня рождения)

Сто тридцать лет назад у сосланного в Туркестан за участие в польском мятеже офицера Вольдемара (Владимира) Држевицкого родилась дочь, получившая при крещении имя Анна. Много лет спустя в своей так и не опубликованной «Автобиографии», хранящейся ныне в фондах Центрального государственного архива Республики Узбекистан, она напишет: «Не по доброй воле приехали мои родители в Среднюю Азию. Во второй половине девятнадцатого века отца перевели «на далекую окраину» – в Ташкент. Приехали в 1875-76 годах».

Затем проштрафившегося офицера-поляка местное начальство послало служить в небольшой русской городок Верный, центр Семиреченской области в составе Туркестанского генерал-губернаторства, ставший позднее – в советское время – столицей Казахстана Алма-Атой. Здесь-то и родилась дочь Држевицкого. Последовавшие вслед за тем годы можно назвать «кочевыми», ибо по роду своей службы отцу не раз приходилось переезжать с места на место, увлекая за собой и семью. К концу столетия Држевицкие возвратились в Ташкент, где способная и рано повзрослевшая девочка, желая материально помочь родителям, уже в 16 лет, не имея на то положенного по закону аттестата, стала репетитором отпрысков зажиточных купцов и чиновников столицы Туркестанского края¹.

В 1901 году Анна устраивается на службу в управление строительства Оренбургско-Ташкентской железной дороги, а еще через год, получив свой первый отпуск, едет с отцом, нуждавшимся в лечении, в одну из здравниц Крыма. Владимир Држевицкий, следует отметить, вообще сыграл огромную роль в воспитании и развитии дочери, неспроста благодарная Анна посвятит ему одно из лучших своих стихотворений, названное «Добрый гений»...

Водная стихия произвела на двадцатилетнюю девушку, выросшую в азиатских степях и никогда не видевшую моря, неизгладимое впечатление. Именно потому, представляется, свой первый рассказ, написанный в 1903 году и опубликованный в ташкентской газете «Русский Туркестан» под названием «Сказка», Анна подписывает псевдонимом «Морская». С той поры в различных периодических изданиях Ташкента довольно часто стали появляться стихи и рассказы начинающего автора. Имя ее становится популярным и известным туркестанскому читателю: в 1914 году Анна отдельным изданием публикует рассказ «Последний привет» и редактирует солидный литературно-художественный альманах «Степные миражи».

¹ Сама же она лишь в двадцатитрехлетнем возрасте сумела экстерном сдать экзамены за курс гимназии.

Однако альманах этот, вследствие наложенного на него ареста, стал доступен читателям лишь три года спустя – в марте 1917. Надо полагать, одной из причин ареста послужила сама репутация редактора: Анна Владимировна Држевицкая (по мужу Панкратьева) уже несколько лет состояла на учете в Туркестанском районном охранном отделении как «политически неблагонадежная». Не отличался, с точки зрения властей, благонадежностью и ее муж: в уже упомянутой автобиографии писательница сообщает, что ее супруга-офицера – еще в 1906 году уволили в запас «за либеральные взгляды». Тем не менее, она продолжала писать и активно печататься: лишь в 1915 году в различных изданиях было опубликовано около пяти десятков ее сочинений – стихов и рассказов...

Бросая ныне ретроспективный взгляд на историю русской литературы Средней Азии минувшего столетия, можно выделить в ней имена писателей, творчество которых вышло далеко за пределы названного региона и стало составной частью общерусского литературного достояния. Однако же, кроме них, в русскоязычной литературе края был еще и так называемый «второй эшелон» беллетристов, создававших вполне добротную прозу и добивавшихся определенной популярности среди читателей. Тем не менее, по различным причинам, они не стали «властителями дум народных».

Литераторы эти либо творили в каком-то определенном жанре прозы, либо были писателями-регионалами, описывая жизнь и историю своего края порой как неотрывную часть жизни и истории большой страны, но зачастую и как нечто обособленное. Большинство их, в силу существовавших в государстве той поры порядков, так и остались неизвестными широкой читательской публике. К их числу можно отнести и Анну Држевицкую, взявшую себе в советские годы псевдоним по месту рождения – Алматинская.

Несмотря на то, что за свою долгую жизнь (писательница скончалась в Ташкенте в 1973 году) она создала и опубликовала немало стихотворных и прозаических произведений, Анна Владимировна известна отечественному читателю лишь как автор романа-трилогии «Гнет», запечатлевшего освоение Туркестана русскими, жизнь и быт местного населения, социально-политическое развитие Средней Азии в конце XIX – начале XX века, события русских революций 1905-1907 и 1917 годов, процесс установления советской власти в Туркестане. Над своим главным литературным детищем Анна Алматинская трудилась более четверти века.

Структурно все три книги являются самостоятельными, законченными произведениями, хотя и связаны между собой общими героями и сюжетными линиями. Заметно, однако, что с художественной точки зрения книги весьма неравноценны. Объяснение тому не столько в личном отношении автора к описываемым событиям, сколько в вынужденной обстоятельствами эпохи попытке притянуть многие из них к главенствовавшей в середине XX века советской идеологии. Этим же можно объяснить и то, что хотя первая часть книги была закончена уже в 1953 году, издали ее лишь пятилетие спустя. Другие же части трилогии были изданы значительно быстрее: второй том (с «правильной» идеологией) увидел свет в 1960, а, завершающий, третий – в 1962 году.

Оценивая художественные достоинства романа – качество литературного языка и повествовательности – можно утверждать, что первая часть трилогии Алматинской («В степных просторах») значительно выше третьей («В битве великой»). Нелишне при этом отметить, что Анна Алматинская, прожившая в Средней Азии всю свою жизнь, прекрасно владела материалом и потому со знанием дела описывала не только обычаи и быт местного населения, но и характеры, и поведение представителей «русского» Туркестана: чиновной знати, офицерства и купечества. Характерной особенностью трилогии является включение наряду с вымышленными героями реальных людей, имена которых были хорошо известны в регионе. Некоторых из них писательница знала лично. Однако же, создавая роман, Анна Владимировна кропотливо трудилась в архивах, записывала воспоминания старых туркестанцев, изучала прессу тех лет. Это и позволило ей верно изобразить эпоху и передать индивидуальные особенности этих персонажей.

Роман Алматинской – произведение художественное, в котором авторский вымысел играет главенствующую роль. Однако многие его страницы основаны на подлинных событиях, происходивших в Туркестанском крае в последней трети XIX – начале XX столетия. Не имея возможности объять необъятное, остановим свое внимание лишь на некоторых из них, где действуют реально существовавшие люди, ставшие героями

романа А.Алматинской. Так, в частности, на страницах первой и второй книг трилогии описаны известные русские ученые – В.Ф. Ошанин, А.П. Федченко, О.А. Федченко и Н.М. Пржевальский, приложившие немало сил к изучению природы, истории Туркестана, цивилизовавшие его. Присутствуют в романе и генерал-губернаторы края – фон Кауфман и Самсонов, и революционеры Михаил Морозов и Герман Лопатин, и знаменитые купцы Ташкента – Худов и Тезиков, Гладышев и Первушин, Лахтин, Иванов и Громов.

Особенно подробно описан у Алматинской последний из них. Уже при первом своем появлении на страницах книги он предстает личностью противоречивой: бывший каторжник, ворочающий ныне громадными капиталами. А несколько позже читатель узнает о нем значительно больше. Некий купец, недавно обосновавшийся в Туркестане, обращается с вопросом к местному старожилу:

– Что за человек этот Громов? Я тут внове, мало кого знаю, а все слышу: Громов – разбойник, Громов – богач, Громов – любимчик генерал-губернатора..

– Непокорный он...

– Удачливый мужик. За что ни возьмется, все у него получается хорошо, – вмешался Тимофей Лукич.

– Говорят, на каторге был... Когда Громов крепостным еще был, помещик невесту его продал. Громов барину в ноги: «Не разлучай». А тот его на конюшню для остратки. Мать Громова нагрубила барину. Ну, засекли бабу насмерть. Сын в леса ушел. Вскорости подпалил он усадьбу, а барина своего повесил, потешил свою душеньку да на каторгу и угодил.

Как же он сюда попал?

– Восемь лет отбыл, да подошла амнистия, стал в тайге золото искать.

– Нашел?

– Да кто знает, – по степям бродил, его басурманы, казахи, в плен взяли. Пастухом у них был. Султан киргизский его побратимом стал, сына его, что ли, спас. Пришли и слава и богатство¹...

В первых двух книгах романа «Гнет» этому явно романтизированному автором персонажу отведено довольно значительное место. Представление же о реальном Александре Егоровиче Громе (в романе А.Алматинской он переименован в Никиту Андреевича), полулегендарной личности, хорошо известной в Туркестанском крае, можно почерпнуть из ряда сохранившихся свидетельств его современников и из исторического очерка о Ташкенте А.И. Добросмыслова. Свою деятельность в Туркестане Громов начал в конце 1860-х годов в должности приказчика на одном из ташкентских предприятий влиятельного купца М.А. Худова. Через несколько лет, в 1873 году, узнав о готовящемся походе в Хиву, он пристраивается волонтером в Семиреченский казачий полк. Однако Александр Егорович вовсе не желал отличиться на поле брани. Будучи человеком хорошо осведомленным в тонкостях азиатской торговли и свободно владеющим тюркским языком, он стал снабжать казачий полк продовольствием, проявив здесь редкую расторопность.

Добросмыслов свидетельствует, что Громов и нажил свое громадное состояние будучи маркитантом русских войск во время тяжелой ахал-текинской экспедиции. Снабжая отряд М.Д. Скобелева всеми необходимыми продуктами и закупая для него в огромных количествах верблюдов, человек этот сыграл важную роль в успешном завершении похода. «Быстрые и смелые действия» Громова снискали ему почет и уважение среди военных.

«У Александра Егоровича, – пишет Добросмыслов, – всегда было свежее мясо, и когда полки в этом нуждались, он доставлял его в каком угодно количестве»².

Ташкентский историк Б.Голендер обнаружил в архиве интересный документ, ярко характеризующий этого человека: Громов «к пасхальным праздникам (это было на марше в пустыне) ухитрился доставить отряду целый транспорт куриных яиц. А, как говорят в народе, дорого яичко к Христову воскресенью! Это, конечно, запомнилось»³.

Помимо маркитантской деятельности, Александр Егорович прославился во время Хивинского похода еще и спасением жизни члена императорской фамилии. За что, естественно, был щедро награжден и удостоился воинской награды. Однако, «возвратившись

¹ Алматинская А. Гнет. Книга первая. Ташкент. 1983. С.87.

² Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Т.1912. С.376.

³ Голендер Борис. Мои господа ташкентцы. Т. 2007. С.129.

в Ташкент из ахал-текинской экспедиции...с капиталом до 500000 рублей, задумал ряд торгово-промышленных предприятий, в числе которых первое место занимало производство спиртных напитков, но, так как он по характеру своему совершенно был непригоден для мирных занятий промышленника-торговца, скоро, лет через 5-6, прогорел и выехал из края бедняком»¹. Однако, надо думать, находясь за пределами Туркестана, неудачливый в прошлом предприниматель сумел вновь оказаться на плаву благодаря новой бойне: Громов принимал участие в русско-японской войне и за какие-то отличия был награжден не только чином действительного статского советника, но и орденом св. Владимира третьей степени с мечами...

В первой книге романа эпизодически появляется некая молодая дама – мадам Каблукова. Примечательно, что автор нигде не упоминает ее имени и отчества. Между тем, женщина эта – реальная личность, хорошо известная русским туркестанцам последней трети XIX столетия. Зинаида Евграфовна Золотилова – тетя супруги популярного в те годы русского писателя Вс. Гаршина, вышла замуж за камер-юнкера и камергера императорского двора Платона Петровича Каблукова. Начав свою служебную карьеру в Петербурге, ее супруг в 1875 году был определен в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора. Прослужив лишь несколько месяцев старшим чиновником особых поручений, Каблуков уже 1 марта 1877 был назначен правителем канцелярии К.П. фон Кауфмана, заменив на этом высоком посту неожиданно отставленного своего предшественника – генерал-майора А.И. Гомзина. Довольно скоро муж Зинаиды Евграфовны дослужился и до чина действительного статского советника. Столь стремительная карьера, естественно, вызвала разные толки. Но и годы спустя глубокий знаток ташкентской истории деликатно обмолвился, что «быстрым движением Платон Петрович по службе в Туркестанском крае обязан одному обстоятельству, о котором не наступило время еще говорить»². Однако «обстоятельство» это было хорошо известно современникам чиновника. В романе А.Алматинской «мадам Каблукова» – супруга начальника генерал-губернаторской канцелярии – фигурирует как «преданный друг» фон Кауфмана. Эта умная и привлекательная женщина, в которой «начальник края души не чает», пользовалась большим влиянием в Туркестане. Она повсюду «персона грата», с ее помощью ловкие люди «хорошо устраивают свои дела».

Один из героев «Гнета», военный врач Смагин, так просвещал своего собеседника: «Супруги Каблуковы считают Туркестан лишь этапом, вот такой ступенькой на пути своей личной карьеры. Платон Петрович Каблуков – муж этой барыньки – камергер двора его величества. Проработает года три, как пишут у нас здесь, «плодотворно на далекой окраине», глядишь, получит в России местечко. А жена помогает ему, убеждает всех, особенно начальника края, что ее муж предан высокой идее до самозабвения, как говорится. Ну-с, а под сурдинку, знаете...рыбку в мутной водиче...»³.

Как свидетельствуют сохранившиеся документы, следов своей деятельности на посту правителя канцелярии Каблуков не оставил. Однако этот ленивый, любивший хорошо выпить и закусить человек, пользовался (естественно, лишь благодаря супруге) своим особым положением. Мадам Каблукова неизменно сопровождала фон Кауфмана в его многочисленных поездках, заботилась о нем, добровольно возложив на себя решение различных бытовых вопросов. Дама эта действительно играла видную роль в ташкентском обществе в последние пять лет (1877–1882) правления К.П. фон Кауфмана. Супруг же ее, Платон Петрович, зная, естественно, о близких отношениях генерал-губернатора и Зинаиды Евграфовны, закрывал на это глаза ради своей карьеры.

Если обратиться к дальнейшей судьбе четы Каблуковых, выходящей за пределы романа А.Алматинской, можно узнать, что Платон Петрович, находившийся в 1880 году в Петербурге, оказался замешанным в «нехорошей истории» – финансовых махинациях его брата с залогами. Разгневанный фон Кауфман дал ему первоначально четырехмесячный отпуск для улаживания скандального дела, а затем еще продлил его. Но уже 31 августа 1881 года Каблуков был им отставлен от должности с повелением вовсе не возвращаться в Туркестан.

Лишь после смерти К.П. фон Кауфмана в 1882 году Каблуков вернулся в Ташкент,

¹ Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Т.1912.

² Там же. С.447.

³ Алматинская А. Гнет. Книга первая. Ташкент.1983. С.17.

развелся с Зинаидой Евграфовной и сошелся с дочерью туркестанского окружного интенданта Екатериной Владимировной Польтман, прижив с ней полдюжины детей. В 1885 году он был вовсе уволен от службы с оставлением мундира, но без права на пенсию. Многочисленное семейство его с той поры очень бедствовало, и потому бывшие сослуживцы неоднократно собирали для Каблукова деньги. А Зинаида Евграфовна после развода, с Каблуковым, вышла замуж за управляющего Туркестанской казенной палатой (с 1889 по 1893 гг.) Николая Львовича Мордвинова. И этот, не отличавшийся особыми достоинствами, чиновник был известен в Ташкенте лишь как муж «бывшей мадам Каблуковой»...

В первой книге романа Анны Алматинской фигурирует еще один персонаж, имевший в жизни реальный прототип – состоятельный купец Петр Климович Тезиков, разменявший уже восьмой десяток. В отличие от Громова и мадам Каблуковой он явно не пользуется симпатией автора. Вот его первое появление на страницах «Гнета»: «Сухонький, юркий, с козлиной бородкой и лысым черепом Тезиков ничем не походил на богатея, каким слыл»¹. Затем же читатель узнает о том, что этот купец одним из первых россиян стал скупать пустовавшие земли в нижнем течении ташкентской речки Салар и сдавать небольшие участки в аренду как местным жителям, так и русским переселенцам.

«Дальновиден был старик Тезиков, учел он, что город будет расти к востоку, а с ростом города будет расти и цена на участки земли под строительство. Следовательно, вложенный капитал без риска будет увеличиваться. Ну, а пока что надо добывать деньги. Старик по совету оборотливого сына, торговавшего обувью и кожаными изделиями, поставил на Саларе кожевенный завод. Выделанные козы и бараны шкуры шли на изготовление чембар – летних шаровар, принятых в Туркестанских войсках. Дело пошло...

Громадная дача Тезиковых вмещала ореховую рощу, фруктовый сад, дававший изрядный доход, и бахчи с огородами. В дальнем углу дачи стоял завод, где день и ночь шла работа»². Анна Алматинская изображает богатого купца исключительно негативно – это человек весьма алчный, скупой и чрезвычайно завистливый. Каким же был его реальный прототип, имя которого до сих пор на устах у коренных ташкентцев? Некоторые сведения о нем можно обнаружить в уже упомянутом труде А.И. Добросмыслова. Там сказано, что в середине 1870-х годов некий предприниматель Кувайцев устроил на Саларе кожевенный завод, который через несколько лет был почти до основания уничтожен наводнением. Землю и часть уцелевших заводских помещений купил у разорившегося хозяина его же мастер Тезиков, вновь отстроивший к концу 1880 года подобное предприятие.

Уже через несколько лет Иван Дмитриевич Тезиков стал самым крупным кожевником в Ташкенте. В отчете о Туркестанской выставке 1886 года редактор газеты «Туркестанские ведомости» Н.А. Маев писал, что павильон Тезикова «был наполнен всевозможными видами и сортами выделанных кож, замечательно мягких и прочных. Очевидно, что кожевенное производство в руках И.Д. Тезикова улучшается с каждым годом и быстро идет вперед...

Следует радоваться, что кожевенное производство в Ташкенте попало в энергичные и опытные руки И.Д. Тезикова»³.

Там же отмечалось, что этот предприниматель, помимо основной деятельности, успешно занимается еще рыбоводством и плодовым садоводством. Свидетельством тому может служить серебряная медаль, врученная ему на выставке за «яблоки и груши». Столь же лестные слова были сказаны о купце и в официальном отчете о туркестанской выставке предметов сельского хозяйства и промышленности 1890 года. Купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин Тезиков, кроме загородных домов, садов и кожевенных предприятий, владел еще конюшнями и кирпичным заводом. Территория вокруг его дачи позднее превратилась в «блошиный» рынок, именовавшийся горожанами как «Тезиковка»...

В целом же трилогия Анны Алматинской, отнюдь не лишенная недостатков, является достойным произведением русской литературы минувшей эпохи, раскрывающим массу интереснейших фактов из истории «Русского Туркестана – ныне исчезнувшего края – песчаной Атлантиды»...

¹ Алматинская А. Гнет. Книга первая. Ташкент. 1983. С.86.

² Там же. С.175.

³ Маев Н.А. Туркестанская выставка 1886 года. Ташкент. 1886. С.18.

Некоторые тенденции развития современной узбекской поэмы

(перевод с узбекского Ойгуль Суюндиковой*)

Глубокие перемены в социально-политической жизни, морально-нравственное и культурное обновление общества, прежде всего, отражаются в литературе. Именно в литературе сегодняшнего дня наглядно представлено все, что происходит в обществе, в человеческой душе, разуме современника, все сдвиги и перемены.

Каждый человек – это особый мир, своеобразное интеллектуальное и духовное пространство, явление, имеющее свои специфические особенности. Герой литературы, как правило, – отражение специфических качеств героя времени, формирующегося под воздействием условий эпохи. Герой современной узбекской литературы – это порождение сегодняшней жизни, воплощение основных качеств современника, человека новой формации, стремящегося к постижению самого себя и мира его породившего. Взаимодействие «Я – Мир» и постижение сущности и сути этого «Я» и своеобразия «Мира» сегодня представляется писателям основной творческой задачей.

По единодушному мнению современных литературоведов, основное достижение литературы сегодняшнего дня – это освобождение от канонов и тесных рамок господствующей идеологии и социалистического реализма. Для творческих людей литература сегодня стала одной из форм и возможностей свободной самореализации. Об этом свидетельствует активное обновление традиционных жанровых форм, их трансформация, формирование новых многообразных жанровых качеств.

Достаточно интересна в этом плане эволюция одного из древнейших литературных жанров – поэмы.

Как точно отметил У. Норматов, «поэма – жанр синтетический, в ней – всё: и лирика, и эпические моменты, поднятые на уровень поэзии, на уровень песни. В поэме даются описания чувств героя, душевных переживаний, восприятия жизненных событий и описания самой жизни, т.е. эпическое начало»¹

Анализ узбекских поэм последних лет: произведений Икрома Отамурада, Азима Суюна, Чулпана Эргаша, Сирожидина Сайида и др. выявляет новые жанровые качества, темы,



**Нафосат
УРАКОВА**

Родилась в 1986 году
в Бухарской области.
Окончила магистратуру
при Ташкентском
государственном
педагогическом
университете
им. Низами.

Автор нескольких
научных статей по
проблемам жанров
современной узбекской
поэзии.

В «Звезде Востока»
публикуется впервые.

* Ойгуль Суюндикова – поэт, переводчик. Родилась в 1957 г. в Самаркандской области. В 1985 г. окончила Московский литературный институт им. Горького. Живет и работает в Ташкенте.

¹ У. Норматов. Возможности жанра, Т, 1970. С. 14-47.

мотивы, нового героя. В этих поэмах обновление жизни, новое время передается через авторское «Я», через живое авторское восприятие.

Зачастую в художественной ткани произведения важную роль играют символы, знаки, намеки. Показательны в этом отношении поэмы Икрома Отамурата «Кони раненной надежды», «Одинокое дерево в степи», «Его надежда», «Глиняные осколки», «Птица».

Интересны и выразительны средства и образы, воссоздающие сегодняшний мир, например, в поэме «Одинокое дерево в степи»:

Мир.....
 окрестность.....
 которая.....
 глотает.....
 все неисполненные желания.....
У меня кончается терпение.....
 Иссакает мое терпение.....
 С.....т.....е.....п.....ь.....
разделяет тебя.....
 в нескончаемую...
боль...
 шелест двух одиноких деревьев...

Когда речь идет о чисто лирических поэмах, профессор Х. Каримов отмечает, что содержание произведения – это «...изображение движения индивидуальной личности, которая влияет на весь мир». Такими тенденциями отмечены и поэмы Икрома Отамурата. Например, поэма «Место, не отмеченное на карте».

Удивляет и интригует уже само название поэмы. Действительно, найдется ли место, которого нет на карте? Где оно, в каком краю, государстве? Где это место, которое видят острые глаза поэта, чувствует его пламенное сердце? Почему оно забыто?

Поэт видит то, чего не видят другие, или не могут видеть, изображает те события, духовные переживания, которые не дано видеть другим, сочувствует божественным душевным порывам, живет с болью за вселенную. Его видение мира, его «вселенная» и есть место, которого нет на карте.

Эпиграф произведения выражает его смысл и сущность. Для этой поэмы Икром Отамурод берет эпиграфом слова знаменитого ученого, знатока суфизма Зайниддина Мухаммада Газзалий: «Эй, человек! Ты почему и с какою целью пришел в этот мир, и почему он тебя так любил? В чем твое счастье?»

Разумеется, читателю интересно, почему поэт выбрал именно эти мудрые слова. Автор, имеющий большой поэтический талант, умышленно четко формулирует художественную цель произведения – показать процесс самопознания и рост самосознания героя, стремление открыть для себя самого себя, что является одной из основных тенденций в литературе сегодняшнего дня.

Человек – высокоорганизованное, тонкое существо, его сердце и понимание собственного назначения и жизненных целей составляет суть названной поэмы.

... На стене старого коридора,
 оставшегося от дедов,
 висит старая карта...

Поэма, которая начинается этими строками, ведет читателя в далекое прошлое. Старый коридор, карта, висящая на стене, оставшиеся от дедов, ... все старое ... древнее...

Немаловажную роль в поэме играет образ Поэта, именно он связывает части поэмы.

... Мудрый человек, создавший карту,
 разделяя мир
 на части, на народы,
 наполнил смыслом знаки
 и окрасил их в разные цвета.

Мудрый ученый, создающий мировую карту, изобразил черные горы, желтые степи, зеленые леса, синие океаны, изобразил большие и маленькие края. Как будто в цвете и

форме воплотил мир, его многообразие и сложность. Таким образом, карта превращается в «мир цветов», в суть, которую этот мир воплощает. Поэт обращается к создателю карты:

*Мудрый человек, ты создал мировую карту,
у меня маленькая просьба к тебе,
в свое изображение добавь еще один цвет,
соответствующий любви
между народами, странами,
нарисуй, чтобы видно было всем,
то место,
которое забыто,
не попавшее на карту –
изобрази там сердце...*

Да, как видно, цель поэта постепенно по строкам находит свое воплощение. Место, которое не попало на карту – это сердце! (какая редкая метафора!), поэтому читатель удивляется тому, что поэт увидел раньше всех, узнал, почувствовал необходимость добавить «сердце». Подобным внутренним чутьем обладают только одаренные творческие люди, поэты с большим сердцем.

Поэт чувствует, насколько трудно отыскать живое сердце, насколько оно необходимо людям. В этом мире много соблазнов для человека, он порой разменивается на мелочи и, не понимая своего назначения, растрчивает себя на мелкие ненужные дела и заботы, на удовольствия, достижение личной выгоды. Как это страшно, что человек, обладающий такой силой, способностями, не ищет свою душу, почему нет места для его сердца в его сознании, в душе, почему его не волнует все это?! С такими вопросами, страдая, размышляя, поэт обращается к читателю: по совести ли это, честно ли это, так ли должно быть?

В сегодняшнем мире, как и всегда, самое главное – это душа, остальное – мимолетное, преходящее, временное. Поэт в своей поэме утверждает для читателя эту суть сути, субстанцию жизни. Сердце открывает знание и разум. Поэтому человек, обладающий знаниями и глубоким разумом, понимает, какие процессы обновления, события, происходят вокруг него, в обществе, в мире, где он живет, старается глубже понять, чем живет общество, народ. Это стремление и способность понять и почувствовать окружающий мир, несомненно, возвышает человека. Когда человек постигает свою душу, свое назначение, понимает, что происходит в этом мире, чувствует боль и думы других людей, он приближается к Создателю... Обновление мыслей и духа эстетически очищает и возвышает героя.

В поэмах Икрома Отамурада много символов: образы степи, гусяного луга, жаворонка. Гусиный луг – нежность души, красота чувств, чистота дум и целей; степь – «страницы жизни», «уставшее воображение, устремленность к горизонту (вдаль)»; жаворонок – свободное сердце, благородные помыслы. Этими символами поэт хочет сказать, что главное в жизни – это чистота желаний, свобода души, высота душевных порывов.

*... Важное – пусть люди тоскуют по тебе,
когда встретят с нежностью обнимут,
проводя, будут ждать твоего возвращения,
пусть льется тоска прощальных слов,
пусть глаза превращаются в тоскливую дорогу,
пусть наполнится душа надеждой, мыслью...
...Главное – душа, путь к сердцу,
важное – душа, найти путь к душе...*

Повтор последней строки в конце каждой части расширяет эффект утверждения, фиксирует основную мысль. И это утверждение – идея доходит до разума читателя, двигает чувства, ширит душу. Она стремится к просторам, возвышается до самых горных вершин. Возвыситься над житейской мелочностью, вещиизмом, чтобы не превратиться в «раба» своих желаний, жить в добром мире, свято хранить душу, лелеять гражданские устремления призывает поэт. И только это возвысит сердце, поможет сохранить себя.

Если человек не познал себя, свое сердце, значит, его существование бессмысленно, он чужд и себе, и другим. Погоня за благополучием, житейскими уладами ослабляет волю человека, затемняет разум, он становится рабом своих желаний. Беда, страдания, боль, трудности закаляют человека, делают его человечнее, приближая его к истинному счастью, к пониманию замысла Создателя. Человек выполняет свое истинное назначение на земле.

Если человек терзается вопросами, способен видеть и понимать мир, он приближается к постижению души. Когда он понимает философию жизни, мечтает и надеется, стремится к цели, верит, творит добро, чувствует ответственность перед Создателем и людьми, значит, он в гармонии со своей душой, они едины, и он непременно оставит добрый след на земле:

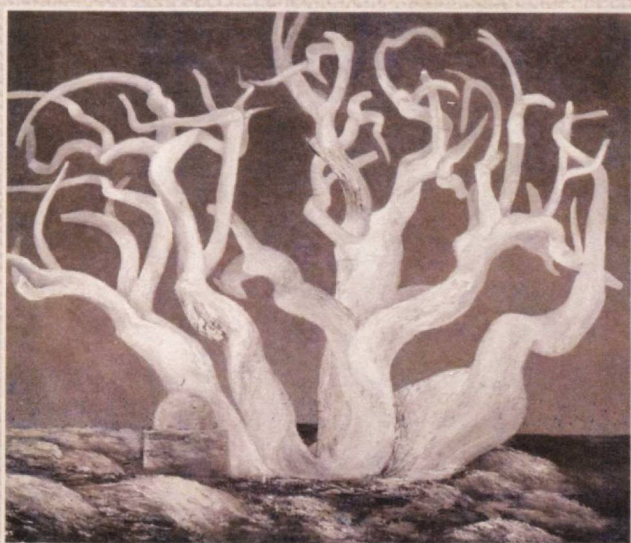
*Если вопросов будет много,
много, как капель,
ответом становится ответственность,
ведущая к сущности.*

Проанализированный материал позволяет сказать, что современная поэма основную свою задачу видит не в исследовании проблем, не в решении актуальных задач и вопросов эпохи, а в художественном исследовании глубинных слоев человеческого духа, разностороннем, тщательном, глубоком постижении человеческой души.

Поэмы Икрома Отамуроода – наглядное тому подтверждение. Они отражают одну из основных тенденций развития современной поэмы, исследование духовной сферы, сложности чувств. Поэма «Место, не попавшее на карту» отражает тоску человека, отделившегося от своей первоизданной сути, тоску по истинному человеческому предназначению, осознание необходимости возвратиться к духовному, «к сердцу», душе.

*Есть надобность вернуться к сердцу,
Пусть не замечая проходит мимо кто-то.
Но это место будет пусть священным,
Место, не попавшее на карту – сердце...*





**Адреса киосков розничной продажи журнала
«Звезда Востока»**

№300	Остановка автобуса - "Урда"
№295	ул. Навои, ориентир Национальный Академический театр Узбекистана
№233	ул. Навои, площадь Хадра
№253	ул. Навои, Проектный институт
№256	ул. Фараби, метро "Беруни"
№170	Каракамыш 2/4, автобусная станция
№236	ТашМИ-2, махалля "Хислат"
№252	ТашГУ, ориентир главное здание
№140	ул. С. Азимова, бывш. Винзавод
№174	Мирабадский рынок
№229	ул. Шахрисабз, остановка «ТПО "Геология"»
№222	ул. А.Дониш, остановка рядом с базаром
№191	Ю-Абад-4, пересечение ул. А. Темур-А. Дониш
№264	Юнусабад-1, остановка "Шахристан"
№237	ул. А.Темура, кинотеатр "Казахстан"
№264	Пересечение ул. А. Темур-Урицкого
№183	Ц-1, остановка "Старая Консерватория"
№185	Станция метро "Буюк ипак йўли"
№239	Станция метро "Х. Олимджан", ул. Асака, 1
№278	Алайский базар, автобусная станция
№249	Ц-1, ул. Шахрисабз
№250	Станция метро "А. Темур"
№292	ул. Навои, ориентир Главпочтамт

Подписка на журнал «Звезда Востока» продолжается.
Подписной индекс – 831.